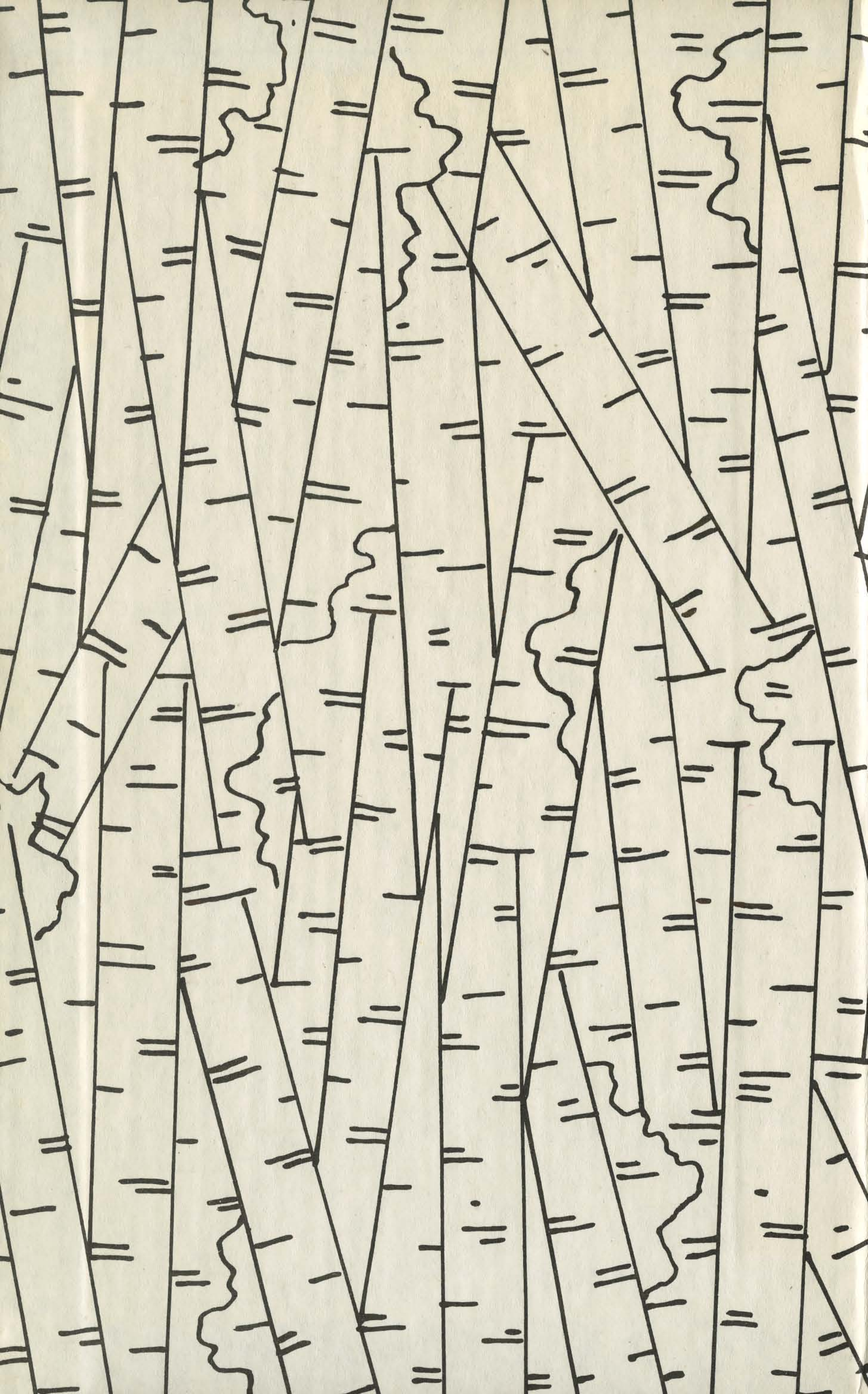
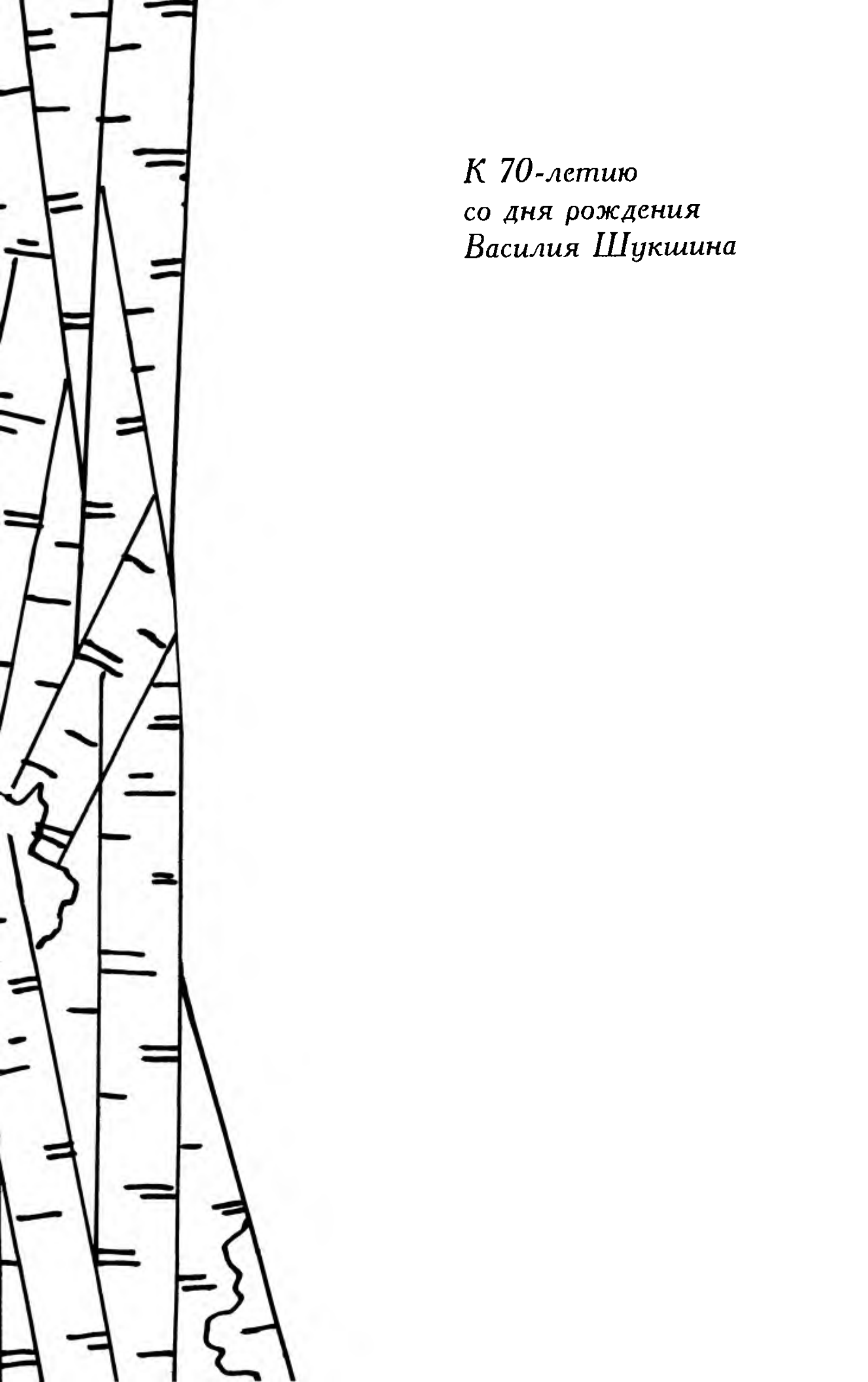
ВАСИЛИЙ ШУКШИН









К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

ВЕРУЮ!



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК 84 Р7
Ш 95

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга вторая. Верую! М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. — 512 с.

Во вторую книгу наиболее полного собрания сочинений Василия Шукшина вошли рассказы 60-х и 70-х годов, повесть «Там, вдали». Раздел «Непросто говорить о Шукшине...» посвящен воспоминаниям близких, коллег и друзей Василия Макаровича. В книге представлены фотографии из семейного архива писателя.

Ш $\frac{4702010200 - 047}{В72 (03) - 98}$

Формат 84×108/32. Бумага типографская №1. Усл. печ. л. 26,88.
Уч.-изд. л. 28,8. Печать высокая. Тираж 10000 экз. Заказ 8.

Издательство «Надежда-1»
129366, Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8

ISBN 5-86150-047-9

Произведения
60-х
годов

ХАХАЛЬ

Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву.

Сашка работал на стройке, жил в общежитии, в комнате на двоих. Сашка шумно обрадовался гостю, загоношился насчет выпивки, сосед и товарищ Сашкин организовал яичницу. Выпили. Сидели втроем, беседовали. Строители, в общем, хвалили свою жизнь, но и ругались тоже много. Главное — с деньгами туго.

— Сколько в среднем выходит? — спросил Костя.

— Сто пятьдесят самое большое... Больше не дадут заработать.

— Ну, братцы!.. Надо совесть иметь. Я техникум кончил, работаю завгаром, и то столько не получаю.

— Сравнил! — только и сказали строители. — Город — это город: здесь рубль — за два, а тройка — за рубль.

— Как мои там? — поинтересовался Сашка.

— Давно их не видел... Сеструху, правда, видел раза два. Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь?

— Не знаю. Пошли к бабам?

— Как это?

— Ну как?.. У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще. А чего вечер зря пропадать будет. Пошли.

Костя женился лет пять назад и ни разу еще не изменил жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было подходящего.

— Хм...

— Что? Пойдем похáхалим.

— Нет, я ничего. Пошли. Пошли, — это оказалось рядом — тоже общежитие, тоже с комнатами на двоих.

«Во житуха-то! — подумал Костя. — И ходить далеко не надо».

Сашкин товарищ отвалил куда-то наособицу, а Сашка и Костя постучались в дверь, обитую дерматином.

— Пообивают двери — все казанки посшибаешь об эти скобки, — недовольно заметил Сашка. — Обили дверь, значит, проведи звонок! Так я понимаю. Нет, звонок стоит денюжку — пусть люди пальцы сшибают.

— Хахали. Ходят-то...

— А?

— Не люди — а хахали.

— К ним не одни хахали ходят, — Сашка опять постучал. — А хахали что, не люди?

За дверью молчание.

— Может, нет дома?

— Дома. Голые, — Сашка еще постучал в железную скобочку. И поморщился.

— Кто? — тоненько спросили из-за двери.

— Мы-ы! — тоже тоненько, передразнивая голосок, откликнулся Сашка.

— Сейчас!

— Я ж говорю, голые, черти.

— Почему голые-то?

— Ну, с работы пришли... Переодеваются, умываются.

— Тоже на стройке работают?

— Но.

— Может, мы не вовремя?

— Все в порядке, —успокоил Сашка. И крикнул: — Скоро вы там?

С той стороны двери щелкнула задвижка, хахали вошли. У Кости вдруг взволновалось сердце, когда он переступил запретный в его положении порог.

— Нинон? — удивился Сашка. — Ты приехала? Вот кстати!

Нинон — рослая, чернобровая девушка, грудастая — она-то и колыхнула Костино сердце, Нинон. Так бывало — тоже теперь забытое чувство — при находке какой-нибудь, когда сердце вот так же вздрагивало, ошпаренное нечаянной радостью: «Неужели это мое?»

В комнате жили две девушки — Нина и Валя. Костя сообразил: раз для Сашки новость, что Нина приехала, стало быть, его... хахалиха, что ли, Валя. Валя тоже милая девушка, но Нинон... Костя украдкой взглядывал на чернобровую, и ему не верилось, что просто так — ни за что ни про что, даром — судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но похоже, что так: Сашка успел подмигнуть другу и показал глазами на Нину.

Сашка, между тем, молотил языком, и у него это получалось славно.

— Нина, ну, как отдохнула?

— Хорошо, Саша. Очень хорошо, — Нина чуть ударяла на «о», выкругляла слова, подталкивала, и они катились — легко, как колесики. — Покупалась в речке... Ох, хорошо!

— Да где уж там хорошо-то? Скучно небось?

— Господи, а чего мне надо? Сходила в кино, раза три на танцы — не манит... В огороде больше копалась. За ягодами ходила.

Костя слушал девушку... И так бы и слушал, и слушал ее — не надоело бы.

«Какое тут к черту хахальство! — подумал. — Тут впору — жениться на такой».

Валя была побойчей, поострей на язык, немножко пустомеля.

— А у нас... Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы седила...

— Но.

— Замуж вышла за Валерку Семенова.

— Он же женат!

— Бросил. Позарился!.. Доска доской, ничегошеньки нет, и вот — пожалуйста.

— А дети были? У Валерки-то?

— Нет, не было. Он ходит теперь, треплется: я, мол, потому и бросил, что рожать не может. Ой!.. Посмотрим, сколь тебе эта жердь нарожает! Стыдно — вот и нашел отговорку.

«Да как же это к ним так ходят — к бабам, и все? — все больше удивлялся Костя. — Приврал, видно, Сашка, хвастанул. Выпил маленько и прихвастнул. Не похожи они на таких... Обыкновенные девки, и рассуждения у них нормальные — женские».

Сашка торопил события.

— Давайте знаете что — выпьем! — предложил он. Отчаянная головушка. — Ко мне как-никак друг приехал.

К изумлению Кости, девушки легко согласились.

— Валюха, мы — в магазинус, Нинон с Костей — соображают насчет картошки дров поджарить. Пистро! Пистро! Душа горит.

И Нинон с Костей остались одни.

«Ну и что я должен делать? — растерялся Костя. — Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?»

Перебрал в памяти анекдоты, какие знал — все похабные.

Нина расстелила на полу у двери газету и принялась чистить картошку.

— Вы в командировку, что ли? — спросила она.

— Ага. Надо...

Замолчали.

«Ну и фраер же я! — мучился Костя. — Совсем язык проглотил».

Долго молчали.

— Зинка-то! — вдруг сказала Нина. — Надо же... замуж вышла, — и покачала головой. И усмехнулась.

«О-о! — ужаснулся Костя. — Это ж она при мне... сама с собой разговаривает. За табуретку меня принимает».

— У нас недавно случай был, — заговорил он. — Пошли бабы за малиной на остров... Берут. А с той стороны острова — протока, она летом мелеет здорово. Ну медведь и перешел ее...

— Медведь?

— Медведь. Перебрел, значит, и тоже — к малинке, они любят ее. А одна баба у нас есть, смешная такая!.. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг слышит: с той стороны кто-то подошел к кусту... А куст-то большой — не видно. А она, баба-то, и говорит: «Это ты, Нюра?» Думала, товарка с той стороны подошла. А медведь-то как рявкнет!.. — Костя засмеялся. Нина слушала. — Как он рявкнул, баба бросила ведро и драла. Бежит и орет дурным голосом: «Мишенька, у меня дети маленькие!» — Костя опять засмеялся, долго смеялся, представив, как летела по кустам перепуганная баба.

— Дак, а что, он за ней, что ли?

— Медведь? Да нет, он в другую сторону побежал — к протоке. Он сам напугался. А ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей.

— Закричишь, — Нина так и не посмеялась. — Шутка в деле — медведь! — и продолжала чистить картошку. — Нет, у нас их нету. У нас — змеи.

— Гадюки?

— Но. Да большие! Тоже — берешь ягоду-то, а сама думаешь: «Ох, чикнет сейчас, ох, чикнет».

— Надо ежей разводить. Вот где-то, в Болгарии кажется, змей в одном месте было — кишели. А место само по себе очень здоровое — хорошо бы курортов настроить. Так они что сделали: взяли ежей там развели, и все.

— Дак они что, едят змей?

— Еще как! Ежи и свиньи — жрут за милую душу. Кабаны еще дикие — тоже едят. У меня брательник на Кавказе служит, один случай в письме описывал. С кабанами связано. Один колхоз держал свиней на откорме где-то... подальше от жилья. Ну, и они паслись, ходили одни, а к вечеру сами приходили в загон. А однажды они не пришли к загону. Выяснилось, что они встретились где-то с дикими кабанами, и те сманили их с собой. Суток трое их не было... Искали, но без толку: далеко куда-то ушли. Потом пришли, но не все. Из тысячи, кажется, штук пятьсот вернулось только...

— А те остались?

— Те остались. Но эти, которые вернулись, такой приплод принесли, что колхоз даже обрадовался.

Нина засмеялась.

— Вот, говорят: нет худа без добра.

— Да. Еще говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня зять помер с такой поговоркой.

— Как же это?

— Да у него голова что-то болела. Болит и болит голова, ну а к врачу, знаете, — все некогда, да, может, обойдется... А тут — дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, говорит, к нему, а он мне и говорит: "Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь". Рад был, что в больницу попал. Веселый лежал... Потом помер». А жили они за Новосибирском, далеко. Ну, что: надо ехать за ним. Он

был из нашего села, Сашка его знал. Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда — это уж дня через четыре — реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали — ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевел по доскам, а сам вернулся, нанял подводу и поехал вверх по реке — там, говорят, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место — вроде, ничего, можно. Разогнали коня, а сами — в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня. А он сам уж — дай бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...

Эта грустная история рассказана была, как понял сам Костя, совсем некстати. Он замолчал. На какое-то время он забыл и про Нину и зачем он пришел сюда — вспомнил зятя-покойника. Ребятишек-племяшей вспомнил... И почему-то совестно стало. Закурил.

И в это время пришли Сашка с Валей. Пришли веселые. Сашка вовсю дурачился.

— Спорим? — кричал он. — Давай спорить!

— Чего вы? — спросила Нина.

— Она не верит, что я могу выпить бутылку вина, не держась руками.

— Кто спорит, тот...

— Да это мы слышали! Скажи, что тебя сперло. Мне только напиваться неохота, а то бы я показал.

— А как это?

— Вон чайник, да? Я б счас вино вылил в него, носик в зубы и...

— А-а.

— Вот те и «а-а». Ну, как тут у вас?

— Я еще картошки только начистила.

— Ну-у, товарищи!.. Чем вы тут занимались, не знаю. Не знаю. Нинон, чем вы тут занимались?

«Трепач, — с яростью подумал Костя. — Носик в зубы...»

— Долго с этой картошкой, — сказала Валя. — Ну ее к черту! Закусим чем-нибудь.

— Идея! — подхватил Сашка. — Выпьем и пойдем на танцы.

Нина остановилась с тазиком в руках.

— Ну?

— Как, Костя?

— Да мне-то, господи!.. Нужна мне эта картошка.

Так и порешили — не возиться с картошкой. Сели за стол,

После двух стаканов вина Косте стало веселей.

— А где тут у вас танцы? Далеко?

— В парке.

— Пойдем, Нина?

— Мне что-то неохота. Не манит. Можно сходить, только я танцевать не буду.

— Почему?

— Не умею, как они. Совестно.

— Ерунда! — раздухарился Костя. — Я могу дрыгать ногами не хуже их.

До парка решили идти пешком.

Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади.

Костя начал помаленьку растрачивать веселье из груди. Опять подступили к сердцу неловкость и стыд, и, как он себя ни взбадривал, как ни старался настроиться на беспечность — не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. Зато Сашка впереди строчил, как из пулемета, Валя то и дело смеялась громко. Костя завидовал земляку, понимал, что только так и нужно сейчас — нести околесицу, чтоб уши вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет говорить, то его опять поведет куда-нибудь не туда. Про гроб начал давеча!..

«Смотри ты, какой он стал! — думал о Сашке. — Наблатыкался».

— Расскажи чего-нибудь, — попросил он девушку.

— Чего рассказать?

— Ну... веселое что-нибудь. А то со мной с тоски завянешь.

— А я вот так вот люблю: ходить и смотреть на людей. И отгадывать про них...

— Ты что, ворожейка? — Костя посмеялся насильственно и снова остро почувствовал, что это глупо — что он хихикает.

— Не ворожейка, — серьезно сказала Нина, — просто хожу и отгадываю: вот у этого горе какое-то, а этому — только

до постели добраться, с работы идет. А другому, посмотришь, — ничегошеньки не надо: куда-нибудь придет...

«Это она про меня, наверно».

— Знаешь, — сказала вдруг Нина, останавливаясь. — Пойдем на реку. Там хорошо.

— А они?

— А что они?

— Ничего? Оставим-то их...

— Ничего, — Нина посмотрела на своего кавалера, и тому показалось, что она усмехнулась.

«Ну, давай, Костя, — серьезно подумал он, — не будь же уж совсем-то чумичкой: девка сама подсказывает. Совсем, что ли, баран?»

— У меня там скамеечка есть... Сидишь, думаешь... Хорошо. Иной раз дотемна досидишь.

— Одна? — Костя только что не взбрыкнул — так ему хотелось показаться игривым.

— Одна.

— О чем мысли?

— Не знаю.

— Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем — не знаю.

— Не знаю. Сижу — вроде, думаю, а спроси — не знаю, о чем. Может, вспоминаю... Я маленькая бойкая была, в школе озоровала...

— А теперь?

— Теперь другая.

— Замуж пора, — брякнул Костя.

— Была, — просто сказала Нина.

— Была? Где, здесь?

— Здесь. Полтора года была замужняя женщина...

— Ну?

— Теперь нет. Опять на танцы хожу.

— А почему?

— Разошлись.

— Как так?

— Что?

— Почему разошлись-то?

— Не надо об этом, — попросила Нина. — Не бывает, что ли?

Не скажешь, чтобы в голосе ее слышалась грусть или скорбь, но была в ее голосе, глубоко спокойном, — усталость. Как будто накричался человек на том берегу реки, долго звал, потом сказал себе тихо, без боли: «Не слышат».

Некоторое время шли молча.

Шли по набережной. Нина смотрела на воду, Костя сбоку разглядывал ее. И досмотрелся до того, что забыл неловкость и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина повернулась к нему...

— Почему разошлись-то? — вылетело у Кости. Он не хотел больше об этом. Он чуть не взвыл от отчаяния. Вовсе ему неинтересно было знать, из-за чего разошлись Нина с мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, ласковое, а... Тьфу!

Нина усмехнулась... И ничего не сказала.

Между тем подошли к той самой скамеечке, где любила сидеть Нина.

За домами на той стороне садилось солнце. Небо было темное, мутное, река черная... А там, где садилось солнце, обозначился слабый румянец зари. По обоим берегам зажглись на столбах огни, и по воде, поперек реки, заструились тоненькие светлые вилюшки... Наносило холодом от воды... Костя снял пиджак и накинул на плечи Нины. Когда накидывал, то хотел тут же и приобнять ее. Нина спокойно отстранилась и спокойно сказала:

— Не надо.

С удовольствием устроилась удобней в пиджаке и продолжала смотреть на воду.

Костя закурил.

Долго молчали.

— Домой-то не лучше уехать? — сказал Костя.

— Все равно, — не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала: — Устала я как-то.

— Домой надо, — опять сказал Костя.

— Дома хорошо, — согласилась Нина.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь почему-то не мучился, что молчит.

«Обязательно тискаться, что ли?» — подумал сердито.

Чахоточный румянец за рекой погас. В той стороне на небе светлела только одна бледная пролысинка. Вода сделалась совсем черной, маслянисто-черной, неслышно текла на середине, а здесь, у берега, сонно покачивалась и лизала жирный гранит.

— Пошли потихоньку к дому, — сказала Нина. И поднялась. — Не холодно без пиджака-то?

— Нет.

— Ну, пойду в нем. Зябко.

— Не простыла?

— Нет, так чего-то.

Тихонько шли до общежития.

Костя и сам сейчас — не то думал, не то вспоминал что-то такое. Вообще грустно было.

— Пришли, —сказала Нина.

— Сашку я уж теперь не дождусь...

— Они долго будут.

— Скажи, что я ушел в гостиницу. А завтра — домой.

— Счастливо.

Костя пожал крепкую ладонь девушки... Задержал ее в своей руке. Нина улыбнулась, отняла руку, еще сказала:

— Счастливо, — и пошла. И ушла в подъезд, не оглянулась.

Костя пошел наугад переулками — потом где-нибудь на большой улице можно спросить, как пройти к гостинице. Думал о Нине... Шевельнулось в груди нечто вроде жалости к ней — или он попробовал пожалеть? — очень захотелось, чтоб у ней в жизни случилась бы какая-нибудь радость.

«Все мы какие-то...», — подумал он и о себе. И не додумал. Стал слушать: где-то во дворе или в переулке молодые девичьи голоса тянули:

...Мою печа-аль, мою печа-аль,
А я такой, что за тобо-ою
Могу пойти в любую даль.
А я тако-ой...

— Пойдешь, пойдешь, —сказал Костя вслух. И встряхнулся, точно хотел смахнуть с себя стыд и бестолочь сегодняшнего вечера — вспомнил свои рассказы про медведя, про гроб... — Тьфу!

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Вечером, в субботу, в клубе села Нового собрались обсуждать только что полученную пьесу. Собралось человек двенадцать — участники художественной самодеятельности.

Речь держит Ваня Татусь, невысокий крепыш, честолюбивый, обидчивый и вредный. Он в этом году окончил областную культпросветшколу и неумеренно форсит. Он — руководитель художественной самодеятельности.

— Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость...

— К нам едет ревизор? — это Володька Маров. Володька дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю, но Ваня это скрывает, надеется, что Вера сама заметит гордого Ваню и покинет дубинистого Володьку. Если же она останется с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. Основания для того, чтоб она потом страдала и раскаивалась, — будут. А Володька знает — почувствовал, что ли, — тайные помыслы Вани и ест его поедом. Для того и в самодеятельность записался. Медсестра Вера сидит здесь же — она помешалась на самодеятельности, и тем еще злит Ваню, что с такой-то любовью к драматическому искусству не может, дурочка, сообразить, что любить надо — режиссера. Интересно, о чем они говорят с Володькой? О поршнях?

— Маров, острить будешь потом, — Ваня понимает, что не надо даже и замечать-то Володьку, не то что вступать в разговоры с ним, но не может сдержаться — старается тоже укусить соперника. — Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре. Острит, Маров, тот, кто острит последним.

— Ослит, — поправляет Володька.

— Вот именно. Надо сначала отрепетировать пьесу, а потом будем острить и смеяться...

— Как дети, среди упорной борьбы и труда...

— Перестань! — сердито прерывает Вера. — Про что пьеса, Ваня? Женские роли есть?

— Пьеса из колхозной жизни, бьет по... — Ваня заглянул в аннотацию. — Бьет по частнособственническим интере-

сам. Автор сам вышел из народной гущи, хорошо знает современную колхозную деревню, ее быт и нравы. Слово его крепко, как... дуга.

— Как это — из гущи? — спросил Васька Ермилов, по общему мнению, дураковатый парень, любитель выпить, тоже шофер, дружок Володьки. Володька привлек его с собой в самодеятельность, чтобы не скучно было. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо вовсю острить и подсмеиваться. — Он что, алкаш?

— Вася, помолчи, ради бога! — Вера гневно смотрит на Ваську.

— Но я недопонимаю: как это — вышел из гущи? Гуща — это когда пива на донышке остается...

— Кто про что, а вшивый все про баню, — заметил один женатый мужик, который от семьи — от детей! — бегал репетировать пьески.

— А ты понимаешь?

— Из гущи — значит, из низов, из простонародья.

— Простонародья теперь нет. Из рядовых колхозников, — поправил Ваня.

— Так бы и писали, — ворчит Васька. Он совсем не умеет шутить.

— Я бы сказал так, — не унимается женатый мужик, — из трудового крестьянства.

Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч, вечный шут. Он среди молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, коллективизации, например, — прямо касалось его: он по сей день жалел, например, что многих и многих в селе не раскулачили тогда, в тридцатом году. Когда сказали «крестьянство», Елистратыч встрепенулся.

— Крестьян теперь тоже нет — колхозники (он говорил: кольхозники).

— Ваня, женские роли есть? — спросила нетерпеливая Вера.

— Помолчите, товарищи! — строговато сказал Ваня. — Я сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все понятно. В колхоз из армии возвращается хороший парень Иван Петров. Сначала он... — Ваня читает предисловие, — активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства...

— Пожалуйста: колхозного крестьянства! — воскликнул женатик.

— Трудового — тоже можно говорить. Колхозное крестьянство — это и есть трудовое. Продолжаю: активно включается в трудовую жизнь, но затем женится... Есть, как видите, женщины. Иначе, на ком же он женится?

— А может, он этот... как их? — подает голос Васька.

— Ну дайте же послушать-то! — взмолилась Вера. — Идиоты, честное слово. Еще же ничего не ясно.

— Я предлагаю так, — поднялся женатик, — кто вякнет не по существу, того выводить.

— Ты эти замашки брось, — советует Володька. — Мы же не в отделении милиции.

Женатик чего-то вдруг рассмеялся.

— А я же и не говорю, что — приводить. Я говорю: вы-во-дить.

— Ваня, продолжай.

— Он женится и попадает под влияние тестя и тещи, а потом и жены: становится стяжателем. Начинает строить себе дом, обносит его высоким забором... Пьеса называется «Крыша» над головой». Крыша — взято в кавычки, потому что дом большой — это уже не крыша. Ивану делают замечание — чтобы он поумерился. Иван отговаривается материальным стимулированием, скрывая под этим чисто кулацкие взгляды...

— А отец с матрей его живые? — встрепенулся опять Елистратыч.

— Всех удивляет: откуда в нем это? Его продергивают в стенгазете, молодежь из самодеятельности сложила о нем обличительные частушки... То, что я и предлагал сделать с Ивановым, но меня не поддержали.

— Иванов — трудяга.

— А этот? Вопрос: в чью пользу трудяга? В общем, озорные девчата исполняли эти частушки с клубной сцены; в зале — веселая реакция. Но Иван не унимается. Тогда его разбирают на колхозном собрании. Один за другим на трибуну поднимаются колхозные активисты, бывшие товарищи Ивана, пожилые колхозники — суд их суров, но справедлив. Все разъясняют Ивану, что он, возводя над собой так называемую крышу, тем самым отгораживается от коллектива... То есть, под крышей надо понимать забор. Крыша — тире — забор. Это понятно?

— А какую позицию занимает жена? — это все Вера.

— Там же сказано: действовали совместно, — сказал женатик. — Групповая.

Елистратыч вспомнил народную мудрость:

— Муж да жена — одна сатана.

— Она тоже присутствует на собрании?

— И только тут, на собрании, — продолжает Ваня, — Иван осознает, в какое болото затащили его тесть с тещей. Он срывается и бежит к недостроенному дому... Дом уже он подвел под крышу Он подбегает к дому, трясущимися руками достает спички... — Ваня понизил голос, помолчал... И дал: — И — поджигает дом!

Никто не ждал этого.

— Как?

— Сам?

— Он что?..

— Эт-то он... А пожарка в деревне есть?

Вера потрясена пьесой.

— Это трагедия, да? Вань?

— Если не трагедия, то... во всяком случае, социальная драма.

— А мы чего-нибудь будем жечь? — интересуется один любитель пиротехники.

— Да, товарищи, — продолжает довольный Ваня, — он сам поджигает дом, который сам, собственными руками рубил в неурочное время.

— Дом-то сгорел? — спрашивает Володька, задетый за живое Ваниным торжеством. Ему не верится, чтобы в современной пьесе сгорел дом.

— Когда дело-то происходит? — женатик тоже не понимает, как это — дом поджигает. — Летом?

— Спокойно, спокойно, — говорит артист Ваня. — Он поджигает дом, но колхозники... Тут самый накал пьесы. Развязка. Обратите внимание, как автор подходит к финалу — резкими мазками! Иван срывается с места и с криком «Подонки! Куда они меня завели?!» выбегает с собрания. Жена...

— Он же уже выбежал.

— Жена бросается за ним.

— Он же уже выбежал!

— Через некоторое время бледная жена прибегает на собрание... В это время собрание перешло к другому вопросу.

Жена врывается на собрание и кричит срывающимся голосом: «Скорее! Он поджег дом!» Колхозники срываются с места и бегут к новому дому. Один старик... Здесь мы будем отталкиваться от деда Щукаря. Этот старик бежит совсем в другую сторону — к дому тестя Ивана. И кричит за кулисами: «Вы горите или нет?!» Это уже элемент трагикомедии. Мы всю пьесу будем решать в трагикомическом ключе.

— Но дом-то сгорел? — опять спрашивает Володька.

— Дом спасают колхозники. Ивану объяснили, что дом пойдет под колхозные ясли. Иван сам принимает участие в тушении пожара и все повторяет: «Подонки! Куда они меня завели!»

— Это про кого он? — не понял Васька.

— О, боже мой! Да про тестя с тещей, неужели непонятно?

— Сильная пьеса!

— И все? Конец? — спрашивает Володька.

— В конце Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девчатами обязательство: сдать ясли к Новому году.

— А где он жить будет? — это Володька.

— Поживет пока у тестя... — начал было Ваня, но, спохватился: герой только что крыл тестя и тещу «подонками». — Найдет, где жить.

— Где?

— А тебя что, не устраивает идея пьесы?

— Идея-то меня устраивает. Я спрашиваю, где он жить будет?

— А по-моему, тебя сама идея не устраивает.

— Ты мне политику не шей. Я спрашиваю, где он жить будет?

Женатику надоели эти пререкания двух ухажеров.

— Допустим, он себе еще домик срубит — поменьше. Доволен?

— На какие же такие деньги: один дом рубит, другой?..

— Другой — это уже за кадром, — резко сказал Ваня. — Другой нас уже не интересует. Перед нами — пьеса, и надо относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и первый дом не устраивает...

— На первое время к тестю пойдет, — сказал женатик.

— Да не пойдет он к тестю! — взорвался Васька. — Вы что? У них после этого ругань пойдет несусветная. Ведь он же

помогал ему рубить дом? Тесть-то? Откуда у солдата деньги? Тесть помогал... А зять — то хотел спалить этот дом, то под ясли отдал. И что, тесть после этого скажет ему: «Спасибо тебе, зятек?»

— Не меряй всех на свой аршин.

— Вот тесть-то меня меньше всего волнует, — жестко сказал Ваня.

Женатик встал.

— Здесь просто хотят подсунуть другую идейку! — и сел. Он не любил Володьку за длинный язык.

— Дальше? — спросил Володька. — Что ж ты замолчал? Какую идейку? Говори.

Женатик встал.

— Здесь просто хотят проявить сочувствие тестю.

— Кулаку-тестю, — уточнил Ваня.

Наступила нехорошая тишина.

— Предлагаю вывести Марова из состава драмкружка, — сказал женатик. — И Ваську тоже. Они не репетируют, а только зубоскалят.

— А меня за что? — обиделся Васька.

— Нет, Ваську, не надо, — пожалел пиротехник. — Он одумается.

Раздались еще голоса:

— Васька — безотказный труженик. Он только — на поводу у Марова.

Женатик предложил другое:

— Поставить Ваське на вид. И предупредить: пусть не злоупотребляет спиртными напитками.

— Вот за это стоит! — подхватил Елистратыч. — Это — стоит. По праздникам — это другое дело. Но ты, Васька, и в будни — нет-нет — да огреешь. А ты — на машине, недолго и до аварии.

— Совсем надо прекратить! — подала голос библиотекарша, женщина в годах, но очень миловидная.

— Нет, совсем-то... как, поди-ка, совсем-то? — усомнился сам Елистратыч. — Он же мужик...

Но тут взорвался женатик:

— Ну и что, что мужик? А спросите его: что за причина, по которой он пьет? Он не ответит.

Тучи сгущались.

— По праздникам все пьют, — вякнул Васька. — А я что, рыжий?

— В общем так, — подвел Ваня, — Двое упорствуют, двое настаивают на своем. Ставлю на голосование: кто за то, чтобы...

В это время через зал прошла и села на первый ряд Вдовина Матрена Ивановна, пенсионерка, бывшая завотделом культуры райисполкома, негласный шеф и радетель художественной самодеятельности.

— Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела?

— Обсуждаем пьесу, Матрена Ивановна.

— Так, так.

— Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает.

— Как так? — удивилась Матрена Ивановна. — Я читала — хорошая пьеса. А кому не нравится идея?

— Мне идея нравится, — заговорил Володька, с презрением поглядев на Ваню, — только я не знаю, где он жить будет...

— Кто?

— Солдат.

— Какой солдат?

— Герой пьесы, Матрена Ивановна, — пояснил Ваня. — Надо яснее выражаться, Маров. Он уже давно не солдат.

— Я уж испугалась: как это — где будет жить солдат? Выражайтесь, действительно, яснее. А то ведь можно подумать, что у нас солдатам жить негде. А почему идея не нравится?

— Да вот... ставят двусмысленный вопрос: где будет жить Иван?

— Ты мне — не двусмысленный! — разозлился Володька. — Двусмысленный... Вопрос самый обыкновенный.

— Ну, ну?

— Дом он отдал под ясли, к тестю он после всего не пойдет... Где же он жить будет?

— Ну, нашли о чем спорить! Петухи. Жилье ему выделит колхоз. Обязан выделить. Человек отдал дом под ясли...

— В пьесе-то этого нет.

Вдовина подумала.

— А вот тут, возможно, что и упущение автора. Вот что, ребята: я свяжусь с автором по телефону, попрошу его добавить насчет жилья. А то, действительно, можно не так понять... Можно понять, что его оставили на произвол судьбы. Я попрошу его уточнить с жильем. О том, что мы взяли его пьесу я ему звонила, он поздравляет нас и передает всем

привет. Дело серьезное, ребятки. Как говорят охотники: есть шанс убить медведя. Если мы займем первое место на смотре...

Тут все загалдели.

— То что тогда, Матрена Ивановна?

— Ой, ну скажите?..

— Матрена Ивановна, скажите!

— Звание народного театра?

— Ну, за один спектакль...

— Как сделать!

— Нам устроят турне по области?

Вдовина, улыбающаяся, захлопала в ладоши.

— Тихо, ребятки, тихо!

— Ну скажите, Матрена Ивановна!

— Нет, нет, даже не просите, — Вдовина улыбалась. — Не будете знать, лучше будете работать. Вот так. Это и педагогичнее будет. За работу, друзья!

В клуб вошла девушка с почты.

— Матрена Ивановна, вам телеграмма. Я была у вас дома, там никого нет...

Матрена Ивановна надела очки, прочитала телеграмму.

— Какое совпадение, — сказала она. — Только что о нем говорили...

— От автора?

— Да. Он пишет: *«Песню "Мой Вася" снимите. Точка. Героиня поет: "Вот кто-то с горочки спустился". Точка. Желаю удачи. Красницкий»*. Болит ретивое-то — думает.

— А она разве поет там? — спросил Ваня.

— Кто?

— Героиня-то. Она же у нас не поет.

— Да, верно... Я не помню, чтобы она у нас пела. Он, наверно, перепутал пьесы. Где-нибудь ставят еще его пьесу... Конечно, он перепутал. Я буду звонить, все выясню. А теперь — за работу друзья. За работу!

КРЕПКИЙ МУЖИК

В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада — из церк-

ви — вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные... И дегтярили, и химией обсыпали сбрую — грызут), метлы, грабли, лопаты... И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой.

Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

— Церква-то освободилась теперь...

— Ну.

— Чего с ней делать-то?

— Закрой, да пусть стоит. А что?

— Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

— Это ее разбирать — надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

— Я ее свалю.

— Как?

— Так. Тремя тракторами зацеплю — слетит как миленькая.

— Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы — на углах и посреди стены— девять бревен...

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, — крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей — вроде и не слышал их, и не видел.

— Николай, да тебе велели али как? — спрашивали. — Не сам ли уж надумал?

— Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

— Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

— Вон отсудова, пьяная харя!

Михайло удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался «пьяной харей». Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли... Сейчас взревут тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне — упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса:

— Николай, кто велел-то?

— Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

— Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин — ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело — видела: что-то непонятное творится с мужем — подошла.

— Коль, зачем свалить-то хочешь?

— Вон отсудова! — велел и ей Шурыгин. — И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время — побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд «на исполнение работ».

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

— Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

— Не суйтесь не в свое дело, — сказал Шурыгин.

— Это мое дело! Это народное дело!.. — учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: — Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

— Ответишь за убийство! Идиот...

Тракторы остановились.

— Уйди-и! — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

— Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

— Давай! — крикнул он трактористам.

— Становитесь все под стену! — кричал учитель всем. — Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

— Давай, какого!.. — заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги.

— Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали.

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно — ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Земля вздрогнула, как от снаряда, все заволокло пылью.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви.

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них.

Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить тросы.

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки.

Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

— Все, угорела! — весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

— Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича — кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком — крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели — кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

— Видела, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный.

— Дурацкое дело не хитрое, — не скрывая злости, сказала продавщица.

— Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться.

— Мешала она тебе, стояла?

— А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

— А то тебе, бедному негде кирпич достать! Идиот.

— Халява! — тоже обозлился Шурыгин. — Не понимаешь, значит, помалкивай.

— Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот счас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

— Дай бутылку.

— Иди промочи горло-то, — заговорили сзади. — Пересохло!

— Как же — пыльно!

— Руки чесались у дьявола...

Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их — какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

— Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: «Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли».

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут — вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и... — вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно: — И нечего ей стоять, глаза мозолить».

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки:

— Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз — тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочуриссе в одночасье, то ли где лесиной прижмет невзначай...

— Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

— Да грех-то какой!

— Ваську Духанина прокляли — он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал...

— Тада время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал — рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват — узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый.

— Ладно, лежи хворай.

— Глаз теперь не кажи на люди...

— Хоть бы молиться ходили! А то стояла — никто не замечал...

— Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее — вроде уж дома. Она сил прибавляла...

— Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне — ни один черт не охнет, а тут — загоревали. Переживут!

— Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил. «К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется, — подумал. — Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает».

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось — не мог. Попросил жену:

— Сходи возьми бутылку.

— Пошел к черту! Он теперь дружок тебе.

— Сходи, прошу...

— Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

— Заткнись. Туда же...

— Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная! Просили, всем миром просили — нет! Вылупил шары-то свои...

— Замолчи! А то опояшу разок...

— Опояшь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

«Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все».

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

«Семнадцатый век, — вспомнил Шурыгин. — Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши». Шурыгин наддал газку... И пропел громко, чтобы все знали, что у него — от всех этих проклятий — прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!
Я солдат девятой роты,
Тридцать первого полка...
Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

СВОЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее — Сергеем; Сергей Сергеевич, так он представился, смуглый, курносый, с круглыми, бутылочного цвета глазами.

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в горницу, и унесли туда чемоданы.

— Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать, — сказал Сергей Сергеевич снисходительно, но не без гордости — тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, этот — сорокалетний — гордился со смаком.

Свояки закурили.

— На сколь? — спросил Андрей.

— У нас отпуск большой, мы же — льготники, — и опять гордость, высокомерие. Живого места нет на человеке — весь как лоскутное одеяло, и каждый лоскут — кричит и хвалится. — На особом положении.

— На каком таком особом?

— В смысле зарплаты и отпуска.

— Что, очень большая зарплата?

Свояк Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андрея.

— У меня, например, выходит до четырехсот.

Свояк Андрей удивился:

— Ого-го!

— Сколько у вас тут профессор получает?

— Где?

— Ну, здесь, на Большой земле.

— А я откуда знаю, сколько.

— Самый высокооплачиваемый профессор получает пятьсот рублей. Максимум.

— Ну. И что?

— А я пять классов кончил, шестой коридор... — свояк Сергей Сергеевич опять посмеялся. — Вот так и живем.

— Значит, хорошо. Это хорошо.

— Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно?

Андрей пожал плечами.

— Так... а чего, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно.

— Не скажи. Я говорил своей: поедем в Ялту! Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетерпеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях: в магазине ничего нет... Сейчас по дороге зашел в ваш магазин. «Дайте, говорю, шампанского». Она на меня — как баран на новые ворота: «Какого шаньпанскыва?» — «Ну, обыкновенного, говорю: сухого, полусухого, сладкого, полусладкого... Какое у вас есть?» — «Никакого». Вина хорошего и то нет. Одна сивуха.

Андрей поднялся.

— Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, протопить?

— Баню — это хорошо. У вас по-черному?

— По-черному.

— Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь по-черному? А я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше.

Андрей вышел на двор.

Вскоре вышла жена Соня.

— Ох и навезли! — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. — Мне два платка вот таких — цветные, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...

— Ты вот чего... С тистями... Воду надо таскать, — заметил Андрей. — Свояк любит, чтоб воды было навалом.

— Господи, да я для них!.. И ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот... бурелом какой-то. Подумают, что мы — не рады. А я без ума радешенька. Ох, шали!.. Во сне таких сроду не видывала. Живут же люди!

Мылись в бане уже затемнело.

Свояк Сергей Сергеич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал блаженно... Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле.

— Тянул! — весело сообщил Сергей Сергеич, когда Андрей спросил о наколках. — Четыре года... По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку... Ху. Кха!.. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил два тюка крепдешина — попались. Ну-ка, поддай ковшичек.

Андрей поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал хлестаться, опять закряхтел, застонал...

— Ну, и как?

— А?

— С крепдешином-то?

— Я ж говорю: попались. Вломили: мне четыре, брату семь... Не посмотрели на его ордена. У него орденов двенадцать штук было. С медалями.

— А брата-то за что?

— Так он же научил-то! Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел, пять лет только — под амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два!

— Тебе ничего, плохо не будет?

— Ерунда! Давай!

Каменка зло фыркнула, крутой, яростный пар клубом ударил в потолок, оттуда кинулся вниз... Андрей присел на корточки. Свояк мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выполз в предбанник отдышаться.

Андрей на минуту влез на полок, постегал маленько ноги, поясницу — не любитель был париться. Тоже слез на пол.

— Иди покурим, — позвал Сергей Сергеич.

Закурили в прохладном предбаннике. Свояк — опять за свое:

— Ну, а как, например, можно отдохнуть?

— Ну, елки зеленые! — изумился Андрей. — Ну, лежи, плюй в потолок... Кино привозят. Рыбачь ходи... «Как отдохнуть...»

— Рыбешка есть в реке?

— Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше.

— А лодка есть?

— Есть. Только без мотора.

— Почему? Моторов нету?

— Моторы-то есть — вон, бери в магазине... Грошей нет.

— А у меня «ИЖ», в субботу часика в четыре утра выеду, как дам по тракту сотенку в час!.. Зверь! Мы на озера ездим рыбачить.

— Добываете?

— Ну, чтобы зря не трепаться: по полмешка привожу. Розка не знает, куда девать. И жарит, и солит, и уха идет... Но в основном огород удобряем.

— Во?! — удивился Андрей.

— Да. Я лук репчатый уважаю, у меня теплица есть, я туда — толченой рыбы... Знаешь, какой лук растет! Ни у кого в

поселке такого лука нет. Вот такой вот!.. Аж сладкий, гад. А счас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «фиат» подождать, но я думаю, они с этим «фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это время «Волгу» получу. Кха. Нешто еще разок слазить? Пойду шваркнусь...

Потом мылись женщины.

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой» и... поругались. Свояк начал опять хвастаться, как у него складно все получается в жизни... И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить.

— И телевизора даже нету?

— Нету.

— Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малахольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить?

Андрей обиделся.

— Не все же профессорское жалованье получают...

— Но телевизор-то можно купить!

— Да на кой он мне... нужен-то? И «фиат» тоже не нужен. Понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить...

— Как?

— Так. Узнаешь.

— Нет, как? Мм?

— Перелобаню разок, и все.

— Да?

— А чего ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышно: это нехорошо, то не нравится!.. Я тебя не звал сюда. А приехал — значит, помалкивай. И будь человеком.

— Значит, ты предлагаешь так: даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо? Да?

— Я виноват, что в лавке нет шампанского? Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас его сроду никто не пьет.

— Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и «калгановой» выпить.

— А у тебя, например, комбайн есть?

— Какой комбайн?

— Обыкновенный, которым жнут.

— Зачем он мне?

— Вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечание, что у тебя комбайна нет...

— Но телевизор-то — это же первая необходимость! У тя же сын растет: вместо того, чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть.

Андрей помолчал.

— Вон у меня лук репчатый есть — целые вязанки висят... Хочешь?

— Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно...

Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка.

— Еще раз обзовешь... вот видал? — сразу между глаз закатаю.

— Да? — свояк оживился. — А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить. Вот видишь — нос? — он нажал пальцем на свою кнопку. — Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели... Бывало, подойду, о так от — рраз!.. — Сергей Сергеич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая рука Андрея — свояк слетел со стула и громко заматерился.

— Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу тя, в печень, понимаешь!.. В рот пароход! — свояк сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой махал в воздухе, объяснял: — Я ж те хотел показать, а ты думал...

— Два молодых оглоеда — на старого человека, —сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился: он в самом деле решил, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. — И не стыдно?

— Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же...

В это время в сенях стукнула дверь — свояк вскочил с пола и быстро-быстро заговорил:

— Андрюха!.. В рот пароход! Молчи! Мы — сидим, пьем «калгановую»... Ничего не было! Понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых... Лады? Мы — сидим, мирно пьем «калгановую», — свояк быстренько набулькал две рюмки, сел за стол.

Когда сестры вошли в избу, свояки чокались.

— А-а, — закричал Сергей Сергеич. — С легким паром!

— Ты, я смотрю, уже полегчал? — миролюбиво заметила Роза. — Ничего?

— Все в порядке, все в порядке, — поспешил Сергей Сергеич. — Спроси свояка.

— Все в порядке, — подтвердил Андрей.

— Чего нас-то не ждете, — упрекнула Соня. Но так — проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное настроение.

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк тонким, дрожащим голосом... И при этом закрывал глаза и мелко тряс головой.

Я знаю, меня ты не ждешь,
И писем моих не читаешь...

Все подхватывали:

Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.
Ох, встречать ты меня не приде-ошь...

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка.

А на другой день свояк выкинул шутку, которую Андрей не понял до конца, не понял — зачем?

Андрей возвращался вечером с работы... Свояк ждал его у ворот на скамеечке. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил:

— Ну что, малахольный?.. Отработал?

Андрей ушам своим не поверил.

— Ты опять? — с угрозой протянул Андрей.

— Следуйте за мной, гражданин! — и свояк пошел, не оглядываясь, к сараю.

— Чего ты? — не двигался с места Андрей.

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно, малахольный!

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не обещал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая... А там, на плахе, маслено поблескивая смазкой, лежал... лодочный мотор. Новенький, только из сельмага. Свояк пнул его носком ботинка.

— Бери, ставь на лодку.

— Как?..

— Говори «спасибо» и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю.

— Как же так? — все не мог понять Андрей.

Свояк засмеялся, довольный.

— Вот так... Чего рот разинул? От малахольный-то... Бери — твой!

— Он же дорого стоит, — сказал Андрей. — Куда к черту...

Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно — со злинкой — похлопал его по щеке.

— Бери... Я их те таких десяток могу купить. Помни Серьгу Неверова! Пошли.

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца.

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

Свояк сидел крепко.

— Ну, до крыльца! Ну! — Сергей Сергеич от нетерпения пришпорил в бока Андрею. — Ну!.. Шутейно же. Гоп! Гоп!.. Аллюром! Что, трудно, что ли?

Проклятый мотор! Черт его подсунул, не иначе. Стерва металлическая... Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал:

— Еге-ей! Скакал казак через долину!.. Гоп! Гоп!..

К счастью, никто не вышел из дома, и с улицы тоже не было видно, на ком это скачет гость Кочугановых «через долину».

Андрей пошел в дом, пинком расхлобыстнул дверь... Но на столе — увидел — стояла опять «калгановая», вкусно пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, суетилась в кути... Да черт с ним, что прокатил на спине! Что, действительно трудно, что ли? Зато теперь — с мотором, будь он проклят.

— Ну, как мотор-то? — спросила Соня.

— О так от!.. — выскочил вперед Сергей Сергеич. — О так от уставился на него и смо-отрит. Умора!.. — свояк и Соня засмеялись, довольные. — Я говорю: бери скорей, пока не раздумал! А то ведь раздумаю!.. Ну, давай по рюмочке «калгановой» — с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще? — свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера.

СУД

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых, парниковую грядку. Натаскала навоза, доброй землицы... А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посырей и оставила шáять на ночь. Он шáял, шáял, высох и загорелся огнем. И стена загорелась... В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, плетень... Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал. Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самовозгорание! — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. — Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим, — сказал он. — А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и все!

Муж Гребенщиковой, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню...

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание...

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то.

— Бывает, когда навоз годами преет, да в куче — слежалый. А у ней за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд и, стало быть, чего тут еще говорить. Без него все решится.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете...

Шел Ефим на суд, как курва с котелком, — нервничал. Вспомнил чего-то, как один раз, в войну, он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего предсельсовета Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе — его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька «спустил на тормозах», в суд не подал, хотя долго после этого пугал: «Подать, что ли, Ефим? А?»

«Ну да, а я сейчас, выходит, иду человека топить, — думал Ефим. — На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента, мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб заметней было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел: хватит того, что нашумел с ними тогда, после демобилизации.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое, горюшко! — не желает мамзель с нами здороваться», — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтобы этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека, да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима...

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверно, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка...

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»... Соседи ведь.

— Соседи, —поспешил Ефим. — Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога...

— А подаете.

— Дак она же платить нисколь не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз...

— Подожгли его?

— Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во! — изумился Ефим. — Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я — как себя помню, так помню, что ворочал его, — так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом, не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю...

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было... Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, — продолжала Алла Кузьминична.

Судья все кивал головой.

«Счас докажут, что я верблюд», — затосковал Ефим.

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету, — она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть», — подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична...

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое, к дьяволу, самовозгорание! Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет... неловко. Договоритесь по-человечески с соседом... Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся и второпях — от благодарности — крепко занизил цену.

— Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке...

— Ну, сколько?

— Рублей двести, двести пятьдесят так... Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора... Что, им откажут, что ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха... Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю!

— Двести пятьдесят рублей, — подытожил судья. — Мой совет, Алла Кузьминична: заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим.

И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить... Рублей шестьдесят берут, ну и кормешка — двадцать: восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы...

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем, — резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень — не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо.

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подожгла, значит, надо платить.

— Гляди-ко!

— Что ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге... — Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал. — Да он, говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет, и ты станешь худая...

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди.

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова, не совестно? Проть кого пошла?! Да он, грит...

— Хватит лакать-то, обрадовался, — сердито заметила Марья. — Ты бы вот не лакал счас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала...

— Да где? Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мясом да отнеси. Да скажи спасибо, А то укостылял и спасибо не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал!

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот...»

— Пить со мной он, конечно, не станет: он человек на виду, нельзя... — поразмышлял Ефим.

— Отнеси сальца-то.

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного дать?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну взял и взял гостинец ребятишкам.

Ефим слазил в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него, само собой, пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да и сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, не сообразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди... Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку товарищ судья, — позвал Ефим. — Пройдемте-ка в кабинет... От сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают? Неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то?

— У меня, что ли? — не понимал судья.

— Но.

— Есть. А что?

— Нате-ка вот отвезите им — деревенского... С мяском выбирал, городские с мясом любят. Нашему брату — на физической работе — сала давай, посытнее, а вам — че-

го?.. — Ефим распутывал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь. — Вам повкусней надо... такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезите...

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом уставился на Ефима.

— Что? — спросил тот. — Я, мол, ребятишкам...

— Не надо, — негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти... А что? Это ж не деньги, деньги я бы...

— Да не надо! Вон отсюда! — судья повернулся, и сам вышел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то... Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю*. Зараза».

СУРАЗ**

Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид — двадцать пять, не больше.

Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог! Глаза ясные, умные...

---

* Скатать шлык — отодрать за волосы, взбить их на голове шапкой *(авт.)*.

** Сураз — 1) внебрачно рожденный; 2) бедовый случай, удар, огорчение *(сиб.)*.

Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне — до фени». Ему все «до фени». Тридцать шесть лет — ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое — матершинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это — тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашней.

— Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся — к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?

— С лица воду не пить, — резонно отвечает Спирька. — Она — терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением:

— Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него болела душа — опять пойдет: «Нет, это поразительно!.. Вылитый маленький Байрон». Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению:

— Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

— Да пошла ты к... — и Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

— Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо — маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадют.

И, правда, посадили. После войны. С дружком, таким же отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять — отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку-тараторку — уговорить сдаться добром. Шалаболка Вера тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним... Вышла и объявила гордо:

— Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

— Спирька, каждый твой выстрел — лишний год! — кричали ему.

— Считайте — сколько?! — отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «пыхтел».

Пришел — такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суетятся старики.

— Стакан водяры, — и смотрит с любопытством. — Что, ничего я мужик.

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков — никого, разъехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он.

Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить.

Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие — муж и жена. Сергей Юрьевич — учитель физкультуры, Ирина Ивановна — пения.

Сергей Юрьевич — невысокий, мускулистый, широченный в плечах... Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна — маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон, — откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать — тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

— Пойду гляну, что за люди, — сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

— Садись, Спиридон, похлебай, — Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

— Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

— Там, — старик кивнул на дверь горницы. — Укладываются.

— Как они?

— Ничего, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй.

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

— Можно?

— Войдите! — пригласили за дверью.

Спирька вошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

— Спиридон Расторгуев.

— Сергей Юрьевич.

— Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку поспешно повернулась, пошла за стулом... Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная — очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

— С приездом, — сказал Спирька.

— Спасибо.

— Пришел попроведать, — пояснил гость. — А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

— Необщительный народ?

— Как везде: больше по своим углам.

— Вы здешний?

— Здешний. Чалдон.

— Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

— Давай! — охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. — Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

— Стаканчик можно пропустить, — согласился Спирька. — Откуда будете?

— Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

— Как жизнь здесь? — спросил Сергей Юрьевич.

— Жизнь... — Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. — Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая... — нет, не хотелось говорить. — А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают что надо.

— Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

— Так — середка на половине. Ничего вообще-то... — ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. — Закурить можно?

— Курите.

— Учительствовать?

— Да.

— Она по кому учитель?

— По пению.

— Что, поет хорошо? — оживился Спирька.

— Поет...

— Может, споет нам?

— Ну... попросите, может, споет.

— Пойду скажу старикам... Зря она там!

И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе — Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...

— Я согласилась не делать горячего, — сказала она.

— Хорошо, что согласилась.

— Да на кой оно!.. — чуть не сорвался Спирька на привычное определение. — Милое дело — огурец да кусок сала! Верно? — Спирька глянул на хозяина.

— Тебе лучше знать, — резковато сказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты» — так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас — стаканчик водки, — а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

— Я сразу себе стакан, потом — ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...

— Вот... — поежился, — достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И — то ли коньяк так сразу, то ли кровь — кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.

— Мечтяк коньячишко, — похвалил он. — Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его. — Милое дело — самогон, да? — спросил Сергей Юрьевич, — Дешево и сердито.

«Что бы такое рассказать веселое?»— думал Спирька.

— Самогон теперь редко, — сказал он. — Это в войну... — и вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:

— Рассказать, как я жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

— Расскажи, расскажи, Спиридон, — попросил Сергей Юрьевич. — Это интересно — как ты жил.

Спирька закурил.

— Я — сураз, — начал он.

— Как это? — не поняла Ирина Ивановна.

— Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

— Вы знаете его?

— Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали — и ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать... — и так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так — сразу — расхотелось. Мало веселого... Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить. Он поднялся. — Мне в рейс. Спасибо за угощение.

— Ночью в рейс? — удивилась Ирина Ивановна.

— У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

— Странный парень, — сказала жена после некоторого молчания.

— Красивый, ты хотела сказать?

— Красивый, да.

— Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.

— Да?

— И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

— С чего ты взял?

— Поскребло-о.

— Тебе хочется, чтобы поскребло?

— А что?.. Только... не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

— Испугаешься, — сказал тот. — Для этого нужно мужество.

— Перестань, — сказала жена серьезно. — Чего ты?

— Мужество и, конечно, сила, — продолжал муж. — Надо, так сказать, быть в форме. Вот он — сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

— Почему ты решил?

— Не веришь? Иди спроси у стариков.

— Если тебе нужно, иди спрашивай.

— А что?..

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся... И с наигранной торжественностью объявил:

— Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь — обильный, чтоб резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху... И тогда бы — заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» — к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

— Ну? — недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча за окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было года двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо: — Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

— Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

— Да не себе я, чего ты разоралась-то!

— Кому же?

— Тебе. Им же исть надо! — про детей Нюриных. — Голодные же сидят...

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

— Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь — вкуснятина, сил нет...

Вот что вспомнилось вдруг.

— Чего стоишь-то? — спросила Нюра. — Дверь открыта... Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

— Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

— Иди, что ли?

Молчание.

— Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту! — Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

— Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру... Какого черта, действительно? Лучше не приходить тогда.

— Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная божья мать...

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая, внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась.

Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

— Букетик, — предложил он. И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

— Ах!.. — обрадовалась женщина. — Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела...

— Жарки, — в груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви. — Я вам теперь часто буду такие привозить.

— Да нет, зачем же?.. Это ведь — труд лишний...

— Ох, — скокетничал Спирька, — труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой коси... — Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие, удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука... «Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую и все». И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко... И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах... Спирька услышал за спиной насмешливый голос:

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел! И все у них есть, у дьяволов, везде они — желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну, как, удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подрожали. Он посмотрел на жену. — Что молчите? Что побледнела?! — крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину. — Шлюха!.. Успела? — муж шагнул к ней...

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно, — сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку.

— Кота пакостливого поймал, — пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило.

— Пидор, гад, — хрипел Спирька, — что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

«Убью», — мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

— Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом, и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил, и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним.

— Я тебя уработаю, — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать, — учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя, — повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег. — Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель. — За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь, и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома —

через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, — чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки, и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке — картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму, — Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для блезира в сенях. Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпимши... Как поедешь-то? — мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой, — мать во тьме перекрестила его. — Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные.

— Все будет хорошо, — Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни — мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как

поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал. А под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а — в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас.

Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороный
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный. «Так, так, так, — мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. — Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался — тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так...» Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим приятным вздохом: «п-ах». И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом... Вот тут его давеча волокли за шкирку. Пронеси, господи, — чтоб старики не проснулись. Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает! «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна... Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, — на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал — очень

уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами.

— Я предупреждал: я тебя уработаю, — сказал Спирька. Хотел оттянуть курки двустволки, но они были уже взведены (когда же взвел?). — Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одналенточка съехала с плеча, и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска.

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку.

— Вылазь из кровати, — велел Спирька.

— Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

— Я знаю. Вылазь.

— Спиридон! Неужели...

— Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати — в трусах, в майке.

Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя — такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами — как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки...

— Не надо! О-о-о-й!! Не надо! О-о-о-й!.. — и хотела схватить за ружье — на коленях — хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки. И получил удар прикладом в грудь, и свалился.

— Родно-ой! Не надо! — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки. — О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

— Не надо!! — кричала женщина и мотала головой, и все хотела обнять его ноги, и ползла без трусов — рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того — все хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпинывал женщину... И как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

— Мать вашу!.. — заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он по-

бежал, чтоб убежать от этой мысли — о матери. От всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало — что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять — мать... Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?!» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки...

«Счас толканет», — опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней — смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как... Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. «Погоди-ка, милок, погоди. Погоди, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! — отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?»

— В чем дело? — спросил вслух Спирька. — А? — брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость.

— В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-яй! Как же так? Побили мальчика? Побили... Больно, да? Хотел себе в лобик — пук!.. Ну и фраер! — Спирька даже засмеялся и схватился за губу: губы треснули от учителева рычага, стало больно, когда засмеялся. — Что ты? Что ты? Что ты? (разбитый рот выговаривал: «Фто ты? Фто ты?»). — Разве так можно? А-я-я-я-яй! Нехоро-фо. Ну, побили... а ты сразу... стреляться. О-о!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, — Спирька приложил ладонь к груди, — здесь была бы рваная дыра от двух зарядов — больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы... О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже

те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи — тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить... Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» — решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал... сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников.

— Лежите?.. Ну и лежите! Лежите — такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь.

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там. Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать.

Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот — ни днем, ни ночью... Спирька зажег спичку и осветил свое лицо.

— Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель развела.

Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный.

— Да где эт тебя так?! — спросила Вера.

— В одном месте... Славно уделали?

— Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

— Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку... Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

— Ой! — притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать... Можно, между делом, приласкать хозяйку, погладить по руке... Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная...

— Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась...

— Ружье. Пусть стоит.

— Зачем ружье-то?

— Да так.

— Спирька... ты чего это?

У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось, бог его знает. Рак, наверно.

— Спирька!..

— Аиньки?

— Ты что... воюешь, что ли, бегаешь?

— Воюю. Вот — ранили, — Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.

— Вот чудной-то. Может, убил кого?

— Нет. После убью. Потом.

— Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего... тогда и меня... как свидетельницу... Ну тя к дьяволу!

— Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть не убили... А мне надо еще придумать, как убить.

— Пей и уходи, — рассердилась Вера. — Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.

Спирька посерьезнел.

— Успокойся. Неужели я похожий на такого — невиновных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня. Я б никогда не пришел, если б... Брось.

— С ружьем по ночам носится...

Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.

— Не хочу.

— Почему?

— Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?

— Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо, — вспомнился учитель... Бледный, в трусах. Спирька передернул пле-

чами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поубавилось. — Ладно, ладно, ладно, — торопливо сказал он. — Не надо про это, — и еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась — маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная... Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

— Вечером зайду, возьму.

— А куда сам?

— На работу, куда... Это... не болтай про ружье-то.

— Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем...

— Умница. Избили меня какие-то нездешние... На тракте. Я хотел догнать их с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку, впрочем, Спирька и не старался особенно-то казаться правдивым.

— Выпьешь?

— Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам — чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали.

— Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

— Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

— Чего эт?

— Так... Упал, — стыд, позор... От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. — Закурим, что ли?

— Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, наверно. Как же эт ты?

— Ну, Илюха... бывает — падают. Я вот те счас залепеню, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

— Чего ты?

— А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать. Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные...

Ах, учитель, учитель... Вот ведь как научился руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить... Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную... исцеловать, всю, до болячки, чтоб орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет. Это будет потом... спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул... Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит... как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

— Одно предупреждение, — деловито заговорил Спирька. — Что у вас случилось — никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, но, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

— Как это... уработаю? — глупо переспросила Ирина Ивановна.

— Я получил аванец... я его должен отработать, — не знал Спирька, когда это произойдет, но придет он сюда однажды — спокойный, красивый, нарядный — скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за ситуация такая и кто такой будет сам Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения...» — «Ну, ну, — скажет Спирька вежливо, — не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина... жена ваша, она должна уважать вас».

— Какой аванс? — все никак не могла понять Ирина Ивановна. — У кого взяли?

— Он мне будет мстить. Отомстит, — пояснил учитель. — Хорошо, Спиридон, я принял к сведению, — учитель взял себя в руки. — Мы никому ничего не расскажем.

— Вот так... Будьте здоровы пока. — Спирька вышел.

«А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

«А куда, куда?» Но оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полсотне километров отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал. Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем: придет он к нему — вежливый, нарядный... Но желанная картина что-то не возникала. Спирька, в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну — придет... «Здравствуйте!» Нет... Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя. Все эти видения: учитель висит головой вниз, или: учитель, бледный жалкий, ползает у него в ногах, — это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но... Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

«Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя... Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять: «Как теперь?» И не мог.

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе

мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

«Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно. — А то — на кладбище припорол. Здесь хоть красиво».

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее... И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

«Тоже — парой летают» — подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам... Говорят: «Как птаха небесная». Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли... Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся. Пижон Спиря... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие... Вон саранка цветет, вон медуница... А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал...

...Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как

же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Изпод себя как-то изловчился.

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...

ЗАЛЁТНЫЙ

Кузнец Филипп Наседкин — спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик — вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так — стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.

Главное, всех насторожило, что Филя «схлестнулся» с Саней Неверовым. Саня — человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра — это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал.

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-окнами смотрела далеко-далеко — через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли... Там, в той ограде, отдыхала душа.

Саня не то что слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал. Мало рассказывал) — он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть... И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко — в горы. Думалось не думалось — хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг — и в какую-то минуту — стал ты громадный, вольный и коснулся

руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно! — так думалось.

Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили — Залётный. И, разумеется, — Саня, потому что — Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях — трепетный живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди — все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо.

Филя так и сказал на правлении колхоза:

— Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.

— Пьяница, — поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.

Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше.

— Дура, — сказал ей Филя.

— Филипп! — строго прикрикнул председатель колхоза. — Выбирай выражения!

— Ходил к Сане и буду ходить, — упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу.

— Зачем?

— А вам какое дело?

— Ты же свихнешься там! Тому осталось... самое большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!

— Он вас всех переживет, — зачем-то сказал Филя.

— Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?

— Иди спои меня, — усмехнулся Филя. — Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?

— Так это всегда так начинается! — вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель «пополоскать зубки». — Всегда же начинается с малого!

— Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд, — стал развивать мысль председатель, — что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?

— Нет.

— А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барахлишко: часы «Павел Буре», аккордеон... В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу — играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичек, опробуй счастье! А я уже слышал от ребят — обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, опробуй! Э-э, думаю, ну, проиграю тридцатку... — председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. — Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту... Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом — запомнил? Запомнил, говорю. Следи!.. Раз-раз-раз — перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем... Переворачиваем — туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре... Ну, и все: к вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги — как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается — незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся... Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп, — не прогадай.

— Мне не восемнадцать лет.

— А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно... Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополучно... Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется!..

— Дуры, — опять сказал Филя.

— Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра — дура, что ли?

— И моя дура. Чего заполошничать?

— Да то, что ей семью разрушать не хочется!

— Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.

— Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все... Он дождется.

— Не имеете права — больной человек.

— Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.

— Вызывали? — спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза.

— Вызывали, — Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом.

— Не велели ходить? — Та-а... што я, ребенок, што ли!

— Да, да, — согласился Саня. — Конечно, — и веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда — вспять — взойдет солнце. Оно там заходило. — Ночью, часу в двенадцатом, соловьи поют. Ах, дьяволята!.. выкомаривают. Друг перед другом, что ли?

— Самок заманивают, — пояснил Филя.

— Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди — сильные.

«Это ты-то — сильный?» — думал Филя.

— Уважаю сильных людей, — продолжал Саня. — В детстве меня колотил один парнишка — сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое — через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал — надорвался. Пупок развязался.

— А ты бы взял — раз послабей — гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то, ну один извязался тоже, проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил — отстал.

Саня пьянел. Взор его туманился... Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.

— Хорошо, Филипп. Мне — пятьдесят два, двенадцать откинем — несознательные — сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было — торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе... Теперь — стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощущался, наплывал... Это было только слабое гнилостное дыхание, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание.

Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле — хорошо. Вообще жить — хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.

— Ты совсем, што ли, одинокий?

— Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен, — Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался. — И у меня слабость эта появилась — выпить... Я им мешаю. Это естественно...

— Трудно тебе, наверно, жилось...

— По-разному. Иногда я тоже брал гирьку... Иногда мне гирькой. Теперь — конец. Впрочем, нет... вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло — я вдруг сознаю бесконечность.

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть, тот тоже не мог уразуметь.

— В тюрьме небось сидел? — допытывался Егор.

— Бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал... Очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был, — Саня искренне, негромко, весело смеялся. — Вконец запутал вас... Не мучайтесь. Ну мало ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.

Это мужики понимали — жалеет брат.

— Если бы все начать сначала!.. — на худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели. Он волновался. — Я объяснил бы, я теперь знаю: человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет... Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая... мм... — дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам

надоедало напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела.

— Любовь? Да, — бормотал Саня, — но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной — и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь — прекрасна. И это совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно — да. Да, это бессмысленно...

Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь — прекрасна.

Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет себе под нос нечто — так он думает, тот человек, — важное.

Через неделю Саня помер.

Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.

Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда только забывался — точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю...

— Сань! — звал Филя, — Ты не задумывайся. А то так хуже. Может, встанешь походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе... Сань?

— Мм?..

— Поломай себя... Разомнись маленько.

— Сходи, Филипп... дай веточку малины... Под плетнем растет. Только пыль не стряхни... Принеси.

Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел... Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал: «Какая на ней пыль? Не успела еще... пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то?»

Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.

— Не хочу, Филипп! — ясно сказал Саня. — Все знаю... Не хочу! Не хочу!

Филя выронил веточку.

Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:

— Господи, господи... какая вечность! Еще год... полгода! Больше не надо.

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня помрет. Скоро помрет. Он молчал.

— Не боюсь, — тихо, из последних сил торопился Саня. — Не страшно... Но еще год — и я не приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это же не казнь! Зачем же так?..

— Выпей водки, Сань?

— Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помню... Кому же это надо, если я не хочу? — Саня плакал. — Филипп...

— Што, Сань?

— Кому же это надо? Ну ведь глупо же, глупо!.. Она же — дура! Колесо какое-то.

Филя тоже плакал — чувствовал, как по щекам текут слезы. Сердито вытирался рукавом.

— Сань... ты не обзывай ее, может, она... это... отступит. Не ругай ее.

— Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо... и ничем не помочь! Дура.

Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже — все.

— Поверни меня... — попросил Саня. — Отверни. — Филя повернул друга лицом к стене.

— Дура, — еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять замолчал.

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил. Он помер.

Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули.

Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ладоней — точно силилась что-то сказать. И не могла.

ПРИЕЗЖИЙ

Против председателя сельсовета, боком к столу, утонув в новеньком, необъятном кресле (председатель сам очень удивился, когда к нему завезли эти мягкие, пахучие громадины — три штуки! «Прям как бабы хорошие!» — сказал он тогда), сидел не старый еще, седой мужчина в прекрасном светлом костюме, худощавый, чуть хмельной, весело отвечал на вопросы.

— Как это? — не мог понять председатель. — Просто — куда глаза глядят?

— Да. Взял подробную карту области, ткнул пальцем. Мякишево. Мгм, Мякишево... Попробовал на вкус — ладно. Приезжаю, узнаю: речка — Мятла. О господи!.. — еще вкуснее. Спрашивается, где же мне отдыхать, как не в Мякишево, что на речке Мятле?

— Ну, а на юг, например? В санаторий...

— В санаториях — нездорово.

— Вот те раз!..

— Вы бывали?

— Бывал, мне нравится.

— А мне не нравится. Мне нравится, где не подстрижено, не заплевано... Словом, у вас возражений нет, если я отдохну в вашем селе? Паспорт у меня в порядке...

— Не нужен мне ваш паспорт. Отдыхайте на здоровье. Вы что, художник? — председатель кивнул на этюдник.

— Так, для себя.

— Я понимаю, что не на базар. Для выставки?

Приезжий улыбнулся, и улыбка его вспыхнула ясным золотом вставных зубов.

— Для выставки — это уже не для себя, — ему нравилось отвечать на вопросы. Наверно, он с удовольствием отвечал бы даже на самые глупые.

— Для чего же тогда рисовать?

— Для души. Вот я стою перед деревом, положим, рисую — и понимаю: это глупо. Меня это успокаивает, я отдыхаю. То есть я с удовольствием убеждаюсь, что дерево, которое я возымел желание перенести на картон, никогда не будет деревом...

— Но есть же — умеют.

— Никто не умеет.

«Здорово поддавши, но держится хорошо», — отметил председатель.

— М-да...

— Вы не подскажете, у кого бы я мог пока пожить? Пару недель, не больше.

Председатель подумал... Пока соображал, успел отметить прекрасный костюм художника, золотые зубы, седину его, умение держаться.

— Пожить-то? Если, допустим, у Синкиных? Дом большой, люди приветливые... Он у нас главным инженером работает в эртээсе... Дом-то как раз над рекой, там прямо с крыльца рисовать можно.

— Прекрасно!

— Только, знаете, он насчет этого — не любитель. Выпивает, конечно, но праздникам, а так... это... не любитель.

— Да что вы, бог с вами! — воскликнул приезжий. — Это я ведь так — с дороги... Не побрит вот еще... — он потрогал щетину на подбородке. — А так я — ни-ни! Тоже по праздникам: Первое января, Первое мая, Седьмое ноября, День шахтера, День железнодорожника...

— Ну, это само собой.

— Вы тоже в День железнодорожника?

Председатель засмеялся: ему нравился этот странный человек — наивный, простодушный и очень неглупый.

— У нас свой есть — День борозды. А вы что, железнодорожник?

— Да. Знаете, проектирую безмостовую систему железнодорожного сообщения.

— Как это — безмостовую?

— А так. Вот идет поезд — нормально, по рельсам. Впереди — река. А моста нет. Поезд идет полным ходом...

Председатель пошевелился в кресле.

— Ну?

— Что делает поезд? Он пла-авненько поднимается в воздух, перелетает, — приезжий показал рукой, — через реку снова становится на рельсы и продолжает путь.

Председатель готов посмеяться вместе с приезжим, только ждет, чтоб тот пригласил.

— Представляете, какая экономия? — серьезно спрашивает приезжий.

— Это как же он, простите, перелетает? — председатель все готов посмеяться и знает, что сейчас они посмеются.

— Воздушная подушка! Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара, вагоны делают то же самое — каждый под себя, — паровоз подает им пар по тормозным шлангам... Весь состав пла-авненько перелетает реченьку...

Председатель засмеялся; приезжий тоже озарил свое продолговатое лицо ясной золотой улыбкой.

— Представляете?

— Представляю. Этак мы через месяц-другой плавненько будем в коммунизме.

— Давно бы уж там были! — смеется приезжий. — Но наши бюрократы не утверждают проект.

— Действительно, бюрократы. Проект-то простой. Вы как насчет рыбалки? Не любитель?

— При случае могу посидеть...

— Ну вот, с Синкиным сразу общий язык найдете. Того медом не корми — дай посидеть с удочкой.

Приезжий скоро нашел большой дом Синкина, постучал в ворота.

— Да! — откликнулись со двора. — Входите!.. — в голосе женщины (откликнулась женщина) чувствовалось удивление — видно, здесь не принято было стучать.

Приезжий оторопел... Голос показался ему знакомым. Он вошел... Прямо перед ним на крыльце с тазом в руках стояла женщина... Лет, наверно, пятидесяти, красивая в прошлом, ныне полная — очень. Она тоже оторопела.

— Игорь... — сказала она тихо, с ужасом.

— Вот это да, — тоже тихо сказал приезжий. — Как в кино... — он пытался улыбаться.

— Ты что?.. Как ты нашел?

— Я не искал.

— Но как же ты нашел? Как ты попал сюда?

— Случайность...

— Игорь, господи!..

Женщина говорила негромко. И смотрела, смотрела, не отрываясь, смотрела на мужчину. Тот тоже смотрел на нее, но на лице у него не было и следа насмешливого, иронического выражения.

— Я знала, что ты вернулся... Инга писала...

— Ольга жива? — чувствовалось, что этот вопрос дался мужчине нелегко. Он — или боялся худого ответа, или так изождался этого момента и так хотел знать хоть что-нибудь — он побледнел. И женщина, заметив это, поспешила:

— Ольга — хорошо, хорошо!.. Она в аспирантуре. Но, Игорь, она ничего не знает, для нее отец — Синкин... Я ей ничего...

— Понимаю. Синкин дома?

— Нет, но с минуты на минуту может прийти на обед... Игорь!..

— Я уйду, уйду. Ольга красивая?

— Ольга?.. Да. У меня еще двое детей. Ольга здесь... на каникулах. Но, Игорь... нужно ли встречаться?

Мужчина прислонился к воротному столбу. Молчал. Женщина ждала. Долго молчали.

— Валя... — голос мужчины дрогнул. — Я только посмотрю. Я ничем себя не выдам. Клянусь тебе, клянусь чем хочешь...

— Не в этом дело, Игорь...

— Я был у вашего председателя, он меня направил сюда... к Синкину. Я так и скажу. Потом скажу, что мне не понравилось здесь. Умоляю... Я только посмотрю!

— Не знаю, Игорь... Она скоро придет. Она на реке. Но, Игорь...

— Клянусь тебе!

— Поздно все возвращать.

— Я не собираюсь возвращать. У меня тоже семья...

— Инга писала, что нету.

— Господи, прошло столько!.. У меня теперь все есть.

— Есть дети?

— Нет, детей нету. Валя, ты же знаешь, я смогу выдержать — я ничего не скажу ей. Я ничего не испорчу. Но ты же должна понять, я не могу... не посмотреть хотя бы. Иначе я просто объявлюсь — скажу ей, — голос мужчины окреп, он — из беспомощной позы своей (прислоненный к столбу) — вдруг посмотрел зло и решительно. — Неужели ты этого хочешь?

— Хорошо, — сказала женщина. — Хорошо. Я тебе верю. Я тебе всегда верила. Когда ты вернулся?

— В пятьдесят четвертом. Валя, я выдержу эту комедию. Дай, если есть в доме, стакан водки.

— Ты пьешь?

— Нет... Но сил может не хватить. Нет, ты не бойся! — испугался он сам. — Просто — так легче. Сил хватит, надо только поддержать. Господи, я счастлив!

— Заходи в дом.

Вошли в дом.

— А где же дети?

— В пионерлагере. Они уже в шестом классе. Близнецы, мальчик и девочка.

— Близнецы? Славно.

— У тебя действительно есть семья?

— Нет. То есть была... — не получилось.

— Ты работаешь на старом месте?

— Нет, я теперь фотограф.

— Фотограф?!

— Художник-фотограф. Не так плохо, как может показаться. Впрочем, не знаю. Не надо об этом. Ты хорошо живешь?

Женщина так посмотрела на мужчину... словно ей неловко было сказать, что она живет хорошо, словно ей надо извиняться за это.

— Хорошо, Игорь. Он очень хороший...

— Ну, и слава богу! Я рад.

— Мне сказали тогда...

— Не надо!.. — велел мужчина. — Неужели ты можешь подумать, что я стану тебя упрекать или обвинять? Не надо об этом. Я рад за тебя, правду говорю.

— Он очень хороший, увидишь. Он к Ольге...

— Я рад за тебя!!

— Ты пьешь, Игорь, — утвердительно, с сожалением сказала женщина.

— Иногда. Ольга по какой специальности?

— Филолог. Она, по-моему... не знаю, конечно, но, по-моему, она очень талантлива. Очень!

— Я рад, — еще сказал мужчина. Но вяло как-то сказал. Он как-то устал вдруг.

— Соберись, Игорь.

— Все будет в порядке. Не бойся.

— Может быть, ты пока побреешься? У тебя есть чем?

— Есть, конечно! — мужчина вроде опять повеселел. — Это ты верно. Розетка есть?

— Вот.

Мужчина раскрыл чемодан, наладил электробритву и только сел бриться...

Пришел Синкин. Упитанный, радушный, очень подвижный, несколько шумный.

Представились друг другу. Приезжий объяснил, что он зашел к председателю сельсовета, и тот...

— И правильно сделал, что послал ко мне! — громко похвалил Синкин. — Вы не рыбак?

— При случае и при хорошем клеве.

— Случай я вам обеспечу. Хороший клев — не знаю. Мало рыбешки стало, мало. На больших реках — там на загрязнения жалуются, у нас плотины все перепутали...

— У вас — плотины? Откуда?

— Да не у нас — внизу. Но образовались же целые моря!.. И она, милая, подалась от нас на новые, так сказать, земли. Залиты же тысячи гектаров, там ей корма на десять лет невпроворот.

— Тоже проблема: почему рыба из малых рек уходит в новые большие водоемы?

— Проблема! А как вы думаете?.. Еще какая! У нас тут были целые рыболовецкие артели — крышка. Распускать! А у людей — образ жизни сложился, профессия...

— Назовите это: рыба уходит на новостройки — и дело с концом.

Мужчины, посмеялись.

— Мама, что-нибудь насчет обеда слышно?

— Обед готов. Садитесь.

— Вы здесь хорошо отдохнете, не пожалеете, — говорил Синкин, усаживаясь за стол и приветливо глядя на гостя. — Я сам не очень уважаю всякие курорты, приходится — из-за супруги вон.

— Из-за детей, — уточнила супруга.

— Из-за детей, да. Мама, у нас есть чего-нибудь выпить?

— Тебе не нужно больше идти?

— Нужно, но — ехать. И далеко. Пока доеду, из меня вся эта, так сказать, дурь и выйдет. Давай! Не возражаете?

— Нет.

— Давай, мать! Нет, отдохнете здесь славно, ручаюсь. У нас хорошо.

— Не ручайся, Коля, человеку может не понравиться.

— Понравится!

— Вы здешний? — спросил приезжий хозяина.

— Здешний. Не из этого села, правда, но здесь — из этих краев. А где Ольга?

— На реке.

— Что же она — к обеду-то?

— А то ты не знаешь Ольгу! Набрала с собой кучу книг... Да придет, куда она денется.

— Старшая, — пояснил хозяин. — Грызет гранит наук. Уважаю теперешнюю молодежь, честное слово. Ваше здоровье!

— Спасибо.

— Мы ведь как учились?.. Кхах! Мамочка, у тебя где-то груздочки были...

— Ты же не любишь в маринаде.

— Я — нет, а вот Игорь Александрович попробует. Местного, так сказать, производства. Попробуйте. Головой понимаю, что это, должно быть, вкусно, а — что сделаешь? — не принимает душа маринад. В деревне вырос — давай все соленое. Подай, мама.

— Так что там — про молодежь?

— Молодежь? Да вот — ругают их: такие-сякие, нехорошие, а мне они нравятся, честное слово. Знают много. Ведь мы как учились?.. У вас высшее?

— Высшее.

— Ну, примерно в те же годы учились, знаете, как это было: тоже — давай! давай! Двигатель внутреннего сгорания? — изучай быстрей и не прыгай больше. Пока хватит — некогда. Теперешние — это совсем другое. Я чувствую: старшей со мной уже скучно. Я, например, не знаю, что такое импрессионизм, и она, чувствую, смотрит сквозь меня...

— Выдумываешь, Николай, — встряла женщина. — У тебя — одно, у ней — другое. Заговори с ней о своих комбайнах, ей тоже скучно станет.

— Да нет, она-то как раз... Она вот тут на днях мне хорошую лекцию закатила. Просто хоро-ошую! Про нашего брата, иженерию... Вы знаете такого — Гарина-Михайловского? Слышали?

— Слышал.

— Вот, а я, на беду свою, не слышал. Ну и влетело. Он что, действительно, и мосты строил, и книги писал?

— Да вы, небось, читали, забыли только...

— Нет, она называла его книги — не читал. Вы художник?

— Что-то вроде этого. Сюда, правда, приехал пописать. Тире — отдохнуть. Мне у вас очень понравилось.

— У нас хорошо!

— У нас тоже хорошо, но у вас еще лучше.

— Вы откуда?

— Из... — гость назвал соседний городок.

— Я там, кстати, учился.

— Нет, у вас просто хорошо! У нас тоже ничего, но у вас просто здорово!

Женщина с тревогой посмотрела на гостя. Но тот как будто даже протрезвел. И на лице у него опять появилось ироническое выражение, и улыбка все чаще вспыхивала на лице — добрая, ясная.

— У нас, главное, — воздух. Мы же — пятьсот двадцать над уровнем моря, — рассказывал хозяин.

— Нет, мы значительно ниже. Хотя у нас тоже неплохо. Но у вас!.. У вас очень хорошо!

— Причем учтите: здесь преобладают юго-восточные ветры, а там — никаких промышленных предприятий.

— Да нет, что там говорить! Я, правда, предпочитаю северо-восточные ветры, но юго-восточные — это великолепно. И там никаких промышленных предприятий?

— А откуда? Там же... эти...

— Нет, это великолепно! А как у вас с текущим ремонтом?

Хозяин засмеялся.

— Во-он вы куда!.. Нет, тут сложней. Могу только сказать: юго-восточные ветры на текущий ремонт влияния не оказывают. К сожалению.

— А вал? Собственно говоря, как с валом?

— Вал помаленьку проворачиваем... Скрипим тоже.

— Вот это плохо.

— Я вам так скажу, дорогой товарищ, если вы этим интересуетесь...

— Коля, за тобой заедут? А то будут ждать...

— Козлов заедет. Если уж вы этим заинтересовались...

— Коля, ну кому это интересно — текущий ремонт, вал?

— Но товарищ же спрашивает.

— Товарищ... просто поддерживает беседу, а ты на полном серьезе взялся... Не будет же он с тобой об импрессионистах говорить, раз ты ничего в этом не понимаешь.

— Не на одних импрессионистах мир держится.

— Не перевариваю импрессионистов, — заметил гость. — Крикливый народ. Нет, вал меня действительно очень интересует.

— Так вот, если вам это...

— Ольга идет.

Гость, если бы за ним в это время наблюдать, заволновался. Привстал было, чтобы посмотреть в окно, сел, взял вилку, повертел в руках... положил. Закурил. Взял было рюмку, посмотрел на нее, поставил на место. Уставился на дверь.

Вошла рослая, крепкая юная женщина. Она, как видно, искупалась, и к се влажному еще телу местами прилипло легкое ситцевое платье — и это подчеркивало, сколь сильно, крепко, здорово это тело.

— Здравствуйте! — громко сказала женщина.

— Оля, у нас гость — художник, — поспешила представить мать. — Приехал поработать, отдохнуть... Игорь Александрович...

Игорь Александрович поднялся, серьезно, пристально глядя на молодую женщину, пошел знакомиться.

— Игорь Александрович.

— Ольга Николаевна.

— Игоревна, — поправил гость.

— Игорь!.. Игорь Александрович! — воскликнула хозяйка.

— Я не поняла, — сказала Ольга.

— Твое отчество — Игоревна. Я твой отец. В сорок третьем году я был репрессирован. Тебе было... полтора года.

Ольга широко открытыми глазами смотрела на гостя... отца?

С этой минуты в большом, уютном доме Синкиных на какое-то время хозяином сделался гость. У него явилась откуда-то твердость, трезвость. И он совсем не походил на того беспечного, ироничного, веселого, каким только что был.

Долго все молчали.

— Игорь... — прерывающимся голосом, отчаянно заговорила хозяйка, — ты нашел! Ты сказал — это случайность... Нет, ты нашел! Это жестоко.

— Нашел, да. Я искал много лет. Случайность с домом... Синкина.

— Но это жестоко, Игорь, жестоко!..

— Неужели не жестоко — при живом отце... даже не позволить знать о нем. Вы считаете, это было правильно? — повернулся Игорь Александрович к Синкину

Тот почему-то почувствовал себя оскорбленным.

— Сорок третий год — это не тридцать седьмой! — резко сказал он. — Еще неизвестно...

— Нет, в плену я не был. При мне — все мои документы, партийный билет и все ордена. Предателям этого не возвращают. Но речь о другом... Ольга, прав я или не прав, что нашел тебя?

Ольга все еще не пришла в себя... Она села на стул. И во все глаза смотрела на родного отца.

— Я ничего не понимаю...

— Ты клялся, Игорь!.. — стонала хозяйка. — Как это жестоко!

— Ольга... — Игорь Александрович смотрел на дочь — требовательно. И вместе — умоляюще. — Я ничего не прошу, не требую... Я хочу знать: прав я или нет? Я не мог жить иначе. Я помню тебя маленькой, и этот образ преследовал меня... Мучил. Я слаб здоровьем. Я не мог умереть, не увидев тебя... такой.

— Ольга, он пьет! — воскликнула вдруг хозяйка. — Он — пьющий! Он опустившийся...

— Прекрати! — Синкин с силой ударил кулаком в стол. — Прекрати так говорить!

Хозяйка заплакала.

— Вы хотите, чтоб я сказала свое слово? — поднялась Ольга.

Все повернулись к ней.

— Уходите отсюда. Совсем, — она смотрела на отца.

Судя по тому, как удивлены были мать и отчим, они ее такой еще не видели. Не знали.

Игорь Александрович сник, плечи опустились... Он вдруг постарел на глазах.

— Оля...

— Немедленно.

— Боже мой! — только и сказал гость. И еще раз, тихо: — Боже мой! — подошел к столу, дрожащей рукой взял рюмку водки, выпил. Взял свой чемодан, этюдник... Все это он проделал в полной тишине. Слышно было, как ветка березы чуть касалась верхнего стекла окна — трогала.

Гость остановился на пороге.

— Почему же так, Оля?

— Тебе все объяснили, Игорь! — жестко сказала хозяйка. Она перестала плакать.

— Почему так, Оля?

— Так надо. Уезжайте из села. Совсем.

— Подождите, нельзя же так... — начал было Синкин, но Ольга оборвала и его:

— Папа, помолчи.

— Но зачем же гнать человека?!

— Помолчи! Я прошу.

Игорь Александрович вышел... Вслепую толкнул ворота... Оказалось — надо на себя. Он взял в одну руку чемодан и этюдник, открыл ворота. Этюдник выпал из-под руки, посыпались кисти, тюбики с краской. Игорь Александрович подобрал, что не откатилось далеко, кое-как затолкал в ящичек, закрыл его. И пошел по улице — в сторону автобусной остановки.

Погода стояла редкостная — ясно, тепло, тихо. Из-за плетней смотрели круглолицые подсолнухи, в горячей пыли дороги купались воробьи — никого вокруг, ни одного человека.

— Как тихо! — сказал сам себе Игорь Александрович. — Поразительно тихо, — он где-то научился говорить сам с собой. — Если бы однажды так вот — в такой тишине — перешагнуть незаметно эту проклятую черту... И оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, и шагать по горячей дороге, шагать и шагать — бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту — не заметил — и теперь вовсе не я, а моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит? Пожалуйся, пожалуйся... Старый осел! Я шагаю, я — собственной персоной. Несу чемодан и этюдник. Глупо! Господи, как глупо и больно!

Он не замечал, что торопится. Как будто и в самом деле скорей хотел где-то на дороге, за невидимой чертой, оста-

вить едкую боль, которая железными коготками рвала сердце. Он торопился в чайную, что на краю села, у автобусной остановки. Он знал, что донесет туда свою боль и там слегка оглушит ее стаканом водки. Он старался ни о чем не думать — о дочери. Красивая, да. С характером. Замечательно. Замечательно... Он в такт своим шагам стал приговаривать:

— За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тельно!

Мысли, мысли — вот что мучает человека. Если бы — получил боль — и в лес: травку искать, травку, травку — от боли.

На автобусной станции, возле чайной, его ждала дочь, Ольга. Она знала путь короче — опередила. Она взяла его за руку, отвела в сторону — от людей.

— Хотел выпить?

— Да, — сердце у Игоря Александровича сдавливало.

— Не надо, папа. Я всегда знала, что ты есть — живой. Никто мне об этом не говорил... я сама знала. Давно знала. Не знаю, почему я так знала...

— Почему ты меня прогнала?

— Ты мне показался жалким. Стал говорить, что у тебя документы, ордена...

— Но они могут подумать...

— Я, я не могла подумать! — с силой сказала Ольга. — Я всю жизнь знала тебя, видела тебя во сне — ты был сильный, красивый...

— Нет, Оля, я не сильный. А вот ты красива — я рад. Я буду тобой гордиться.

— Где ты живешь?

— Там же, где жила... твоя мать. И ты. Я рад, Ольга! — Игорь Александрович закусил нижнюю губу и сильно потер пальцем переносицу — чтоб не заплакать. И заплакал.

— Я пришла сказать тебе, что теперь я буду с тобой, папа. Не надо плакать, перестань. Я не хотела, чтоб ты там унижался... Ты пойми меня.

— Я понимаю, понимаю, — кивал головой Игорь Александрович. — Понимаю, дочь...

— Ты одинок, папа. Теперь ты не будешь одиноким.

— Ты сильная, Ольга. Вот ты — сильная. И красивая... Как хорошо, что так случилось... что ты пришла. Спасибо.

— Потом, когда ты уедешь, я, наверно, пойму, что я — рада. Сейчас я только понимаю, что я тебе нужна. Но в груди — пусто. Ты хочешь выпить?

— Если тебе это неприятно, я не стану,

— Выпей. Выпей — и уезжай. Я приеду к тебе. Пойдем, выпей...

Через десять минут синий автобус, подсадив у остановки «Мякишево» пассажиров, катил по хорошему проселку в сторону райцентра, где железнодорожная станция.

У открытого окна, пристроив у ног чемодан и этюдник, сидел седой человек в светлом костюме. Он плакал. А чтобы этого никто не видел, он высунул голову в окно и незаметно — краем рукава — вытирал слезы.

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед вами.

Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас... Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься, — стращали его. — Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну, так, ладно, — рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые...

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказал, какую они избу уделали в современном городском доме — шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь — внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжелой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь?

Ну, — хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни — прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху

купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — поп сам тоже заволновался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...

— А я дам. Ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как «от себя»? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню, — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!

— Мастер большой, потом выясним, кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!.. — и Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно, с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше...

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку... И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу XVI века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома, — догадался Семка. — И по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка. — Идут.

— Идут, — секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы се до холодов сделал, — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талица церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся, — он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте, — предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы, из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. «Талицкая церковь Н-ской области, Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга...», — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... «погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году».

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да, — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже...

— Это Владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я что-то не верю... — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке, повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам... Надо же! Ну, допустим — копия. Ну, и что? Красоты-то от этого не убавилось.

— Ну, это уже не то... А главное, денег никто не даст на ремонт.

— Не дадут?

— Нет.

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней пять уже. Пошел к ларьку... Обидно было и досадно. Как если бы случилось так: по деревне вели невиданной красоты девку... Все на нее показывали пальцем и кричали несуразное. А он, Семка, вступился за нее, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что

девка та — такая-то растакая, что жалеть ее нельзя, что... И Семка сник головой. Все вроде понял, а в глаза поруганной красавице взглянуть нет сил — совестно. И Семка, все эти последние дни сильно загребавший против течения, махнул рукой... И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги «полкилограмма» водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит — зачем спрашивать?

ЧЕРЕДНИЧЕНКО И ЦИРК

В южный курортный городок приехал цирк.

Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел — делал выговор продавщицам за теплое пиво.

В субботу вечером Чередниченко был в цирке.

На следующий день, в воскресенье, в цирке давали три представления, и Чередниченко ходил на все три.

Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренек в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом... Но не ради клоуна и не ради львов ухлопал Чередниченко шесть рублей, нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая от-

крывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась... Никогда еще в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой. Он полюбил ее. Чередниченко был холост, хоть разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое не получилось у них с женой — разошлись. Давно это было, но с тех пор Чередниченко стал не то что презирать женщин — стал спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к пятидесяти годам станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком. Или, на худой конец, директором совхоза. Он заканчивал сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация... Время работало на него. «Буду замдиректора, будет все — и жена в том числе».

В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть, курил, ворочался... Забывался в полусне, и мерещилось черт знает что — маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы... Чередниченко просыпался, вспоминал циркачку, и сердце болело, ныло, точно циркачка была уже его женой и изменяла ему с вертлявым клоуном.

В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторонних к артистам и львам, что та циркачка — из Молдавии, зовут Ева, получает сто десять рублей, двадцать шесть лет, не замужем.

С последнего представления Чередниченко ушел, взял в ларьке два стакана красного вина и пошел к Еве. Дал служителю два рубля, тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах... Остановил какую-то женщину, та сказала, что Ева ушла домой, а где живет, она не знала. Знала только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю еще рубль, попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес. Чередниченко выпил еще стакан вина и пошел к Еве на квартиру.

— Адам пошёл к Еве, — пошутил с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный, знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору, в гору, на улицу Жданова — так, ему сказали, надо идти.

Ева устала в тот день, готовилась ко сну.

— Здравствуйте! — приветствовал ее Чередниченко, ставя на стол бутылку «Кокура». Он за дорогу накрутил себе хвоста — заявился смелый и решительный. — Чередниченко Николай Петрович. Плановик. А вас зовут Ева. Правильно?

Ева была немало удивлена. Обычно поклонники ее не баловали. Из всей их труппы поклонники осаждали троих-четверых: смуглого клоуна, наездницу и — реже — сестер Геликановых, силовых акробаток.

— Я не помешал?

— Вообще-то я спать готовлюсь... Устала сегодня.

— Да, сегодня у вас денек... Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам?

— Нет.

— Я бы все-таки несколько поубавил его: на нервы действует. Очень громко.

— Нам ничего... Привыкли.

Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьезно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться... Что она была циркачкой, они скроют, никто знать не будет.

— Вы не позволите предложить вам?.. — Чередниченко взялся за бутылку.

— Нет, нет, — твердо сказала Ева. — Не пью.

— Совсем?

— Совсем.

— Нисколько-нисколько?

— Нисколько.

Чередниченко оставил бутылку в покое.

— Проба пера, — к чему-то сказал он. — Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор... Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдельный дом из четырех комнат, ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. «Николай Петрович, дай рубль» — «Василий, говорю, Мартыныч, дорогой, не рубля жалко — тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело — с высшим образованием человек, талантливый инженер, говорят... До чего ты себя доведешь!»

— Но рубль-то даете?

— А куда денешься? Он, вообще-то, всегда отдает. Но действительно, не денег этих жалко, я достаточно зараба-

тываю, у меня оклад сто шестьдесят рублей да премиальные... вообще, находим способы. Не в рубле дело, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в магазин идет... люди смотрят... У меня у самого скоро высшее образование будет — это же должно как-то обязывать, так я понимаю. У вас высшее?

— Училище.

— Мгм, — Чередниченко не понял — высшее это или не высшее. Впрочем, ему было все равно. По мере того, как он излагал сведения о себе, он все больше убеждался, что тут не надо долго трясти кудрями — надо переходить к делу. — А родители у вас есть?

— Есть. Зачем вам все это?

— Может быть, все-таки пригубите? С наперсток?.. Мм? А то мне неловко одному.

— Наливайте — с наперсток.

Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика. «Не перебрать бы», — подумал.

— Видите ли в чем дело, Ева... Ева?..

— Игнатьевна.

— Ева Игнатьевна, — Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнатке — шаг к окну, два шага к двери и обратно. — Сколько вы получаете?

— Мне хватает.

— Допустим. Но в один прекрасный... простите, как раз наоборот, — в один какой-нибудь трагичный день вы упадете оттуда и разобьетесь...

— Слушайте, вы...

— Нет, послушайте вы, голубушка, я все это прекрасно видел и знаю, чем все это кончится — эти аплодисменты, цветы... — ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать: нет, голубушка, ты еще не знаешь жизни. А мы ее, матушку, как-нибудь изучили — со всех сторон. Вот кого ему не хватало в жизни — такой вот Евы! — Кому вы потом будете нужна? Ни-ко-му.

— Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес?

— Ева Игнатьевна, я буду с вами напрямик — такой характер. Я человек одинокий, положение в обществе занимаю хорошее, оклад, я вам уже сказал, до двухсот в целом. Вы тоже одиноки... Я второй день наблюдаю за вами — вам

надо уходить из цирка. Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности? Могу прикинуть...

— Вы что? — спросила Ева Игнатьевна.

— У меня большой дом из лиственницы... Но я в нем один. Нужна хозяйка... То есть нужен друг, нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня четыре с половиной тыщи на книжке, сад, огород... Правда, небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. Я сам из деревни, люблю в земле копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева Игнатьевна... поверьте мне: это же не жизнь, как вы живете. Сегодня здесь, завтра там... ютитесь вот в таких комнатушках, питаетесь тоже... где всухомятку, где на ходу. А годы идут...

— Вы что, сватаете меня, что ли? — никак не могла понять циркачка.

— Да, я предлагаю вам поехать со мной.

Ева Игнатьевна засмеялась.

— Хорошо! — воскликнул Чередниченко. — Не надо мне верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой счет, поедемте со мной — посмотрите. Посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу... Если я хоть в чем-нибудь обманул вас, я беру свои слова назад. Расходы — туда и обратно — беру на себя. Согласны?

Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд... Ему нравилось, как он действует: деловито, обстоятельно и честно.

— Мне — сорок второй год, забыл вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно. Родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, Ева. Я не с бухты-барахты явился к вам... Не умею я говорить красивые слова, но жить будем душа в душу Я уже не мальчишка, мне теперь — спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта багема...

— Богема.

— А?

— Бо-ге-ма. Через «о».

— Ну, какая разница? Суть-то одна. Разная, так сказать, по форме, но одинаковая по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни, хочется помочь... начать жизнь

морально и физически здоровую, — Чередниченко сам проникался к себе уважением — за высокое, хоть негромкое благородство, за честность, за трезвый, умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он почувствовал себя свободно. — Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна — помоложе, возможно, поинтересней... Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город? О детях уже говорить не приходится! Им что!.. — Чередниченко имел в виду зрителей. — Посмеялись и разошлись по домам — к своим очагам. Они все кому-то нужны, вы — снова в такую вот, извините, дыру — никому вы больше не нужны. Устали вы греться у чужого огня (эту фразу он заготовил заранее)! Я цитирую. И если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, — вот оно, — Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от «Кокура». Долго было бы рассказывать, какие это были чувства... Было умиление, было чувство превосходства и озабоченности сильного, герой и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном Чередниченко. Каким-то особым высшим чутьем угадал он, что больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое... Надо уходить. — Не буду больше утомлять вас — ухожу. Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку вашему служителю... такой, с бородавкой, в шляпе...

— Знаю.

— Вот, оставьте ему записку — где мы встретимся.

— Хорошо, оставлю.

Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо.

— Спокойной... простите, наоборот, — неспокойной ночушки.

Циркачка тоже улыбалась.

— До свиданья.

«Не красавица, но очень, очень миловидная, — подумал Чередниченко. — Эти усики на губе, черт их возьми!.. пушочек такой... — в этом чт то есть. Говорят — «темпераментные».

Чередниченко вышел на улицу, долго шел какими-то полутемными переулками — наугад. Усмехался, довольный.

«Лихо работаешь, мужик, — думал о себе. — Раз-два, и в дамки».

Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда вдосталь налюбовался собой, своей решительностью (она просто изумила его сегодня, эта решительность), он вдруг ни с того ни с сего подумал: «Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень... Черт ее знает, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету, может, ее... это... того... Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва!» С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал, с другой... очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умеет действовать, если потребуется, навело его на мысль: а не лучше ли с такой-то напористостью — развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины... не циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не прийти к ней вечерком и не выложить все напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице, думал, но страшился. А чего страшился? Чего страшился-то?

«Так-так-так... — Чередниченко прошел вдоль приморской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение! Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди: они не знают сомнений. Чередниченко грызло сомнение. — Скрыть, что она циркачка, конечно, можно, только... А характер-то куда деваешь? Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся. Ведь он у нее уже сложился, характер, — совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей, скажу, что она была, допустим, администраторша в гостинице... Но себя-то я не обману! На кой черт себя-то обманывать?! Ведь она, эта преподобная Ева, столько, наверно, видела-перевидела этих Адамов, сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверно, давала жизни... с этим своим пушком на губе, — уже теперь не сомнение, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака, долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. — Так, так, так... Значит, обрадовался — сразу покорил! А она, наверное счас богу молится: нашелся один дурак, замуж взять хочет. А то — будь она на хорошем-то счету — не нашелся бы никто до двадцати

шести лет! Эка!.. Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые! Все с ней: «поматросил да бросил», а один долдон в жены себе определил. А потом выяснится, что она рожать не может. Или хуже: переспит с кем-нибудь, забеременит, а скажет — от меня. И нечего ее винить, у нее это, как алкоголизм: потребность выработалась — обновлять ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома... Иди доказывай потом судьям, что я ее... с канатов снял. Можно сказать, разгреб кучу малу и извлек из-под самого низа... сильно помятую драгоценность, — опять вспомнилась Чередниченко вдовая учительница в их городке... И он чуть не взялся за голову: каких глупостей мог наворотить! — Ведь вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы мне там устроила парочку концертов, и тогда — завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил! Да приехай ты домой, дурак ты фаршированный, возьми такую же бутылочку винца или лучше коньяку, хороших конфет — и иди к учительнице. Поговори обстоятельно, тем более, она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забулдыга, а на хорошем счету... Поговори с человеком. Ведь умеешь! Ведь скоро диплом в карман положишь — чего же ждать-то? Страдатель, елки зеленые!»

Опять долго не мог заснуть Чередниченко — думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью... Приходил с работы, говорил весело: «Мать — порубать!» Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики, получалось смешно. Ездил на маевку с женой-учительницей, фотографировал ее... Воровато, в кустах, выпивал с сослуживцами «стременную», пели в автобусе «Ревела буря, гром гремел...» Думал о детях — как они там с бабкой? Но он-то еще ничего, базланил с мужиками про Ермака, а вот жена-учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома — с детьми, ей уже не до веселья — скорей домой! Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь! Славнецкую жизнь можно устроить.

Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на маевке вместо жены-учительницы жену-циркачку... Нет, циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет глазами стрелять туда-сюда... Нет!

«Как же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неудобно. Явился, наговорил сорок бочек и — нету. Нет, схожу, увижусь... Скажу, что срочно отзывают на работу, телеграмму получил. Уеду — спишемся, мол. И все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут»

С тем и заснул Чередниченко. И крепко спал до утра. Во сне ничего не видел.

На другой день Чередниченко загорал на пляже... Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку

Служитель встретил Чередниченко, как родного брата.

— Вам письмишко! — воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы. И погрозил пальцем. — Только наших не обижа-ать.

Наверно, еще хотел получить трешку.

«Фигу тебе, — подумал Чередниченко. — Жирный будешь. И так харя-то треснет скоро».

Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Чередниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил...

Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка, временами слышался дружный смех: наверно, длинноволосый выкомаривает.

Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел... Конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны, можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты, и они ему даже надоели. Нет, Чередниченко волновался. Немного. Там где-то, внутри, дрожало. Неловко все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову — идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, что должна будет, почти согласившись, остаться с носом?

Чередниченко вскрыл конверт.

На листке бумаги было написано немного... Чередниченко прочитал. Оглянулся на цирк... Еще раз прочитал. И сказал вслух, негромко, с облегчением.

— Ну вот и хорошо.

На листке было написано:

«Николай Петрович, в сорок лет пора быть умнее. Ева».

А ниже другим почерком — помельче, торопливо:

«А орангутанги в Турции есть?»

Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засмеялся.

— Хохмач, — он почему-то решил, что это написал клоун. — Ну хохмач!..

Чередниченко встал и пошел по улице — в сторону моря. Мысленно отвечал Еве:

«Умнее, говоришь? Да как-нибудь постараемся, как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хочем быть умными, только находит порой такая вот... Как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она, проруха, и вышла. Советуешь, значит, быть умнее Николаю Петровичу? Ах, дорогуша ты моя усатая!.. Хотя, конечно, ты же по веревке умеешь лазить, кому же и советовать, как не тебе — «мне сверху видно все»! Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же! Жизнь-то дается один раз, тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть! Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать — «ловите миг удачи»! Ловите, ловите... Черти крашеные».

Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный пароход «Россия». Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой.

— Куда-нибудь бы поплыть... Далеко-далеко! Да?

— На таком, наверно, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море...

«Давайте, давайте — плывите, — машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая спокойно разглядывать пароход. — Плывите!.. Молокососы».

Ему было очень хорошо на скамеечке, удобно. Стаканчик «сухаря» приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько, себе под нос, насвистывать «Амурские волны».

ТАМ, ВДАЛИ...

Петр Ивлев рано узнал, почем фунт лиха. Осиротел в один год сразу, когда не исполнилось и четырех лет. Отец от воспаления легких, мать спустя три месяца — не разродилась девочкой.

Мальчика взяла сперва бабушка, потом, когда бабушка умерла, приютила вдовая тетка.

Петр с грехом пополам дотянул до пяти классов и пошел работать в колхоз.

Шла война. В колхозе работали глубокие старики, бабы и молодняк-подростки. Трудное было время.

Поедет, бывало, Петька на мельницу зимой... А мешки, каждый — пятьдесят-шестьдесят килограммов. Навалят на спину такую матушку и неси. А нести надо вверх по сходне: ноги трясутся, в глазах — оранжевые круги. Сходня — три-четыре сшитых тесины, поперек — рейки набиты. Обледенеет эта сходня, замызгают, загладят ее ногами, поскользнешься — мешок так и припечатает тебя к ней. Лицо — в кровь. И не занюнишь — товарищи рядом и старик-мельник большой насмешник. Петька сплевывал солоновато-вязкую красную слюну и матерился. Материться он был мастер: дружки хохотали, а мельник одобрял:

— Так, Петька, легше будет.

Или за горючим в город ездили. Тулупишко драный, пимы третью зиму одни — подшитые-переподшитые, никакого тепла в них. А мороз — под сорок — сорок пять, дышать больно.

И ехать не двадцать, не тридцать километров, а шестьдесят с гаком. Окоченеет Петька, спрыгнет с саней и бежит

километр-полтора, пока не упреет. Так до самого города: половину едет, половину бежит. И не простывали как-то!

Был он парень не бойкий, но и не робкий. Если дело доходило до драки, — что частенько случалось среди ребят в те годы, — спуску не давал, стоял до конца. И был очень упрямый: что задумает — сделает. Будет ходить, думать... Изведется весь, а своего добьется. Захотел купить черный шерстяной костюм — увидел в городе, в ларьке. Ночами снился проклятый костюм. А денег нет. Думал-думал — надумал: повез зерно молоть и один куль свалил бабке Акулине (бабка самогоном промышляла). Попались. Бабке — год «принудиловки», Петьку простили по молодости и за то, что безотказный работник. Придумал другую штуку: в свободные вечера (а то и ночи прихватит) стал вырубать корытца. Едет с сеном или порожнем откуда, выберет березку поровней, срубит, завезет домой. Обсочит ее, напилит чурбачков и вырубает корытца. Наделает — и на базар. Так раз пять съездил в город, купил костюм. Выпал свободный день, Петька надел костюм, слегка напустил брюки на хромовые сапоги (весна была), сдвинул фуражку на бочок — из-под козырька горсть мягких русых волос — и так прошелся по селу. И все. Больше ничего не требовалось — разок пройтись таким образом.

С девками не хороводился — не знал, о чем с ними говорить. Попробовал проводить одну с вечерки — всю дорогу молчал. Измучился. Проклял себя и зарекся провожать. А девки между тем заглядывались на него: был он не по годам рослый, с крепким, сильным, всегда обветренным лицом; взгляд хоть несколько угрюмый, но прямой и твердый. Внимательный.

С парнями тоже не любил много колготиться. Любил бывать один. А в основном — работал, работал, работал. В страдную пору день-деньской, от зари до зари, на жнейке. Приезжал на стан весь серый от горячей пыли, в голове еще звенит и стрекочет машина... Поужинает со всеми вместе и уйдет спать куда-нибудь к ближайшей скирде. Перед сном сидел иногда, привалившись к теплой соломенной стене, слушал поздних перепелов, шорох мышей в соломе, глуховатый поскок спутанных коней. О чем думалось?.. Неясно как-то. Смутно. Хотелось попасть в какой-то большой светлый город — не в тот, куда он ездил за горючим, а в боль-

шой, красивый, который далеко... И чтоб сам он — нарядный, веселый — шел рядом с городской девушкой и рассказывал ей что-нибудь, а она бы смеялась. И была бы она образованная... Чтоб руки у нее были мягкие, и чтоб не ругала она судьбу. Где он такую видел?..

Кончилась война. Тетка вышла замуж за фронтовика-инвалида, а Петр уехал в тот город, куда ездил за горючим, поступил в «ремеслуху».

Окончив училище, столярничал. Потом — армия. Отслужил и остался работать, где служил, — в большом городе. В деревню не поехал.

Жил на квартире у одной пожилой женщины, вечерами ходил в кино, случалось — на танцы, но не танцевал, а стоял в сторонке или пил с ребятами пиво в буфете. Вот тут-то — на танцах, на улице — встречались такие, какие мерещились давно в деревне: нарядные, нежные, беспечные. Рядом с ними были молодые люди, вежливые и веселые. Петр с удовольствием смотрел на них. Купил шикарный костюм, шляпу, зачастил в театр. Однажды в антракте, в буфете, подошел к одной такой. Она стояла в сторонке, ела мороженое.

— Не простудитесь? — спросил Петр участливо. И через силу улыбнулся.

Девушка удивленно посмотрела на него и отошла. Петр ушел в курилку и одну за другой подряд высадил три «беломорины».

«Как же подходить-то к ним?» — думал. Было стыдно за свою улыбку и за дурацкий вопрос. Девушка не нравилась ему, но захотелось попробовать познакомиться. И вот — не вышло. Не большая беда, что сейчас не вышло, стыдно только. А если бы сильно захотелось? Ведь может так случиться.

Случилось иначе.

Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабочими послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку.

Деревня, куда приехали, большая. Помощников понаехало больше, чем надо, — рабочие, студенты, служащие... Многие откровенно лоботрясничали, жгли на полях костры, дурачились.

Вечерами в деревне стало шумно. Возле клуба выставляли оглушительную радиолу и до глубокой ночи танцевали.

А вечера стояли хорошие — теплые, темные. С неба срывались звезды и, прожив маленькую, яркую жизнь, умирали.

Ивлев сидел на крыльце (он жил возле самого клуба, у колхозного бригадира), курил, слушал радиолу, женский смех... Один раз, в субботу засиделся до утра. Накурился до тошноты, пошел на край деревни, к озеру. Сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается огнем ветхая заброшенная церквушка. Оттого ли, что церковка отражалась в синей воде особенно чисто — как в сказке, оттого ли, что горела она в то утро каким-то особенным — горячим рубиновым светом и было удивительно тихо вокруг, — вдруг защемило сердце. Петр лег на землю, лицом вниз, вцепился пальцами в траву, заскрипел зубами... И — церковь, что ли, навеяла такую мысль — подумалось о боге, но странным образом: что женщина лучше бога. Тот где-то далеко, а эти рядом ходят, и есть ведь среди них такая, с которой легко станет.

На другой день опять пошел к озеру — смотреть, как горит церквушка на закате. И встретил на улице Ольгу Фонякину. И остолбенел: такой женщины ему не доводилось видеть. Пошел за ней... Пошел, ни о чем не думая, не подумал даже, что потом опять будет стыдно. Ольга оглянулась.

— Здравствуйте, — сказал Петр.

— Здравствуйте.

Петр ласково, как мог, улыбнулся — его пугала красота женщины. И удивляла. Он стоял и смотрел на нее. Она тоже посмотрела на него, спокойная, рослая, гладкая.

— Вы что, обознались? — спросила она.

— Нет, — Петр не знал, что говорить.

У Ольги насмешливо дрогнули уголки губ; она повернулась и пошла прочь.

Ивлев все смотрел на нее. Странно: он не запомнил ее лица. Он даже не был сейчас уверен: красива она или нет. Помнил только, как насмешливо дрогнули уголки ее губ.

Ивлев вернулся домой, надел выходной костюм и пошел к клубу.

Ольга стояла в кругу девушек. Рядом толпились парни. Радиола еще не гремела, еще только налаживали ее.

Ивлев подошел к Ольге.

— Отойдемте в сторонку, — вежливо сказал он.

Ольга не удивилась, улыбнулась ему, как знакомому, только улыбка у нее вышла опять насмешливая, как будто хотела сказать: «Знала, что подойдешь, вот и подошел».

— Зачем?

— Мне надо сказать пару слов... — у Петра от волнения перехватило горло. Он замолчал и уставился на Ольгу.

Ольга негромко засмеялась. Засмеялись и те, кто стоял близко. У Ивлева от стыда, от любви и злости свело затылок. Он тоже улыбнулся и, сам не понимая, что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взял женщину за руку и хотел отвести в сторону. Ольга оттолкнула его... И тут — как из-под земли вырос — появился чернявый парень, броско красивый тонкой южной красотой.

— Одну минуту, — сказал он с акцентом. — В чем дело?

Ольга с любопытством смотрела на Ивлева.

Чернявый ловко оттер Петра в сторону, взял за локоть и, немножко рисуясь, проговорил:

— Здесь вам делать нечего, молодой человек.

В глазах Ивлева стояла Ольга — смотрела на него. Теперь он запомнил ее лицо — красивое, сытое, очень спокойное. С каким любопытством она смотрела!.. Впрочем, она показалась усталой.

— Вы меня поняли?

— Нет.

Чернявый смело улыбнулся.

— Объяснить?

— Объясни.

Чернявый оглянулся для пущей важности, взял Ивлева за грудки, встряхнул.

— Я говорю: уйти надо.

Петр хотел оторвать от себя руку чернявого, но она точно приросла — парень был цепкий.

— Отпусти, — сказал Ивлев, — не надо... А то ударю.

— О? — парень сильно рванул его на себя, отпустил и дал пинка под зад. — Чтоб я тебя больше здесь не видел!

Драться не хотелось — злости не было. В глазах стояла насмешливая, умная, красивая Ольга, и было все равно: драться — драться, обнять чернявого — обнял бы... Душа ликовала. Почему-то именно в этот момент, совсем неподходящий, он поверил: пришла любовь.

Он взял чернявого за руку:

— Отойдем подальше, я тебе все объясню.

Отошли.

Чернявый, ни слова не говоря, больно ткнул Петра в грудь. Тот, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта... Чернявый пытался боксировать, но не умел, прыгал, делал обманные движения и схватывал по лбу гораздо чаще. Их разняли. Чернявый успел разорвать Петру новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз.

Ивлев, как только их растащили, ушел домой, умылся, надел другую рубаху... И опять пошел к клубу. Опять подошел к Ольге.

— Меня Петром зовут, — сказал он. — А вас как?

У Ольги азартно заблестели глаза. Ей нравилось безрассудное упрямство парня. Петр сам не ждал от себя такой нахрапистости. Все в нем ликовало; вся нерастраченная горячая сила двадцати четырех прожитых весен выплеснулась из груди, ударила в голову. Он ошалел.

— Отойдемте на минутку...

— Мне здесь хорошо.

— На минуту... Чего вы? — Ивлев улыбнулся разбитыми губами. Он не знал, что он сказал бы, если бы она отошла. Все было не важно. Хотелось смотреть и смотреть на Ольгу. — Боишься, что ли?

— Ты сам-то не боишься?

— Нет.

— А тебе не кажется, что ты нахал?

— Нет, что ты!

— А мне кажется.

— Перестань... Никогда я нахальным не был.

Тут опять подскочил чернявый.

Ольга отошла от них.

— Я провожу ее сегодня домой, — заявил Петр. — Понял? Не смотри на меня так, а то другой глаз закрою.

Чернявый задохнулся от возмущения. Некоторое время молчал.

— Ты что? — спросил он.

— Ничего. Иди за мной, — Ивлев пошел за клуб — от света. Чернявый — за ним.

«Посмотрим», — зло, упорно думал Петр. Его взбесило упрямство Ольги.

Он слышал, что сзади, с чернявым вместе, идут еще двое.

Шли долго — подальше от людей. Петр шагал не разбирая дороги. Он понимал, что трое могут всыпать ему, но остановить его это не могло — Ольга стояла в глазах.

Перелезли через прясло в чей-то огород. Зашуршала под ногами картофельная ботва.

«Хватит», — решил Петр.

— Иди, иди, — с дрожью в голосе сказал чернявый и толкнул его в спину.

— Ударишь сзади — изувечу насмерть, — предупредил Петр. Его слегка начало трясти.

Неожиданно тишину ночи просверлил противный милицейский свисток: их догоняли.

Все четверо остановились.

— Милиция, — сказал один из парней. — Все. Свадьбы не будет, — сказал как будто даже с облегчением — слишком уж нехорошо и решительно был настроен Петр.

Подошел милиционер.

— Ну-ка, кончайте канитель! Давайте, давайте... Давайте разойдемся.

Чернявый и два его товарища ушли.

Петр закурил с милиционером (милиционер был молодой парень).

— Влюбился, что ли? Мне сказали...

— Влюбился, — честно сказал Петр.

— Н-да... Интересно, между прочим: когда влюбляются, малость дураками делаются. Другой бы подумал; куда к черту — одному на троих? А тебя понесло, — вышли из огорода, направились к клубу. — Я по себе погонюсь: я, значит, когда влюбился, — а она за рекой жила, жена-то моя теперь, — дак я ночью к ней через реку плавал. А ночь! Вода холодная — сведет судорога, и все, конец. Нет — плыл, дурачина!

— Она где живет, не знаешь? — спросил Петр.

— Кто?

— Эта... Ну, эта!..

— Она — там, — неопределенно сказал милиционер. Помолчал и добавил: — Мой тебе совет: отстань от нее.

— Почему?

— По-моему... черт ее знает, конечно, но, по-моему, она... это... того. Я уж со вторым ее здесь замечаю. До чер-

нень кого еще один был. Тот уехал чего-то. Красивая, конечно... А они все красивые — балованные. Измучаешься с такой: пойдешь куда-нибудь — вся душа изболит. На ее же оглядываются! Тут нервы да нервы надо. Каждый раз драться не полезешь...

— Она откуда?

— Секретарша, однако... С учреждения какого-то. А откуда — не знаю. У нас тут чуть не со всего света. Понаедут, все молодые, — конечно, порядка не будет.

— А живет где? — снова спросил Петр.

— Там... у одной старухи. Возле сельмага. Ты не затевай ничего, а то мне и так третьего дня выговор сунули: «Следи!..» Уследишь за вами.

— Нет, я просто так спросил.

У клуба уже никого не было. Разошлись.

Петр попрощался с милиционером, пошел домой. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер повернул в темный переулок, и скорым шагом направился к сельмагу. Шел и думал: «Что я делаю?» Хотелось еще раз увидеть Ольгу. Это было выше сил.

И вдруг он их встретил.

Чернявый шел в обнимку с Ольгой, что-то негромко рассказывал. Ольга молчала.

Ивлев первый узнал их — по голосу чернявого. Загородил дорогу. Ольга испуганно вскрикнула, а ее кавалер ошалело уставился на своего недруга.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал Петр, в упор глядя на Ольгу.

Она молча обошла его и стала быстро удаляться. Чернявый не знал, что делать: догонять ее или оставаться с Ивлевым выяснять отношения.

— Как ее зовут, слушай? — спросил Петр.

Тот молчал.

Петр пошел за Ольгой.

Чернявый догнал его, схватил сзади за ворот... Петр обернулся, и чернявый отскочил — уверенность покинула его. Страшное упорство незнакомого парня действительно могло испугать. Наверно, потому же уходила и Ольга — напугалась.

Петр догонял ее.

Чернявый некоторое время шел за ними. Петр на ходу выворнул кол из плетня; чернявый отстал.

Сердце Петра колотилось где-то в горле; впереди, недалеко, белела кофта Ольги.

Петр догнал ее.

— Подожди!.. Не бойся ты меня.

— Что тебе нужно? — Ольга сбавила шаг.

— Слушай... — Ивлев взял ее за руку, остановил. — Почему ты не хочешь даже поговорить со мной? Я же не бандит какой-нибудь... Я сам не знаю, что со мной творится.

Ольга некоторое время молчала. Руки не отняла.

— Тебя ведь изобьют сейчас, — сказала она.

— Пусть. Не изобьют...

— Они придут сейчас...

— Как зовут тебя?

— Странный человек! — опять любопытство появилось в ее глазах, только теперь внимательное, серьезное. — Непонятный.

— Влюбился, — сказал Петр. — Никогда так не было... Ольга засмеялась.

— Кто же так делает, дурной?

— Как?

— Так... Я ведь тоже человек.

— А как надо?

Ольга пожала плечами.

— Ты даже не знаешь, как зовут меня. И уж в любви объясняешься...

В улице раздался топот нескольких пар ног.

— Беги! — негромко сказала Ольга. Вырвала руку и быстро пошла. Обернулась, еще раз сказала: — Уходи!

Первым бежал чернявый...

Сошлись сразу. Молча. С чернявым были те двое. У всех колья. Петр не успел бросить свой — забыл.

...Удары звучали мягко, тупо. Сопели, кхэкали, негромко ругались... Петр крутился меж трех колов. Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще попадало чернявому. Не заметил Петр, кто из троих изловчился и тяпнул его по голове. В глазах лопнул и рассыпался искрами огненный шар. Петр враз оглох, выронил кол и, схватившись за голову, боком стал садиться на дорогу. Его оттащили к плетню и ушли, сморкаясь и отхаркиваясь.

Очнулся Петр глубокой ночью. Долго припоминал, где он и что произошло. Голову раскалывала страшная боль. Даже

тошнило от боли. Он с трудом приподнялся, сел, привалился спиной к плетню. И вдруг все вспомнил... Вспомнил, как держал Ольгу за руку, как она засмеялась и сказала: «Кто же так делает, дурной?» Вспомнил и троих с кольями.

«Крепко угостили».

Вдруг он увидел — невдалеке замаячила знакомая белая кофточка. Ольга осторожно шла вдоль плетня.

Петр притаился зачем-то. И в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он, как в миг гибельной опасности, вспомнил разом всю свою не такую уж долгую жизнь, все мечты свои. И с великим облегчением подумал: «Теперь будет все хорошо».

— Я здесь, — сказал он.

Ольга вздрогнула, схватилась за сердце.

— Ох... ты?

— Иди, сядь со мной.

— Избили, — в голосе Ольги была неподдельная жалость. Она села рядом. На Петра пахнуло странно знакомым и родным теплом — легко сделалось, даже боль в голове унялась. — Говорила ведь — не послушал.

— Завтра мы уедем отсюда.

Ольга всмотрелась в него.

— Что? — спросил он.

— Посмотрим, — она бережно обняла его, погладила ладошкой избитую голову. — Сильно побили-то?

— Ничего, — сказал он. — Пройдет.

...На третий день они уехали из деревни.

И началась эта новая жизнь.

Ивлев переехал в город, где работала Ольга. Он устроился на стройку, в бригаду отделочников.

Сняли на краю города квартиру в частном доме — полдома... И пошли кривляться неопрятные, бессмысленные дни и ночи. Точно злой ветер подхватил Ивлева и поволок по земле.

Кого только не видел он вечерами в своей квартире! Какие-то неприятные молодые люди с обсосанными лицами, с жиденьким нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных юбках. Девицы садились с ногами на диван и мучили Ивлева белыми тупыми коленками. Приходили полуграмотные дяди с красными лицами, беззаботно похоха-

тывали... Эти, кажется, где-то что-то приворовывали, перепродавали с помощью молодых — денег было много. Часто пили дорогой коньяк, шампанское. Молодые были модно одеты, ужасно много болтали: про общих знакомых, про фильмы, про певцов и певиц... Приносили магнитные пленки с записями, и тогда в квартире визжало, мяукало, стонало, выло. Молодые с удовольствием слушали. Ивлев подозревал, что они притворяются. Много острили, смеялись. Чем они занимались, он так и не узнал до конца. Некоторые, кажется, учились, другие, как Ольга, работали. Где? — черт их разберет. О работе не говорили. Дяди налегали на коньячок, заигрывали с девушками.

Сперва Петр удивлялся — не знал он, что так тоже можно жить. Потом душа его глубоко возмутилась.

Между ним и этими людьми завязалась глухая, нешуточная война.

Началось со свадьбы.

Грянула она, крикливая, через неделю после того, как они приехали.

Много пили. Упившись, завыли иностранные песни и, потные, развинченные, взявшись за руки, пели хором:

Лиза-Лиза-Лизавета,
Я люблю тебя за это.
И за это, и за то —
Вот и боле ничего!

Некто пьяный, с голубыми вылинявшими глазами, все пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли:

— Нельзя! Не-льзя, понял?

Пышногрудая девица переплясала трех парней, вышла на четвертого и свалилась. Хохот, визг... А девица — лежит. Поняли: с ней плохо. Вынесли в сени на свежий воздух.

То в одном углу, то в другом начинали громко выяснять отношения и пытались драться.

Ольга и в этой пьяной, безобразной хляби оставалась красивой. Распустила по плечам тяжелые волосы, засучила рукава кофты и, улыбаясь, ходила среди гостей, дурачилась. Ей вроде нравилась эта кутерьма. Когда она плясала, то так бессовестно и с таким искусством играла крупным телом своим, что у видавших виды молокососов деревенели от напряжения лица. Петр в такие минуты особенно жгуче любил ее и ненавидел.

Кряжистый дядя, по фамилии Шкурупий («Шкура» — называли его), пьяный меньше других, хитрый и умный, постучал вилкой по графину.

— Ти-ха! Сичас жених споет нам! Просим!

Откуда он, паразит, взял, что жених поет? Может, решил просто поиздеваться?

На жениха вообще-то не обращали внимания, не замечали. А тут посмотри — действительно, сидит жених.

— Давай!.. Але! Женихало петь будет, хэх!..

Кто-то не понял, в чем дело, заорал:

— Горька-а!

Кто-то продекламировал:

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной!..

— Да ти-ха! — опять закричал Шкурупий. — Просим жениха!

Когда так заорали, Петр заметно побледнел и, стиснув зубы, сидел и смотрел на всех злыми глазами.

— Жених, дэва-ай! — стонала своенравная свадьба.

Ольга посмотрела на мужа, подошла к нему, положила на плечо тяжелую горячую руку, сказала требовательно:

— Спой, Петя, — как кипятком ошпарила.

— Перестань, — негромко сказал он.

Человек с вылинявшими глазами пробрался к ним, облапил Петра сзади и, обдавая теплым перегаром, заговорил:

— Есенина знаешь? Спой Есенина, — и крикнул всем: — Вы, щас — Есенина!

Его не услышали.

Петр сшиб с себя руки пьяного, встал и пошел на улицу.

Был тусклый поздний вечер, задумчивый, не по-осеннему теплый. Кропотливо, въедливо доделывала свое дело осень. Это — двадцать пятая в жизни Петра Ивлева, самая нелепая и желанная.

Он ушел в дальний конец двора, сел на бревно, уперся локтями в колени, задумался... Собственно, дум никаких не было, была удушающая ненависть к людям, визг, суетню и топот которых он слышал и здесь.

Из дома кто-то вышел. Петр вгляделся, узнал Ольгу, позвал.

Ольга подошла, села на корточки перед ним.

— Ну что?

— Этот бардак надо разогнать, — сказал Петр. — Пусть догуляют сегодня и забудут сюда дорогу.

Ольга ответила не сразу.

— Мне весело с ними, — сказала нехотя.

— Неправда. Ты просто... от скуки.

Ольга опять долго молчала.

— С тобой-то разве веселее, Петя? Нет.

Петра передернуло от ее слов.

— Правда, что ли?

— Правда.

— Хм... — он не знал, что говорить. Решил быть тоже спокойным. — Неделю прожили... и уже? Месяц-то протянем?

— Не знаю, — Ольга говорила серьезно, трезво.

Петра слегка начало трясти. Хмель, какой был, вылетел из головы: спокойствие Ольги было неподдельно.

— Ты что говоришь-то? Ты думаешь?

Ольга вздохнула, положила голову ему на колени, сказала, как говорят прочувствованное:

— Опротивело все. Никого я не люблю, и ничего не хочу... Плевать на все. Не могу любить. Думала, сумею, — нет.

Петр вконец растерялся.

— Выпила лишнего. Я сейчас пойду выгоню всех, ты ляжешь и отдохнешь... Надо отдохнуть, — говорил и сам понимал: не то.

— Не в этом дело.

— А в чем?

— Я устала.

«От чего?» — изумился про себя Петр, но сказать это вслух не решился. Подумал про тех, в доме: — Довели они ее, сволочи, закружили».

— Побудь здесь, я сейчас приду.

— Куда ты?

— Спичек нет, пойду прикурю.

Ольга села на бревно, тоже склонилась, сказала негромко, с грустью:

— Не шей ты мне, матушка... Не надо...

Ивлев вошел в дом.

— Так! — громко обратился он ко всем. — Собирайте шмотки и вытряхивайтесь отсюда!

Те, кто услышал это, остановились, замолчали, с интересом смотрели на него.

— Я кому сказал?! — заорал Ивлев. — Марш отсюда! И больше чтоб ни одна сволочь не появлялась здесь!

Теперь его слушали все. Прямо перед ним стоял без пиджака человек с вылинявшими глазами.

— Ты на кого это, сопля, голос повысил? — спросил он довольно трезво. — А? Вошь, ты на кого орешь? Ты чье сегодня жрал-пил? А?

— Семен! — предостерегающе сказал Шкурупий.

Семен двинулся на Ивлева.

— Ты на кого голос повысил?!

Петр, не дожидаясь, когда набычившийся Семен кинется на него, сам выступил вперед и хлестко дал ему в челюсть. Семен, взмахнув руками, мешком стал падать. Его подхватили. И сразу, как по команде, на Ивлева бросились четверо. Так дружно кидаются на постороннего, на чужого в своем пиру. Ивлев отпрыгнул в сторону, сорвал со стены ружье, взвел курки...

— Постреляю всех, гадов, — сказал негромко.

Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Семен, очухавшись от удара, опять полез на хозяина. Его схватил сзади Шкурупий... Семен стал вырываться, Шкурупий отпустил его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Семен рухнул на пол, как куль с овсом.

— Пошли. Действительно поздно уже, — спокойно сказал Шкурупий, глядя на Ивлева маленькими пронзительными глазами. — Спасибо, хозяин, за угощение.

«Этот припомнит мне», — подумал Петр.

Пока разбирались с одеждой, пока одевались, он стоял в стороне с ружьем, караулил движения парней. Кто-то хихикнул и сказал негромко:

— Весело было нам.

И тут вошла Ольга. Остановилась на пороге, пораженная диковинной сценой. Посмотрела на Петра, ничего не сказала, только прищурила глаза. Тоже оделась и ушла вместе со всеми. Случилось все это как-то поразительно быстро.

Потянулась бесконечная ночь. Петр сперва ходил по комнате, мычал от бессильной ярости, думал:

«Придешь, никуда не денешься. Подумаешь — обидел сволочей».

Потом стало невмоготу. Сел к столу, начал пить. Но сколько ни пил — не брало. Только на душе становилось еще муторнее. Он выругался, встал и опять начал ходить.

«Неужели совсем ушла?»

Взял ружье, заглянул в казенник — пусто. Знали бы об этом парни давеча. Полез под кровать — там в чемодане хранились патроны. Достал их, зарядил оба ствола.

— Ну и что? — спросил сам себя, остановившись посреди комнаты.

В сенях послышалась какая-то возня. Петра как током дернуло... Выскочил из комнаты — стоит та самая девица, с которой давеча стало плохо. Шарит руками по стенке — ищет дверь.

Петр прислонился спиной к косяку, уставился на нее.

— Что? — спросила девица.

— Очухалась?

— А где все?

— Ушли. Крепко ухлесталась, сердешная.

Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете.

— Все ушли?

— Все.

Петр повесил ружье на место; тут только девица обратила внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно посмотрела на него.

— Похмелиться хочешь? — спросил Петр; ему стало легче — хоть одна живая душа есть. — Голова-то болит небось?

— Ты что, стреляться хотел?

Петр налил ей коньяку. Себе тоже.

— Давай.

— Что-нибудь случилось? — спросила девица.

— Нет.

— Драка была?

— Да нет, ну тя к дьяволу! Не знаю я ничего, сам пьяный был.

Девица выпила, сморщилась, закрутила головой. Петр сунул ей лимон, она оттолкнула его.

— Дай закурить лучше.

— Эхх!.. — не вытерпел Ивлев. — Бить тебя некому! Девушка...

Девица прикурила, затянулась несколько раз, глубоко вздохнула и сказала облегченно:

— Вот... — села на стул.

— Неужели не стыдно так жить? — спросил Петр. — Или тут уж про совесть говорить не приходится?

Девица посмотрела на него, как на стенку, безучастно.

— Думаешь, Ольга тебя любит? — спросила. Улыбнулась — губы припухшие, чувственные; осоловелые глаза поражают покоем и покорностью. Красивая вообще-то. — Можешь не волноваться — не любит.

— Заразы вы! — с дрожью в голосе громко сказал Ивлев. Сорвался с места, заходил по комнате. — Поганки на земле, вот вы кто! — остановился перед девицей, стиснул кулаки в карманах, чтобы унять дрожь. — Шелк натянула! Ногами дрыгать научилась?.. — дрожь не унималась; Ивлев побледнел от ярости и обиды, но слов — убийственных, разящих — не находил. — Что поняли в жизни?.. Жрать! Пить! Ложиться под кого попало!.. Сволочи, — он сразу устал — понял: ничего не доказать.

Девица презрительно смотрела на него. Усмехнулась.

— Ольгу не лапайте! — опять взвился Ивлев. — Она вам не пара! Я вас отважу от нее.

— Посмотрим.

— Я вас каленым железом выжгу из города. Вы же воруете, гады, я же знаю. Эти, мордастые, воруют, а вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется.

— Сколько времени сейчас? — спросила девица.

— Не знаю. Утро, — Ивлев кивнул на окно — на улице светало.

— Ольга с ними ушла?

Петр не ответил, взял свою рюмку, выпил. Напомнили об Ольге, и опять заныла душа.

Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати свою шляпку, плащ... Остановилась на пороге перед тем, как выйти.

— Насчет лавочки... — это доказать надо, а то...

— А то что?

— Ничего. Нечего зря на людей говорить.

— А я не говорю на людей, я на паразитов говорю.

— Вот так. А то быстро заткнут рот.

— Иди отсюда, — негромко, сквозь зубы сказал Ивлев. — Пошла — иди.

Девица ушла.

Ольга пришла на другой день к вечеру.

Петр прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжкий запах попойки... Сидел у окна, положив подбородок на кулаки, смотрел на улицу — ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира, пришел и сел ждать.

Ольга вошла тихонько... Дверь на улицу была открыта. Петр не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Петр вздрогнул, оглянулся... С минуту, наверно, смотрели друг на друга.

— Ну? — спросил Петр.

— Что?

— Нагулялась?

Он встал, подошел к жене, взял в руки ее голову, жадно поцеловал в мягкие губы... Она стояла покорная, смотрела на мужа с вялым любопытством.

— Где была-то?

— Там, — кивнула она. — Петя... Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то.

— Устала просто. Это — психика, — авторитетно сказал Ивлев. — Надо отдохнуть, и все пройдет.

— Как отдохнуть?

— Так. Спокойно пожить, не дергаться, не беситься до утра.

— Спокойно — значит, скучно. Не хочу.

— Сядем потолкуем, — предложил Петр. — Поесть хочешь?

— Петя, ты, наверно, хороший парень, тебе, наверно, нужна хорошая жена...

— Перестань, завела панихиду какую-то. Сядь, — Ивлев посадил ее на кровать, а сам стал ходить. — Ты малость не так начала жить, — заговорил он уверенно. — Я тебя хорошо понимаю. Бывает так: идешь где-нибудь — в лесу или в поле, доходишь до такого места, где дорога расходится на две. А места незнакомые. По какой идти — неизвестно. А идти надо. И до того тяжело это — выбирать, аж сердце заболит. И потом, когда уж идешь, и то болит. Думаешь: «А правильно? Может, не сюда надо было?» Так и в жизни, по-моему: надо дорогу знать...

— Ты знаешь?

— Я?.. — Петр никогда не думал так о себе: знает он или не знает. — Я одно знаю: ты поворачиваешь не туда.

— Господи, какой умница: туда, не туда... А куда надо, скажи? — Ольга прилегла на подушку, закрыла глаза.

Петр минуты две ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор важный.

— Эти... друзья твои... я их не виню, — осторожно заговорил он. — Бывает — сами по себе хорошие люди, но запутались и других путают. Они научат...

— Я старше их... Больше видела. В свое время газеты читала...

— Это неважно. Я докажу что они запутались. Первое: они ни черта не делают. Как так можно? Да возьми ты, к примеру, первобытное общество — там же все работали! А кто не работал, тому голову разбивали дубиной.

— Мы не в первобытном обществе, — нехотя возразила Ольга.

— Тем более!

— Как это ничего не делают? Одни учатся, другие работают... А время проводят, как хотят, никому до этого нет дела.

— Они воруют! — сорвался на крик Ивлев, но взял себя в руки. — Работают... Где это можно так работать, чтобы коньяк чуть не каждый день пить? Иди поинтересуйся: часто рабочий человек коньяк пьет?

— Голову на плечах надо иметь.

— А у меня что, тыква? Чем я хуже их?! Я вот с таких лет работаю...

— Ну и работай. От каждого — по потребности. Чего ты обижаешься? — Ольга, кажется, нарочно злила мужа и сама начинала злиться. — Ты — рабочий, гордись этим. А они — хлюпики, стиляги... Чего они тебя волнуют?

Петру вспомнились нарядные, нагловатые парни, ленивые улыбки их... И ярость опять охватила его.

— Они народ обворовывают! Работают! Вижу я, как они работают. Подружка твоя учится?! Она что, знать больше хочет?! Ей, гадине, лишь бы диплом получить да сесть на шею кому-нибудь... Думаешь, это интеллигенты?

— Сволочь ты, — откровенно зло и резко сказала Ольга. Села, посмотрела на мужа уничтожающим взглядом. —

Верно сказал: тыква у тебя на плечах. Чего ты на людей налетел? Научился топором махать — делай свое дело.

Этот отпор Ольги был так неожидан, что Ивлев сперва растерялся. Молчал.

Ольга встала с кровати, мельком оглядела комнату.

— Я ухожу. Совсем. Люди, о которых ты говоришь, — не такие уж хорошие. Никто не обманывается, и они сами тоже. А ты — дурак. Загнали тебя на «правильную дорогу» — шагай и помалкивай. Кто тебе дал право совать нос в чужие дела?

Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева.

«Сейчас ударю», — подумал он и не двигался с места, слушал слова, от которых у него, казалось, распухали уши.

— Чем ты лучше этих людей? Они умнее тебя, честнее, если хочешь знать. Сознательный... Если тебе за твою работу дадут в два раза больше, ты половину отдашь народу? Трепач... Я думала, ты парень... мужчина... Сопляк. Научили десять слов говорить — живи с этим, хватит. В первобытном обществе и этого не знали. Прощай, — Ольга направилась к выходу.

Ивлев подошел к двери, толкнул жену на кровать.

— Сядь. Объясни мне, я не могу понять: неужели...

Она встала и пошла грудью вперед.

— Уйди. Прочь! — глаза совсем чужие. Ненавидящие.

Петр опять толчком посадил ее. Она встала и опять пошла...

Трижды сказала:

— Прочь с дороги! Вон! Ненавижу тебя!

«Все», — понял Ивлев.

Ольга вышла.

Больно стало Ивлеву, так больно!.. Показалось: не хватит сил превозмочь эту боль.

Ольга не пришла на другой день. Не пришла она и на третий, и на четвертый. Петр ждал ее вечерами, она не шла.

На пятый день вместо нее пришла с чемоданом та самая девица, с которой Ивлев беседовал после свадьбы.

— Здравствуйте, — вежливо сказала она.

Петра удивила такая ее вежливость.

— Здравствуй, — он приготовился услышать что-нибудь о жене. «Мириться, наверно, хочет. Слава те, господи».

— Ольга попросила взять кое-какие ее вещи. Нужно...

— Пусть сама придет.

— Она не придет никогда.

У Ивлева упало сердце.

— Тогда ничего не получите, — сказал и сам не понял: зачем?

Девица уставилась на него укоряющим взглядом.

— Как не стыдно...

— Нет, это вам как не стыдно?! Сбили человека с панталыку да еще вякаете, приходите! Закрой дверь с той стороны.

Помолчали.

«Зря разоряюсь, — подумал Ивлев. — Кому доказываю?»

— Забирай, что надо, и уходи.

— Я только попрошу на минуту выйти.

— Зачем?

— Нужно... Я буду женские вещи брать.

— Ну и бери, что ты пионерку из себя строишь? Юбки, что ли, бюстгальтеры? Забирай, не стесняйся — я это видел.

— Все равно... Я прошу выйти, — уперлась на своем девица.

Ивлева кольнула догадка: «А юбки ли ей нужны-то? Может, вовсе не юбки?»

— Бери при мне.

— Нет.

— Тогда будь здорова.

— Как не совестно!

— Ты только насчет совести... не надо, слушай.

— Выйди на пять минут. Неужели трудно?

— Трудно.

«Не за юбками ты пришла, милая, нет. За чем-то другим».

— Не выйдешь?

— Не выйду.

— Но я прошу... как мужчину, как джентльмена.

— Я же — «дяревня», я этого не понимаю.

— Скотина, — девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью.

Ивлев принялся искать то, за чем приходила нарочная. И сразу почти нашел: в диване, под сиденьем, лежали заготовки для женских туфель. Пар на двадцать. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был высокого качества, светло-коричневый, мастерской выделки.

«Сапожники, — ядовито думал Ивлев. — Я вам устрою». Об Ольге, что она причастна к воровским делам, он почему-то не подумал. Напротив, захотелось скорей доказать ей, ткнуть носом: вот они, твои хорошие, умные!

Он собрал весь материал в вещмешок, дождался, когда на улице малость стемнеет, и пошел с мешком в милицию.

— Мне нужен начальник, — заявил он дежурному офицеру.

— Зачем?

— Ему скажу. Лично.

— Говорите мне, какая разница? — обиделся офицер. — В чем дело-то?

— Я сказал: буду говорить только с начальником.

— Его нет сейчас.

— Тогда я завтра приду.

— Подождите... Дело-то важное?

— В общем... не маленькое.

— Сейчас вызову, посидите.

— Хорошо.

Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в свой кабинет, присел на стол, посмотрел на мешок.

«Тоже работка у них, — невольно подумал Петр, вытряхивая на пол содержимое мешка. — Телевизор, наверно, дома смотрел, а тут — хошь не хошь — иди».

— Что это? — спросил начальник. Наклонился, взял пару заготовок, помял в руках. — Хорош!

— Высший сорт. Для заграницы, наверно.

Начальник кивнул головой.

— Ну, а в чем дело-то?

— Ворованное, — пояснил Ивлев. — Дома у себя нашел.

— Подробней немного.

Ивлев подробно все рассказал, назвал фамилии, какие знал.

— А жена, думаешь, не причастна?

— Нет, уверен. Просто прятали у нее, она не знала.

— Н-да-а, — начальник долго смотрел в окно. — Ну ладно. Спасибо. Не боишься?

— Чего?

— Ну... могут ведь прийти за этим, — начальник показал глазами на товар. — Такими кусками не бросаются.

— Ничего.

— Вызывать будем...

— Понимаю.

Недели через две тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, это был не узелок, а большой, довольно крепко запутанный узел.

Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз он встретил там Шкурупия. Тот нисколько не изменился, смотрел маленькими умными глазками спокойно, даже весело.

«Крепкий, черт», — подумал Петр.

Шкурупий обрадовался, увидев Ивлева.

— Вот! Пусть он подтвердит! — воскликнул он, показывая на Петра пальцем. — Помнишь, я на вашей свадьбе ударил одного? Он еще полез на тебя драться... Семен-то!

— Ну, — Петр хорошо помнил и Семена и то, как Шкурупий ударил его.

— Так он теперь все на меня валит. Ты ж понимаешь!.. Гад какой — мстит!

Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, слушая Шкурупия, чуть заметно улыбался.

— Часто вы видели у себя дома этого человека? — спросил он Ивлева.

— Раза четыре.

— Он ничего не приносил с собой? Или, может, уносил...

— Что он, дурак, что ли, при мне приносить.

— Он действительно ударил Семена?

— Да.

— За что?

— Ну, тот развозился... хотел действительно кинуться на меня...

— А чем вы объясняете такое заступничество?

Ивлева стали раздражать вопросы следователя.

— Просто он боялся лишнего шума, неужели не ясно?

Шкурупий угрожающе посмотрел на Ивлева. Того этот взгляд обозлил.

— По-моему ты у них главный был, — сказал он, глядя на Шкурупия. — Хочешь на Семене отыграться?

Шкурупий только хмыкнул, покачал головой.

— На самом деле ни за что посадят... От народ!

— Уведите, — велел следователь милиционеру.

Шкурупия увели.

Следователь нахмурился, долго копался в бумагах.

— Мне надо сказать вам...

Ивлев похолодел от недоброго предчувствия.

— Что?

— Жена ваша тоже замешана.

— Да что вы!

— Да.

— И она... сидит сейчас?

— Нет, она пока не сидит. Сидят вот такие, вроде Шкурупия.

— Как же это так-то? — Ивлев расстегнул ворот рубахи. — Как же так?

— Пугаться не надо, — успокоил следователь. — Преступление не такое уж... — он показал рукой, — не очень большое. Хранение, перепродажа...

Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздохнул.

— Черт возьми!.. Никак не верится. Она тоже продавала?

— Хранила ворованное.

— Так она же не знала! Я сразу говорил...

— Знала.

— Вот это номер...

— Зайдите к начальнику, он просил.

Ивлев прошел в кабинет начальника милиции.

— Узнал? — спросил тот, увидев взволнованного Ивлева. — Садись.

— Может, она врет? Чтобы тех выгородить. А? Она такая — на себя...

— Нет, не врет.

— Сроду не думал.

— Если б думал, не сообщил бы?

Ивлев помолчал и сказал честно:

— Нет.

Начальник кивнул головой.

— Ты сам откуда?

— Из-под Барнаула... За хранение ворованного что бывает?

— Тюрьма.

— Значит, посадят?

— А как же?

— И сколько дадут?

— Немного, наверно... Для первого раза.

«Все. В тюрьме она окончательно свихнется, — думал Петр. — Сам в яму толкнул».

— А ничего нельзя сделать?

Начальник прикурил от зажигалки.

— А что можно сделать?

— Черт возьми совсем! — Ивлев тоже достал папиросы. — Испортится она там.

— Ну... это напрасно. Ты где работаешь?

— В СМУ-5.

Помолчали. Начальник задумчиво смотрел в окно, трогал пальцами гладко выбритый подбородок.

— Знакомые есть в городе?

— Нет. А что?

— Так... — начальник поднялся. — До свиданья. Если почувствуешь, что... следят... следит кто-нибудь — сразу скажи. Могут попытаться отомстить. С женой... тут сам решай. Лучше всего бы уехать сейчас отсюда. А если захочешь найти потом — найдешь, поможем. Как считаешь?

— Никак не считаю: все из головы вылетело. Я думал, она не виновата. Нет, пока не уеду, — Ивлев встал. — До свиданья.

— Будь здоров.

Ивлев вышел из милиции... Остановился, долго соображал: что делать? Из головы все вылетело. Пусто.

«Что делать? Что делать?» — терзал он себя. Шел, как ночью: ждал, что сейчас оборвется и будет долго падать в черную какую-то, гулкую яму. «Нет Ольги. И не будет. В тюрьме». От этой мерзкой мысли хотелось завыть.

Дома в двери нашел записку:

«Не радуйся сильно, свое получишь. Скрываться бесполезно — смерть будет тяжелее».

«В смерть балуются, — равнодушно подумал Петр. — Всякая гнида хочет быть вошью».

В комнатах холодно, пусто... Петр включил свет, не раздеваясь лег на кровать лицом вниз. Подумал, что надо бы запереться, но лень было вставать. Страха не было.

«Пусть приходят. Пусть казнят».

Захотел представить человека — автора записки. Всплыло лицо, похожее на лицо Шкурупия.

«Посадить тебя, паскуда, задом в навоз и забивать осиновым колом слова твои обратно тебе в глотку. Чоб ты наелся ими досыта и никогда больше не выговорил».

Опять потянулась бесконечная ночь. Часа в два Петр встал, нашел письма к Ольге с родины, списал адрес и составил телеграмму ее отцу. Он знал только, что отец работает председателем колхоза.

«Срочно вылетайте помочь Ольге». Подпись: *«Ивлев»*.

И стал ждать утра. Ходил по комнате, вспоминал свою жизнь. Вспомнил почему-то, как пацаном возил копны и его однажды растрепала лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего — черт ее знает: вырвала из его слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел старик стогоправ, не мог догнать взбесившуюся кобылу, кричал сзади: «Держись за гриву, Петька! Крепче держись — не отпускайся!» А его тогда — он помнил — подмывала от страха мысль: «Может, лучше самому упасть, чем ждать?» Но старик кричал: «Держись, Петька! Она счас пристанет!» Действительно, кобыла скоро выдохлась и стала. Эх, старик, старик...

За окнами стало светать.

Через три дня прилетел отец Ольги.

Петр шел с работы, увидел на крыльце своего дома незнакомого пожилого человека. Он догадался, кто это.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Я — отец Ольги, Павел Николаевич.

— Я понял. Сейчас все расскажу, — Петр отомкнул замок, пропустил вперед Фонякина.

— Ну? — глаза Фонякина покраснели от бессонницы. — Что?

— Ольга спуталась здесь с плохими людьми... В общем, ей грозит тюрьма.

Фонякин болезненно сморщился.

— Что они делали... люди-то?

— Воровали. Ворованное хранилось у Ольги.

Левый уголок рта Фонякина нервно дергался, он прикусил папироску зубами.

— Ты — муж ее, насколько понимаю?

— Да.

Разговаривали стоя.

— Как же ты допустил?

— Я не знал ничего. Она до меня была знакома с ними.

— Сейчас где она? Сидит?

— Нет. Но я не знаю, где. Она... ушла из дома. Можно в милиции узнать.

— Пойдем в милицию.

Почти всю дорогу молчали. У самого входа Петр тронул Фонякина за руку, остановил. Сказал, глядя ему в глаза:

— Как-нибудь отведите ее от тюрьмы. Она пропадет там.

Фонякин смотрел на зятя устало и внимательно.

— Как вы жили-то с ней? Долго?

— Плохо жили.

Фонякин отвернулся. Десять лет назад он отправил дочь учиться в город, в институт. Через полтора года она сообщила, что вышла замуж. Потом написала — разошлись. Потом бросила институт, приехала домой. Пожила с год, ничего не делая, уехала снова в город. Опять вышла замуж. За какого-то талантливого ученого. И снова — не то, развод. Писала, что работает, денег не просила. Все это, вся ее скособоченная жизнь убивали его; что мог, он скрывал от людей. И вот — тюрьма. И какой-то новый ее муж перед ним...

— Телеграмму-то раньше надо было дать.

— Я не думал, что так обернется.

— Пошли. Наколбасили вы тут... черт вас возьми.

К начальнику Фонякин вошел один, Ивлев сел на диван и стал ждать.

Ждать пришлось долго.

Наконец Фонякин вышел... Увидел Ивлева, подошел, сел рядом.

— Ну?

— Плохо, — тихо сказал Фонякин.

— Я тоже зайду к нему. Подождите.

Фонякин молча кивнул. Уходя, Петр увидел, как он опять поморщился и потрогал под пиджаком левую сторону груди.

— Подожди-ка!.. Я сейчас пойду к ней, а ночевать приду к тебе, — сказал он, вставая.

— Найдете? Мой дом-то...

— Найду.

Ивлев вошел к начальнику.

— Отца ты вызвал? — спросил он сухо.

— Я.

— Для чего? Пожилого человека... Я же объяснил: сделать ничего нельзя.

— А что тут такого? Он отец.

— Он больной, из больницы раньше времени выписался.

— Я не знал этого.

— Сделать ничего нельзя. Объясни ему, а то он хлопотать кинется — совсем доконает себя. Написать сперва надо было...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— До свиданья, — зло сказал Петр.

Начальник кивнул.

Ивлев пошел домой.

Фонякин пришел поздно. Печальный.

— Вот так, — сказал он. — Дай умыться. Упал у вас во дворе...

Ивлев налил воды в рукомойник, подал полотенце. Очень хотелось спросить об Ольге — как она? Фонякин будто подслушал его мысли.

— Что о жене-то не спросишь?

— Как она?

— Вы разошлись, оказывается?

«Уеду к чертовой матери из этого города», — решил вдруг Ивлев.

— Я думал, она еще вернется, — сказал он.

Фонякин вздохнул, промолчал.

— Ужинать будете?

— Я бы выпил сейчас от всех этих хороших дел. Можно достать?

— У меня есть.

...Сидели за столом, молчали. Выпили по рюмке — и молчали. Все было ясно.

На улице сеялся поздний осенний дождик. Уныло шуршало за окнами. Далеко-далеко свистели паровозные гудки, навевая грустные мысли.

«Уеду», — думал Петр.

— Ты здешний? — спросил Фонякин.

— Нет.

— Откуда?

— Тоже из Сибири.

— А как сюда попал?

— Служил здесь... Недалеко.

— А родители в Сибири?

— У меня нет их. Померли. Тетка там.

Фонякин еще налил по полрюмке коньяку.

— Неужели нельзя было раньше разогнать эту свору? — тихо спросил он. — Уехали бы куда-нибудь, что ли. Увез бы ее... — Фонякину было горько. И Ивлеву тоже сделалось горько, и досада взяла.

— Послушалась бы она меня!

— Ты муж был! Как же ты мог допустить до этого?

— А как вы, отец, допустили? Что вы с себя-то вину сваливаете?

— Но ты же рядом был...

— Я рядом был! Полторы недели... А вы всю жизнь.

Нехорошо посмотрели друг на друга.

— Мужик называется... Муж! — сердито сказал Фонякин. — Полторы недели с тобой рядом воровали, пили, а ты глазами хлопал. Молокососы, черти.

Какая-то доля правды была в словах Фонякина; от этого стало Петру особенно обидно и горько.

— Не я ее учил пить.

— Кто же, я, что ли?

— Ну и не я!

— Но надо было хоть маленько усилий приложить!.. За любовь-то свою. Надо или нет? — Фонякин повысил голос.

— Надо! — Петр тоже повысил голос. — А вам не надо было?!

Фонякин посмотрел на взъерошенного зятя, потрогал прокуренными пальцами виски.

— Ладно... чего мы тут. Поздно хватились.

Помолчали.

— Сколько ей сулят?

— Года полтора вляпают. Стыд головушке... Чего не хватало?! Мм... — Фонякин поморщился. Полез за папиросами. — Напиши мне, как тут все будет...

— Я уезжаю тоже...

— Куда?

— Где жил. Не могу больше в этом городе... Видеть его не могу, — Петр тоже закурил.

— Эх, вы, — вздохнул Фонякин. — Молодежь... Все — сами, сами! Что же у самих-то не получается?

— У вас все получалось?

— Но уж такого... безобразия не было. Захотели — сошлись, пожили неделю, захотели — разошлись. Да вы что?

— Это вы у нее спросите.

— А твоя хата с краю?

— Не хочу говорить про это, — заявил Ивлев. — Все равно ни до чего не договоримся. Я вам одно, вы — другое. Я понимаю: вам тяжело. Мне тоже не легче. А оправдываться перед вами... нет никакого смысла. Давайте спать.

— Спи. Я посижу маленько.

— Ложитесь на кровать, я — на диване.

Фонякин кивнул головой и, уставившись взглядом в стол, остался сидеть.

Рано утром простились.

— Закурим на дорогу, — сказал Фонякин. Сел на свой чемодан. Закурили.

— Может, подождал бы пока уезжать, — посоветовал Фонякин. — Узнать бы, как будет?.. Я бы остался, но... Что-то худо мне. Как бы не залечь тут — совсем нехорошо.

Петру сделалось нестерпимо жалко усталого, больного человека. Выглядел он действительно очень плохо.

— Останусь. До суда. Сообщу.

— Только не домой, а... вот тут я тебе запишу... — Фонякин вырвал из блокнота чистый листок, написал карандашом адрес. — А то мать там с ума сойдет. Я ей не буду говорить ничего. Скажу, что болела, а теперь, мол, ничего. Да и от людей стыдно...

— Ладно. Я аккуратно сделаю.

Еще посидели немного. Встали.

— Ну... бывай, — Фонякин пожал руку Петру. — Может, увидимся, — говорить ему было тяжело. Он повернулся и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где жила дочь.

Петр прилег на диван, закинув руки за голову, до работы оставалось два часа с лишним. Можно было вздремнуть пока. Эту ночь он почти не сомкнул глаз.

Прошло восемь месяцев.

Петр Ивлев работал в том городе, где жил до встречи с Ольгой. Квартировал у другой, тоже доброй, тихой хозяйки, в небольшой уютной комнате окнами на живописный пустырь.

Вечерами, если не ходил в кино, читал книги из фабричной библиотеки. Любил читать про путешествия.

И в тот немного душный июньский вечер сидел, примостившись у открытого окна, читал. Темнело уже, а встать и зажечь свет — лень. Петр положил книгу, засмотрелся вдаль. За пустырем, внизу, протекала сонная речушка, за речушкой зеленой стеной вставал лес. И уходил лес далеко-далеко, куда хватал глаз, — терялся в призрачной вечерней дымке. Тихо было в этой части города, покойно. Как в деревне.

Вошла хозяйка.

— Петь, к тебе барышня какая-то.

— Какая барышня?

— Не знаю. «Дома?» — спрашивает. А я завертелась со стиркой-то и забыла: дома ты или нет? Пойду, говорю, погляжу.

«Кто?» — недоумевал Петр, включая свет.

Он не сразу узнал Ольгу: то ли от неожиданности, то ли изменилась она. Она, пожалуй, изменилась: пополнела немного, глаза все такие же смелые и умные, только была в них теперь какая-то жесткая наглинка, что-то вызывающе-высокомерное, но внимательное.

— Вот так номер, — только и сказал он.

Ольга улыбнулась. И в улыбке нечто неуловимо новое: чуть-чуть виноватость, что ли, некая неловкость, которую хотят побороть, скрыть.

— Как в кино, — сказала Ольга.

— Точно... — Петр поглупел от такой нежданной встречи. Засуетился: подставил стул — показалось, близко к порогу, переставил ближе к столу. — Садись, чего стоишь-то?

— Тут ты и живешь? — Ольга села, огляделась.

— Ну да.

Петр все смотрел на нее, не верилось, что перед ним — Ольга.

— Я все время хотела бы вот так жить, а не получается, — сказала Ольга.

— Как? — не понял Петр.

— Вот в такой уютной комнатке, одна, на краю города. Зимой, наверно, ветер за окном, воет, а у тебя — тепло, — она опять улыбнулась. — Правда, хорошо. Тут стихи сочинять можно. Не пробовал?

— Нет.

— Зря.

Петру пришло в голову, что за все время, пока не видел ее, он ни разу не подумал о ней плохо, помнил только красивой, желанной и чужой.

— Это хозяйка? — спросила Ольга, кивнув на дверь.

— Хозяйка. Ты как раньше-то? Освободилась-то...

— Потом. Сходи купи вина... И поговорим.

— Сейчас.

— Денег дать?

— Брось ты!.. —Ивлев надел пиджак и вышел.

Он рад был, что побудет один, — надо собраться с мыслями. Но никак не получалось — расползались мысли. Рад он был или не рад — непонятно. Рад, конечно. Но с чем пришла Ольга?.. Из магазина чуть не бежал. Не терпелось опять видеть ее, понять: с чем она пришла?

...Сели к столу, когда за окном стало совсем темно.

Вино попалось хорошее, хотя Петр не выбирал — ткнул пальцем в первое попавшееся.

— Вкусное. Правда?

— Ничего, — Петру не терпелось узнать, почему Ольга оказалась на свободе раньше срока (ей давали два года), почему она здесь, в этом городе, как нашла его и зачем нашла.

Ольга не торопилась.

— Хорошо у тебя, правда.

— Тебя почему раньше-то отпустили? — не выдержал Петр.

— За красивые глаза.

— Нет, серьезно.

— Серьезно.

— Давно?

— Полмесяца уже...

— А меня как нашла?

— Ну!.. В наше время найти человека — раз плюнуть. Оттуда почему уехал? Испугался?

— Нет. Противно стало.

Ольга надолго задумалась. И не притворялась — опять ей чего-то остро не хватало в жизни, опять не скрывала она, что все, что вокруг нее, с ней, не нужно ей, И снова злая досада и любовь сжали сердце Ивлева. Что ей нужно, что?

— Чем ты занимаешься?

Ольга очнулась от своих дум, выпила вина, крепко поставила рюмку на стол.

— Поедем со мной? В деревню... ко мне, — а дальше заговорила не с ним: — Черт с ней, не вышло — не надо! Начну новую жизнь. Правильную, — она насмешливо глянула на Петра, поморщилась и продолжала серьезно: — Только не такую правильную, от которой клопы дохнут, а — правильную!.. Понимаешь? Буду учить людей, чтобы они были смелыми, свободными, сильными... Не веришь?

— Я ничего не говорю.

— И ничего мне больше не нужно.

— А кто я-то при тебе буду? Вроде шута горохового?

— Нет, слушай меня, я серьезно. Я много об этом думала. Любви нет, не спорь со мной. Ты думаешь, ты любишь?

— Понял.

— Что понял?

— Это в тюрьме такие учителя нашлись?

— Я серьезно, Петро. Знаешь, как мы с тобой хорошо заживем! Я окончу наконец этот институт — заочно, мне полтора года осталось, — стану учительницей. Буду учить сибирячат... Я же училась в институте, бросила. Теперь кончу. Поедешь со мной?

— Зачем я тебе нужен?

— Нужен. Нужен же мне муж в конце концов. Я серьезно говорю: ты лучше всех, кого я встречала. Только не ревнуй меня, ради Христа. Я не тихушница, сама презираю таких. Буду тебе верной женой, — Ольга встала и в непод-

дельном волнении заходила по тесной комнате. — Нет, Петя, это здорово! Какого черта мы тут ищем? Здесь тесно, душно... Ты вспомни, как там хорошо! Какие там люди... доверчивые, простые, мудрые.

Почему-то Ивлев понял, что это не пустые слова, не блажь. И не то даже, что она побыла не на свободе, струсила и сломя голову кинулась мечтать — как можно хорошо, свободно, спокойно жить. Если так — она доедет до Новосибирска, вернется и опять будет беситься и звереть от тоски. Нет, почему-то поверилось, что ее беспокойная, не совсем женская энергия, которая мучительно требовала работы, дела, нашла выход.

И совсем как-то иначе, счастливо, по-девичьи, закинув руки за голову, Ольга сказала вдруг:

— Я на сеновале спать стану. А по утрам буду бегать на речку купаться. У нас вода в реке ледяная. Поедем?

— Поедем.

— Я знала, что поедешь. Давай выпьем, за... счастье. Оно есть, я верю. Мне прямо не терпится скорей начать действовать.

Выпили.

— Хорошо? Ты не кисни.

— Хорошо, Ольга, ты же знаешь, хоть ты и натрепалась тут, что любви нет. Есть.

— Ну и слава богу! И со спокойной душой заснем. Иди скажи хозяйке, что жена приехала... А то я не люблю так. А завтра проснемся и начнем действовать. Я готова. Будем ходить завтра за всякими бумажками, выписываться... Получим самую глупую справочку — уже что-то сделали, радость. Верно? А потом поедем. Будут мелькать деревеньки, маленькие полустанки... Будут поля, леса... Урал проедем. Потом пойдет наша Сибирь... Я раздеваюсь. Иди говори. Мы потушим свет и еще поговорим. А потом заснем.

Петр пошел объявлять хозяйке, что приехала жена.

Он обалдел от счастья, самому не терпелось начать подробно-подробно думать и говорить о том, какую можно прекрасную жизнь создать. «Господи, послала же мне судьба такого... непутевого, родного человека!»

Дорогой Ольга смеялась и дурачилась, рассказывала Петру в коридоре анекдоты. Петр, чтобы не обижать ее, смеялся. Смешно было не всегда. Беспокоила некая надсадность

ее веселья; Ольга как будто заставляла себя веселиться. А то подолгу молча сидела у окна. О чем думала, непонятно. Петр уставал от этих перемен, сам тоже частенько задумывался. «Ненадолго ее хватит», — приходила мысль. Но все забывалось, когда Ольга ласково смотрела на него.

— Славный мой... — говорила она. — Все бросил — поехал. Куда!

В Крутоярское с дороги дали телеграмму. Подписали: «*Ольга. Петр*».

На вокзале их встретил Фонякин.

Петр не сразу узнал его. Стоял на перроне высокий, болезненно худой человек в легком кожаном пальто. Смотрел на них веселыми внимательными глазами.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал глуховато. Неловко обнял дочь, ткнулся ей в щеку, Ивлеву подал руку и тут только сам едва узнал его. — А-а!.. Вот как? Ну, вот... видишь. Здравствуй. Пошли.

Петр нес чемоданы, наблюдал сбоку за Ольгой. Ольга присмирела, не смеялась. Зато ему сделалось отчего-то весело.

«Какого черта я унываю?» — подумал он.

До Крутоярского доехали за час с лишним. Дорогой мало-помалу разговорились.

— Как приехали-то? — спросил Фонякин.

— В смысле — на чем, что ли? — не поняла Ольга. — На поезде.

— Насовсем или в гости?

Ольга посмотрела на мужа, сказала твердо:

— Насовсем.

Фонякина, чувствовалось, обрадовал такой ответ. Он сидел впереди, разговаривал не оборачиваясь.

— Ну вот, — сказал тихо.

— Мама здорова?

— Ничего.

— А ты?.. Худой какой-то. Не болеешь?

— Работы много, — уклончиво сказал Фонякин. — Я теперь директор совхоза.

Петр заметил, как смотрит на Ольгу шофер Фонякина, крепкий парнина лет двадцати пяти — двадцати шести: с

изумлением. Ольга раза два перехватила взгляд шофера, усмехнулась сама себе.

«Ах, как нравится, когда на тебя так смотрят!» — не без досады подумал Петр.

...Вечером собрались к Фонякиным гости.

Ивлев отвык от сельских людей. Впрочем, к таким сельским людям он и не привыкал никогда — это было районное начальство: парторг совхоза, ветврач, директор школы, второй секретарь райкома... Все с женами. Были какие-то родственники Фонякиных. Всего человек двенадцать. Петр с интересом присматривался к ним; и к нему тоже присматривались.

Особенно весело не было. Мужчины разговаривали о предстоящей партконференции, про общих знакомых, о командировках. Женщины колготились на кухне. Ивлев рассматривал толстый семейный альбом Фонякиных. Перелистал один раз, закурил и стал листать сначала. Ольга в какой-то из комнат (их в доме было четыре) приводила себя в порядок.

За столом оживились. Выпили. Фонякин тоже выпил, хотя жена пробовала удержать его.

— Что ты? — сказал Фонякин. — Сегодня положено.

Петр пил много, чем неприятно удивил тещу, полную молодящуюся женщину. Пил, но почему-то не пьянел. Люди нравились ему. Он только не знал, о чем говорить с ними. Старался улыбаться, поддакивал.

Ольга была весела. Ивлев пригляделся и понял: притворяется, не хочет обижать родных.

Завели патефон, пошли танцевать.

Фонякин с Ивлевым ушли в соседнюю комнату, незаметно прихватили с собой бутылку вина.

— Потолкуем, — сказал Фонякин. — Вот тут жить будете. Ничего?

Петр оглядел комнату.

— Хорошо, чего еще надо.

— Пока... А там видно будет. Садись.

Закурили. Выпили молча по рюмке.

— Что делал это время?

— Работал.

— Столярничал?

— Да.

— Сама нашла тебя?..

— Сама.

— Ну и как? Как теперь думаешь? — Фонякин имел в виду дочь.

— Если в двух словах: по-моему, дело идет к лучшему. Не сразу, наверно... Не знаю, по-моему, она взялась за ум. Я верю. Учиться хочет.

— Здесь тоже столярничать думаешь?

— А что еще?

Фонякин налил по рюмке. Оглянулся на дверь.

— Не прихватят нас с тобой?

— Нельзя пить?

— Дэ-э... Давай.

Выпили.

— Кхэ... А где столярничать хочешь?

— В МТС.

— В РТС. Эмтээсов нет теперь.

— Ну в РТС. Какая разница.

Помолчали.

— Рад, что приехали, — сказал Фонякин. — Старею, наверно... Сны какие-то дурацкие вижу.

— Одна она у вас была?

— Она не говорила?

— Нет.

— Сын был... Убит под Курском. Николай. Ступай позови ее... Пусть споет. Охота послушать.

Ольга вошла в комнату, вопросительно посмотрела на отца.

— Садись, дочь. Давно не виделись... — просительная нотка прозвучала в голосе Фонякина; и весь он был какой-то беспомощный перед крупной, красивой дочерью.

«Оба мы перед ней какие-то... маленькие, — признался себе Петр. — И не знаем, что делать. Вот человечина!»

— Спеть?

— Спой. Сейчас я гитару принесу, — Фонякин встал и вышел из комнаты.

— Сдал крепко отец-то, — сказал Петр.

Ольга, уперев руки в бока, задумчиво смотрела в темное окно. Ничего не сказала.

— Покажи брата, — попросил Петр.

Ольга показала глазами на портрет (увеличенную фотографию) молодого круглолицего, до удивления похожего на Ольгу парня в офицерской форме. Взгляд такой же — прямой, твердый, открытый. Петр вгляделся.

«Он бы сумел с ней поговорить», — подумал невольно.

Фонякин принес гитару, неумело тренькнул струнами, подавая ее дочери.

— Твоя. Помнишь?

— Помню, — Ольга взяла гитару, села на стул, положила ногу на ногу. Тесная юбка чудом не затрещала.

— Что желаете? — посмотрела с усмешкой на отца и мужа. Когда она так усмехалась, у нее отчетливо обозначались темные усики над ярким, капризно очерченным ртом.

— Чего-нибудь, — сказал Фонякин.

Петр всего раза два слышал, как она поет: хорошо, ему очень нравилось.

Ольга настроила гитару, подумала. Посмотрела на отца, на мужа... И запела негромко:

Мне помнится сказка,
Забытая сказка:
О том, как влюбился в огонь мотылек,
Он думал, что будет тиха его ласка,
Но огненных сил превозмочь он не мог.

При первых же звуках песни у Петра сделалось хорошо на душе; уютно стало в комнате. Пела Ольга низким, чистым голосом, просто, будто нехотя. Но голос шел от сердца, и так был он дорог!.. Полузабытое, редкое чувство далекой молодости — когда хотелось отчего-то вдруг заплакать — вспомнилось.

Гитара задумчиво гудела.

И вечером чистым, порою лучистой
В окно растворенное тихо влетел
И, словно безумный, не чувствуя боли,
В огне серебристом мгновенно сгорел.
Любовь моя тоже — забытая сказка...

Петр посмотрел на тестя. Тот сидел, нахохлившись над столом, печально и хмуро смотрел перед собой. Многое он прощал дочери за ее песни. Любил он ее, крепко его заботила ее судьба.

Ольга допела песню, положила крупную белую ладонь на струны, посмотрела с усмешкой на обоих.

— Чего носы повесили?

Фонякин очнулся, поднял голову.

— Так.

— Давайте вместе какую-нибудь? — предложила Ольга.

— Ну уж нет! — возразил Петр.

Фонякин тоже сказал:

— Зачем? Спой еще.

Я о прошлом уже не мечтаю, —

запела Ольга; и опять властное чувство тоски и скорби охватило Ивлева, но странной какой-то скорби: как будто и не скорбь это, а такое чувство, когда хоть и грустно, хоть и плакать хочется и жаль чего-то, но если плакать, то и смеяться и любить — вместе. И прощать и жалеть: «Милые, милые, родные люди, ничего, хорошо ведь?»

«Моя ты или не моя? Если б ты была моя совсем, с твоими песнями вместе! Ничего бы не надо больше», — думал Петр.

Ольга кончила петь.

Некоторое время все трое сидели молча, додумывали думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, зыбкого, бесконечно доброго и печального мира, куда увели песни.

В комнату вошел директор школы, низенький, плохо скроенный человек в бостоновом костюме, сказал громко:

— А, вот они где!.. Ольга Павловна, без вас там все разваливается. Пойдемте танцевать, — посмотрел на Петра вопросительно.

— Я не танцую, — сказал тот.

Ольга положила гитару на стол, легко поднялась. Петра всегда поражало, с какой легкостью она носит свое большое тело.

— Пойдемте.

Они ушли.

— Вот так, — сказал Фонякин. И надолго умолк.

Петр слушал патефон, веселый говор и смех, звучавший в соседней комнате. Опять новая жизнь...

— Значит, столярничать? — спросил неожиданно Фонякин.

— А что?

— Так просто. А поучиться... не думал? У тебя сколько?

— Пять классов.

— М-да-а... не густо. Но ведь и годов-то тебе еще не много.

«К чему он?» — недоумевал Петр.

— А что? — опять спросил он.

— Да ничего!.. Время сейчас такое — все учатся... У нас вечерняя школа хорошая. Хотя бы техникум... Жизнь большая.

— Посмотрим, Павел Николаевич.

Жизнь дальше пошла так.

Столярного дела в РТС Петру не нашлось. Мелкие, шабашные заказы по селу выполняли старики-пенсионеры. Да и стыдно было бы заниматься этим. Зато его с великой охотой взяли в плотничью бригаду на строительство кошары.

Ольга не на шутку принялась за книги.

Рано утром Петр осторожно вставал с кровати, умывался во дворе под рукомойником, одевался, ел на кухне невкусные пироги с морковью, которые почему-то в изобилии пекла теща, запивал молоком... Если Фонякин был дома, он беззлобно ругался с кем-нибудь по телефону в прихожей. Иногда вместе ели пироги с морковью.

Теща и Ольга спали еще.

— Как дела? — спрашивал Фонякин.

— Ничего. Как у вас?

— Ничего.

И каждый думал о своем.

Позавтракав, Петр уходил на улицу, садился на скамейку у ворот, закуривал в ожидании автобуса (стройка была в пяти километрах от села, рабочих возили на работу и с работы). Это было самое хорошее время дня — эти полчаса, пока он ждал автобуса. Солнце еще не поднялось из-за горы, но светло уж, и все село ворошится. Поднимая пыль, прошло стадо коров. Небольшое. Большое оно будет в конце села. Хлопают калитки; запоздавшие бабы догоняют пастуха, подстегивая коров хворостинками.

— Ну, отелилась, ли чо ли?! — ругаются. Как будто не сами виноваты, что пронежились лишних пяток минут в теплой постели.

Протарахтит телега с мужиком. Мужик что-нибудь крикнет запоздавшей бабе, а та в долгу не останется. Засмеются. Голоса еще с хрипотцой — со сна, теплые. Люди не успели наработаться — не сердитые. Да и шибко уж просторно, ясно, свежо вокруг, так и подмывает крикнуть через дорогу что-нибудь самое пустяковое.

— Здорово, сосед!

— Здоров. Как ночевал?

— А ничо, слушай! Жена бы не растолкала, дак ишо бы поспал. На коровьем-то реву оно, это, спится, язви ее!

А подальше еще двое переговариваются через плетни:

— Ты что седня вечером делаешь-то?

— Дак а чо?.. Вроде особо-то нечего.

— Может, сплаваем в островишко, посидим?

— Оно можно бы... у меня припасишки вышли. Я этто заказывал Семке Косому: поедешь в город, возьми на мою долю с кило. Забыл, окаянная душа!

— У меня есть маленько, я дам.

— Но давай. А я на днях сам поеду, дак куплю. Дроби-то я накатаю...

— У меня дробь есть. Правда, тоже не магазинная...

— Да дроби не надо. Я вон парнишку заставлю, накатат сколько надо.

— Ну и сплавам, посидим, — а дальше негромко: — Я тада возьму на литровку?.. — кивок в сторону крестового дома, где живут две учительские семьи. — Штук шесть-то добудем, поди.

— Бери, добудем.

Договорились вечером сплавать на охоту. Пороху один другому одолжит. Дробь пойдет самодельная. А так как деньжонок у обоих нет, а выпить после охоты надо, один возьмет у учителей шесть рублей под уток (бутылка — пара), купит две бутылки и поставит в погреб. Приплывут затемно, разложат во дворе огонь под таганком, сами отеребят, опалят, распотрошат утку и заварят целиком в чугуне. Вкусно и долго пахнет потом на улице паленым; блаженно покряхтывают двое, прихваливают:

— А ничо получилось!..

— Мм.

— Жалко, в одну промазал. Прямо над головой шаркнула, гадина... Темно.

— Ничо, этого от пуза.

Трепыхается слабый огонек под таганком, выхватывая из тьмы две фигуры. Бывает, со двора не в лад, но задушевно поплывет в теплом стоялом воздухе:

Аб чем, дева, плачешь?
Аб чем, дева, пла-ачешь?
Аб чем, дева, пла-а-ачешь?..

Мужской голос, с плохо скрытой завистью, прикрикнет с улицы:

— Огонь-то затопчите потом, девы!

Если «девы» не успокоятся, выходят жены.

— Ну-ка, марш по домам!

...На работе к Ивлеву сперва было несколько настороженное отношение — директорский зять. Скоро, однако, наладилось. Работать Петр умел, за счет других не ловчил, плохого к людям за душой не таил — это скоро понимают.

Ольга целыми днями читала, забравшись с ногами на диван. Мужа с работы встречала не то что прохладно — спокойно: оторвется от книги — мысли далеко-далеко.

— В печке на сковородке картошка жареная, в сенях — огурцы, капуста. Хлеб — в шкафу.

Ивлева не очень огорчало такое.

«Ничего, — думал, — лишь бы тосковать не начала».

Сам серьезно подумывал над словами тестя: не начать ли учиться? Жизнь выровнялась, на душе устоялся желанный покой. Листал вечерами Ольгины книги, и крепло желание: сидеть рядом с женой и въедаться в неведомый, чужой мир.

Ночью, в темноте, негромко разговаривали.

— Мне тоже отец советует учиться. А? Я ведь, если возьмусь...

— Правильно советует. У него только другое, наверно, на уме... свое. Я сама возьмусь за тебя. Странно мне, Петя! Как будто, знаешь, шла, шла и вдруг — море. Совсем не ждала. И прямо не знаю, что мне с ним делать — большущее такое!.. — и добавляла сердито: — А мне уж скоро тридцать.

— Ерунда какая. Люди...

— Да я не об этом. Жалко!

— Чего жалко?

— Ничего. Тебя жалко, что не понимаешь.

— Понимаю, почему не понимаю. Жалко, что время зря много ухлопала?

— Спи. Дай твою руку... Я не знаю: может, я испугаюсь, что оно такое большое...

— Не бойся. Хорошее дело надумала — не робей. Я тоже с тобой: рога черту свернем. Я ведь мужик крепкий, мне если что западет в башку...

— Не хвались. А учиться будешь, я без отца давно решила. Хорошо от тебя потом пахнет — сосновым. Спи.

Петр засыпал счастливый. Иногда, когда он засыпал так, Ольга вдруг говорила сама себе твердо, зло и отчаянно:

— Нич-чего у меня не выйдет.

Приехав в Крутоярское, Петр написал тетке письмо с новым адресом. Похвалился в письме, что живет хорошо. И вдруг получил телеграмму от дяди:

«Срочно выезжай тетя безнадежная».

Петр в тот же день выехал на родину.

Случилось так, что в тот день, в который уехал Петр, в село привезли хороший фильм. Ольга слышала о нем и вечером пошла в клуб. Сидеть ей пришлось рядом с молодым человеком, которого она раза два видела на улице, знала, что он учитель истории и географии, что сам откуда-то из Ленинграда, кажется. Худощавый, среднего роста, бледный, опрятно одетый. Ольга тогда еще подумала: «Интересно, как он о Стеньке Разине рассказывает: "Дорогие дети, Степан Тимофеевич был человек энергичный и очень мужественный..."?»

— Здравствуйте, — вежливо сказал молодой человек Ольге, когда она села рядом.

Ольга тоже сказала:

— Здравствуйте.

И все. И стали ждать начала картины. Ольга, как бы между прочим, раза два глянула на него: сидит, облокотившись на спинку стула, терпеливо ждет.

Сеанс все не начинался.

Молодой человек ослабил галстук, посмотрел на часы.

— Что-то долго они...

— Вы давно здесь? — спросила вдруг Ольга. Сама не ждала, что заговорит.

— Здесь, в зале? — простодушно уточнил молодой человек, повернувшись к Ольге; ей показалось, что он близорукий. — Минут пятнадцать уже.

— Нет, в деревне?

— В этой? — опять уточнил молодой человек. — В этой — год.

Ольге сделалось весело: очень смешно он уточнял вопросы.

— Нравится у нас?

— Почему «у нас»? Вы ведь сами приехали.

— Я родилась здесь.

— Да? В отпуск?

— Нет, домой приехала. Совсем.

— Хорошее дело, — он произносил: «дево». Опять посмотрел на часы. — Ужасный механик. Копуша.

Ольге хотелось разговаривать.

— Нравится у нас?

Молодой человек сморщил лоб и погладил его вдоль морщинок средним пальцем (у него была такая привычка).

— Нравится. Не все только.

— Привыкнете, — Ольга ужаснулась пустому слову. Странно, у нее пропала легкость, с какой она находила слова в любом почти разговоре — ироничные, никогда не серьезные и всегда серьезные, более или менее остроумные и едкие. Парень предложил неожиданный тон разговора: простой и недвусмысленный.

— Привыкнем, — согласился он. У него, кажется, не было охоты разговаривать. Это задело Ольгу за живое. Она ждала, что он, изголодавшись по «светским» разговорам, пойдет щеголять, станет показывать, что «и мы здесь» кое-что понимаем. Эдит Пиаф? Извольте: поет хорошо, а книжки писать не умеет. Нет такой — женской литературы. Знаете, что подумала каждая третья женщина, прочитав ее исповедь: «Если бы я рассказала!..» После Чехова или Толстого так не подумаешь. Ну, что еще? Поэзия? Наша? Как сказать...

Было время, когда Ольге такие слова кружили голову, как вино, потом она научилась сама говорить их, потом они стали злить ее. Все это хорошо, мило, но очень уж дорого надо платить.

Ольга ненароком еще раз посмотрела на молодого человека. Из каких же он? По облику, по костюму он даже не из тех, кто поначалу кружит голову, а из тех, кого и поначалу жалко: слабенькие, начинают с отрицания всех и вся, объявляют жизнь «болотом», потом объясняются в любви. А кончают тем, что снова объявляют жизнь «болотом» и стесняются давать деньги на аборт.

Сеанс все не начинался.

— Ужасный механик, — сердито сказал молодой человек и опять посмотрел на часы. Сердиться он не умел.

— А куда вы торопитесь?

— Да никуда!.. Но так тоже нельзя — впустить людей и томить их тут.

— Видите — плохо в деревне.

Молодой человек вдруг негромко засмеялся. Ольге кровь бросилась в лицо.

— Вы как шпион: потихоньку выспрашиваете у меня... — смеялся молодой человек искренне, необидно. — Если это самое плохое в деревне, я согласен ждать еще час.

— Что же самое плохое? — Ольга вконец потерялась. Никак не могла обрести легкий путь в разговоре. А говорить хотелось. Она даже ругнулась по-мужски про себя. «Что со мной?»

— Да ничего, все нормально. Вы кино любите?

— Хорошее.

— А я — всякое. Черт его знает: понимаю, что это гвупо (глупо), а хочется смотреть. Если совсем дрянь — тоже смешно.

— Это опять-таки деревня, — уперлась на своем Ольга.

Посмотрели друг на друга. И вдруг рассмеялись оба. Ольге стало легко.

— Доконаю я вас с этой деревней.

— А что вы делать приехали?

— Я тоже учительница, — Ольга чуть поторопилась. — Не совсем еще. Мне нужно дотянуть полтора года заочно.

— В нашем полку прибыло.

— А разве возьмут так?

— Возьмут. У нас треть таких — дотягивают. С руками-ногами возьмут. Не хватает же. У вас какой?

— Литература.

— Возьмут.

— Серьезно: вы не скучаете здесь? Почему летом-то остались?

— Тут... всякие дела. Не скучаю, я серьезно говорю. Только надо... Да нет, впрочем...

— Что?

— Так. Найдется что-нибудь, чтоб не скучать. Были в школе?

— Нет еще.

— Отличная школа. Вот такие нужны.

— А ребята как?

— Как везде — разные. Многих бы я попер из школы. Нельзя. Это плохо.

— Плохо, что гнать нельзя?

— Да. Зачем?.. — молодой человек совсем повернулся к Ольге и с горячностью стал ей доказывать: — Зачем, скажите, и ему, и себе нервы трепать?!

— Но восемь-то классов надо...

— Да восемь-то ладно. А он за восемь перевалил, а учиться не хочет. Ну и иди с богом! Сглупил? Ошибся? Вечерняя школа к услугам. А мы врем, тройку ставим, когда надо двояк прочный. Кол осиновый!

— О!..

— А есть славные. Одно удовольствие. При чем тут деревня?

Свет погас наконец.

— Поехали, — сказал молодой человек и снял пиджак. Фильм, правда, был хороший. Но Ольгу волновала близость молодого человека, она почувствовала плечом его руку и отвлеклась от картины. Можно бы отодвинуться и сосредоточиться на картине... В конце концов Ольга так и сделала. Но теперь она слышала запах «Шипра», исходивший от его лица. И это тоже отвлекало. Это вконец вывело из себя Ольгу. Впору было встать и уйти. Черт знает что лезло в голову: захотелось вдруг крепко прижать его к себе и шепнуть на ухо ласково: «А ты еще совсем-совсем маленький». У нее даже голова заболела от волнения. И в ушах пошумливало. «Да ты что, девка?» — пыталась она унять себя. Едва досидела до конца сеанса. Вышли вместе. Ольга глубоко вздохнула.

— Душно...

— Хорошая картина. Оказывается, не надо ничем удивлять, — молодой человек задумчиво сморщил лоб и потро-

гал его пальцем. — Лев Толстой говорил: «Если хочешь что сказать, скажи прямо». Правильно.

— Пойдемте на речку? Так пить захотелось, не дотерплю до дома.

Пошли на речку.

Волнение Ольги поулеглось, и она теперь думала: Что это? Любовь, что ли? Боже милостивый!..»

— Как вас зовут?

— Юрий. А вас?

— Ольга.

— Вот такие-то дела, Юрий Батькович, — Ольгу опять стало одолевать волнение. — Как говорил Лев Толстой?

Юрий что-то начал понимать. Молчал. Растерялся, наверно.

В темном месте Ольга остановилась. Юрий тоже. Ольгу слегка затрясло... Теперь уж она не могла — обняла его, нашла его губы и нежно поцеловала. Едва сдержала себя, чтоб не впиться в них с жадностью.

— Вот так... как учил Лев Толстой. Ну что? Говори что-нибудь! — Ольга еще держала его в объятиях.

— Оля, что это? — голос Юрия вздрагивал. — Что-то не понимаю...

Ольге стало легко и весело. Теперь она обрела себя. Отпустила его, вздохнула полной грудью.

— Пойдем на речку, я утоплюсь. Только не молчи, а то мне сейчас станет стыдно.

— Я не молчу. Я только не понимаю...

— Да я сама не понимаю! А чего непонятного, кстати? Ну, поцеловались. Ты что, до этого никогда не целовался?

— Почему?..

— Ну и вот. Влюбилась в тебя. Но убей бог, не знаю, за что. Ты красивый, что ли? В тебя влюблялись?

— Кой черт влюблялись! Я как тюлень...

— Вот, а я как раз люблю тюленей.

Подошли к речке, Ольга оперлась руками о берег, припала к воде.

— Охх!.. Сейчас всю выпью, — еще раз припала.

Юрий сел на камни. Молчал. Он еще не пришел в себя от случившегося.

— Ну пойдем, — Ольга поднялась, ополоснула руки. — Я объясню, что произошло, — действительно стало немнож-

ко стыдно. «Тороплюсь. Всегда тороплюсь». — Произошло... я не знаю, что. Кажется, я правда влюбилась. Но поступила сейчас ужасно-ужасно глупо, — Ольга говорила тихо. Ей захотелось вдруг плакать. — Ужасно!.. Дура.

— Не надо так, Ольга.

— А иначе не могла. Мне показалось, что я тебе нужна. Понимаешь? Не сейчас, не... Всегда. И ты мне нужен. Но я... маханула так, что теперь не понимаю: это показалось или это так и есть?

— Ольга, — сказал вдруг твердо Юрий, — я слабохарактерный человек, но иногда на меня находит... Не мучайся. Я знаю, что тебя мучает: сама первая сказала. Да еще так... сразу. Только, ради бога, не мучайся. Во-первых: если мне не сказать, я сам никогда не скажу. Во-вторых... Черт, я еще не очухался...

— Иди домой. Давай очухаемся.

— Подожди, Оля.

— Нет, давай подумаем. Надо. Иди. До свиданья, — Ольга повернулась и пошла в свою улицу. Шла скоро, не разбирая дороги. Она плакала. Это впервые за много-много лет. Она даже не помнила, когда она последний раз плакала. Плакалось, не могла успокоить себя и не могла понять: отчего же плачется-то?

На другой день Юрий рано утром пришел к Фонякиным. Фонякин ругался по телефону в прихожей.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Счас, минуточку... — Фонякин выяснил наконец, сколько машин пойдет с рабочими на покос, повесил трубку.

— Ольга Павловна дома?

— Ольга?.. Спит, наверно. Счас посмотрю.

Юрий остался в прихожей.

— Идет, — сказал Фонякин, проходя в кухню. — Садитесь, пожалуйста.

— Ничего, спасибо, — Юрий подождал немного в прихожей, потом вышел на крыльцо. Не заметил сам, как начал ходить по крыльцу туда-сюда.

Вышла Ольга в халате... Наступил тот самый момент, которого оба, наверно, боялись и ждали. Сколько он продолжался, этот мучительный момент?.. Смотрели в глаза друг другу...

— Я не умытая еще, — словно оправдываясь, сказала Ольга. Сказала негромко.

Юрий шагнул к ней, взял за руки.

— Оля...

— Подожди, не надо. Не говори. Я сейчас... возьму полотенце.

— Оля, я только хочу сказать...

Ольга, не слушая его, ушла в дом.

Вышла она в легком ситцевом платье, которое очень было к лицу ей. На плече — полотенце.

— Оля...

— Не надо! Ты же сказал. Я все поняла, Юра.

— Я ничего еще не сказал. Я всю ночь думал...

— Теперь ты торопишься. Не надо. Давай спокойно идти... Я тоже всю ночь думала.

— Мы куда?

— На речку. Купаться.

— Я, кстати, там пиджак забыл вчера.

Ольга засмеялась.

Утро было на редкость прекрасное. Солнце выплыло из-за горы и всю землю затопило прозрачным теплым светом. Все отсыревшее в ночной прохладе — крыши домов, заборы, деревья, — все отходило теперь, чуть парило, издавало волнующе-свежий, резковатый запах подгнившей древесины, зелени, подсыхающей земли... Взошло солнце, и природа светло безмолвно ликовала. Человеку бы так!

— Побежим? — предложила Ольга. И первая побежала. Юрий побежал за ней следом.

— Неудобно немного... Оль?! — негромко крикнул он на бегу.

— Учитель?.. За бабой с утра пораньше?!— Ольгу взял такой смех, что она остановилась и долго хохотала, запрокинув голову.

Юрий стоял рядом, улыбался, любуясь ею, такой же свежей, здоровой, чистой, как само это утро.

— Ты как это утро, Ольга, — сказал он.

— Милый ты мой, — с нежностью сказала Ольга, погладила его мягкой, теплой ладошкой по голове, по щеке. — Умненький мой. Малышечка моя...

Юрия обожгла такая неожиданно сердечная, неподдельно-родная интонация и нисколько не обидело, что он «малышечка».

Пришли к реке. Пиджак Юрия лежал на берегу.

— Купаться будешь? — спросила Ольга, глядя на Юрия, готовая опять смеяться.

— Я плавки не взял, — простодушно сказал Юрий.

Ольга опять засмеялась: что-то смешно ей было сегодня, все смешно.

— Сколько тебе лет, Юра? — спросила она, раздеваясь.

— А что? — Юрий покраснел и всячески старался не выдать волнения, какое охватило его при виде ее полуобнаженного тела.

— А что?

— Ну так. Сколько?

— Двадцать шесть, — он прибавил себе полтора года.

— А мне — двадцать девять, — Ольга бросила платье на камни, распрямилась, чуть прогнулась назад, раскинула руки. — Двадцать девять, тридцать, тридцать пять, сорок — все. Бабий век — сорок лет.

— Чепуха, — счел нужным сказать Юрий, думая в это время: раздеваться ему или нет. И решил, что не нужно.

Ольга постояла над водой, глядя в нее, потом сразу ухнула с головой вниз... Вынырнула, охнула и поплыла от берега, загребая одной рукой. Крикнула:

— Хорошо! Обожгло всю!..

Юрий понимал, что не надо бы ему сейчас раздеваться — показывать свое отнюдь не атлетического сложения тело, но и сидеть дураком на берегу, когда женщина купается, тоже как-то неловко. Он быстренько, пока Ольга была далеко, скинул одежду и тоже, как она, ринулся с головой в студеную воду. Действительно обожгло.

— Плыви сюда!

Юрий поплыл было, но вернулся.

«Еще судорога, на грех, сведет», — подумал он.

...Лежали на теплых камнях. Юрий нет-нет да невольно взглядывал на Ольгу. Молочно-белое, гладкое, крепкое тело ее все было в мелких светлых капельках и блестело под солнцем, как чешуйчатое.

«Такой я еще не видел», — должен был признаться Юрий.

«Приедет Петр, наделает беды, — думала в это время Ольга. — Убьет кого-нибудь: меня или его».

— Юра, я ведь замужем, — сказала она серьезно. И ждала, что скажет Юрий. Рук с лица, которыми защищала глаза от солнца, не отняла.

— Ну и что? — спросил Юрий. — Разве не бывает?..

— Бывает, — согласилась Ольга. — Ты поможешь мне закончить институт, — Ольга отняла руки от лица, приподнялась на локте. — Я все перезабыла.

— Вспомним! Чего там помогать-то, господи.

— Нет, не просто окончить — не так. Так я могу. Все должно быть очень серьезно, Юра. Все должно быть удивительно серьезно, ты не представляешь себе, как! Должна быть огромная библиотека с редкими книгами. Должно быть два стола... Ночь. За одним ты, за другим я. Полумрак, только горят настольные лампы. И больше ничего. Два стола, два стула, две раскладушки... Нет, одна такая широченная старинная кровать, застеленная лоскутным одеялом. И наволочки на подушках — ситцевые, с цветочками... Ты кого больше всех любишь из ученого мира?

— Коперника, — первое, что пришло в голову, сказал Юрий; он никогда так не думал: кого именно больше всех.

— А я — Циолковского. Я видела в Калуге его домик... Здорово это — почти всю жизнь прожить непризнанным. Только под конец, когда уже ничего не нужно... А?

— Это — подвижники, — согласился Юрий. Его тоже постепенно захватывало чувство, какое владело сейчас Ольгой; она умела заражать. — Это — чисто российское явление.

— Вот именно! А еще в доме должна быть мастерская...

— Какая мастерская?

— Столярная и слесарная. Много-много всяческих инструментов! Столы мы себе сами сделаем... — Ольга резко качнула головой, стряхивая каплю воды, наползавшую со лба на глаз. Пристально посмотрела на Юрия, так, что тому не по себе как-то стало. Легла на спину и опять закрыла лицо руками. И замолчала.

Четыре дня не было Петра Ивлева. Все эти четыре дня Ольга уходила вечером из дома и возвращалась глубокой ночью.

Фонякин зачуял что-то недоброе. Попробовал было поговорить с женой, та отмахнулась.

— В клуб ходит, куда еще.

— Каждый вечер-то?

— А чего тут такого? Что она, старуха, что ли?

— Она мужняя жена — вот что тут такого! — рассердился Фонякин. — Нет мужа дома — нечего одной по ночам шляться.

Жена нехорошо покривилась.

— Муж...

— А кто же он ей?

— Не пара — вот кто! — выпалила жена. — Вывезла!.. Таких-то у нас своих хоть отбавляй.

— Во-он ты как, — Фонякин понял, что жена, если что и знает, не скажет: зять был ей не по душе.

И запала ему в голову неспокойная дума.

«Против Петьки что-то замышляют, не иначе».

Один раз застал мать и дочь, о чем-то оживленно беседующих. При его появлении обе враз смолкли. Ольга ушла в свою комнату.

— Чего затеваете? — прямо спросил Фонякин.

Жена притворно всполошилась:

— Ты что?! Чего затеваем? Господи-батюшка!.. Скажет тоже.

— Смотри, — пригрозил Фонякин. — Я вам парня в обиду не дам. Поняла?

А на пятый день ему принесли в кабинет письмо. Ему лично.

«Уважаемый т. Фонякин!

Мы вас на самом деле уважаем, вы тут ни при чем. Но уймите как-нибудь свою кобылу-дочь. Это же стыд гольный! Ведь он, как ни говорите, учитель, наших детей учит. И она, мы слышали, тоже учительствовать собирается. Какой же они пример...»

Фонякин не дочитал письмо; у него в кабинете было много народу. Сидел, как помоями облитый, боялся посмотреть в глаза людям.

«Вот оно!.. Начинается», — думал.

Крепился, сколько мог, потом не выдержал, сказал:

— Товарищи, мне что-то... того... худо малость. Пойду полежу. Закончим на этом.

Шел домой скорым шагом. Правая рука — в кармане, письмо в кулаке — сжал так, что ладонь вспотела.

«Вся деревня знает уже. Сволочи! Одни мы с Петькой, как Исусы... Ну, погодите!»

Вошел в дом мрачнее тучи.

Жена, увидев его, встревожилась.

— Что? Опять? Врача, может?..

— Позови Ольгу. Сама уйди куда-нибудь с глаз долой.

— А что такое, Павел?..

— Я кому сказал!

Жена, чувствуя грозу, пошла исполнять приказание.

Ольга явилась спокойная, чуть собраннее, чем всегда.

«Какая женщина... жена, мать могла бы быть», — невольно подумал Фонякин.

— Что, папа?

— Вот!.. — Фонякин бросил к ногам дочери письмо. — Сочинение прислали. Учительницей собираешься быть? Читай! — Фонякин раскалялся все больше. — Там ошибки, наверно, но там в лицо плюют!

Ольга даже не глянула на письмо.

— Анонимка? Не надо было читать...

— А что мне делать?! — крикнул Фонякин. — Глаза себе выколоть?

— Не надо читать, я сама все расскажу.

Фонякин не ожидал такого. Даже несколько растерялся.

— Что ты можешь рассказать?

— Я познакомилась с учителем Юрием Александровичем, мы стали друзьями...

«И как спокойно!» — с холодной яростью подумал Фонякин.

— Мы, очевидно, поженимся. Вот и все.

Как молотком били по голове, только удары были какие-то тупые и туго доходили до сознания Фонякина.

— А как же... — хотел заговорить он тоже спокойно. — Как же Петька?.. — голос прерывался, спокойствия не получалось. Он чувствовал, что сейчас сорвется. И Ольга чувствовала это, но оставалась спокойной. Это-то больше всего и взбесило Фонякина. — Муж как же?..

— Я никогда не любила его. Он знает об этом.

Фонякин поднялся.

— Иди сюда, — сказал он.

Ольга помедлила секунду, подошла.

Отец ударил ее по щеке. И потом еще раз и еще... Ольга попятилась от него.

— Еще, — попросила.

Фонякин шагнул и ударил еще.

— Шлюха.

— Еще бей!

— Шлюха! Вон из... — Фонякин задыхался.

— Еще бей! — требовала Ольга.

Фонякин схватился за сердце, стал торопливо искать глазами место, куда присесть. Он сделался белый, губы посинели...

— Папа! — вскрикнула Ольга. — Папа, что с тобой?

Вбежала мать.

— Паша!

— Не орите! — с трудом сказал Фонякин, осторожно опускаясь в кресло. — Дай глицерин. Скорей. В баночке...

Жена нашла нитроглицерин, Фонякин проглотил таблетку, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Женщины замерли около него.

Долго все молчали.

— Седин не пожалела, — негромко заговорил Фонякин, не открывая глаз. — Не пощадила...

— Папа, при чем здесь ты?

Мать дернула дочь за руку, показала глазами на дверь. Ольга вышла.

— Отец, конечно, ни при чем. Эх, вы...

— Паша, успокойся. Ну не надо сейчас-то...

— Ты замолчи! — Фонякин вздохнул и сам замолчал. Только часто и глубоко дышал.

Вечером Ольга ушла из дома. Совсем.

Через два дня приехал Петр.

Тещи дома не было, Петр прошел в комнату Фонякина. Павел Николаевич лежал в кровати.

— Что, опять? — спросил Петр. Даже не поздоровался.

Фонякин за эти два дня изменился до неузнаваемости: глаза впали, нос заострился, как у покойника, на щеках, в морщинах залегли нехорошие тени.

— Сядь, Петро, — сказал он. Сам несколько приподнялся на подушках. — Как дома?

— Тетку схоронил, — Петр отодвинул на стуле лекарства, присел на краешек. Хотел закурить, но спохватился.

— Да, кури! Дай, я тоже закурю.

— Может, не надо?

Закурили.

— Что с теткой-то?

— Рак желудка. Пятнадцать килограмм от человека осталось.

— Успел еще?

— Успел. Только не узнала... Долго молчали.

— Ну, крепись, Петро... Все к одному: Ольга ушла из дома. К учителю... есть тут у нас...

Петр не понял.

— Как ушла?

— Ушла. Совсем. Замуж вышла, — Фонякин опустился на подушки. Видно, немалого стоили ему эти слова. Прикрыл глаза, шумно вздохнул. — От тебя ушла, не понимаешь, что ли?

Волной — от макушки до пят — окатил Петра мерзкий озноб. И схлынул. Жарко сделалось. Он молчал. Фонякин посмотрел на него... и отвернулся.

— Где он живет? Учитель... — спросил Петр.

— У бабки Маланьи... Спросишь — покажут.

Петр поднялся.

— Петя... — Фонякин привстал, глянул прямо в глаза зятю. — Не делай там греха... прошу. Хоть ты-то... Ничего же не изменишь. Как сына прошу...

Слова Павла Николаевича дошли до него, когда он шел к учителю. Он сбавил шаг. Надо было сообразить, как действовать. Но что тут сообразишь?! Так и вошел, ничего не придумав, — какие слова говорить, что вообще делать?

— Здравствуйте.

Они о чем-то оживленно и, кажется, резковато беседовали. Юрий ходил по комнате, Ольга сидела у стола, положив ногу на ногу. И первое, что бросилось в глаза Петру, — круглые, тупые, крепкие коленки Ольги. Не сама Ольга, не взгляд ее, не Юрий Александрович — колени. И почему-то это успокоило, отрезвило. Потом уж он увидел и Ольгу, и учителя... А так как они промолчали на его «здравствуйте», он еще раз громко сказал:

— Здравствуйте, говорю. Что за невежливость такая?

— Здравствуйте, — сказал Юрий.

Ольга внимательно — с таким знакомым любопытством! — смотрела на Петра.

— Сесть-то можно? — весело спросил тот. И сел, не ожидая приглашения.

Вспомнилось ему, как когда-то, в ранней молодости, случалось одному нарваться на ораву ребятни из чужого, враждебного края. Точь-в-точь такое же чувство: сперва мгновенная оторопь — она хоть и мгновенная, хоть и оторопь, а успеешь заметить: высок ли плетень, что рядом, не махануть ли через него? Успел заметить Петр, что Юрий растерялся, если не испугался, Ольга приготовилась — ждет какой-нибудь выходки от Петра, вся наструнилась, но спокойная и — вот-вот — в глазах появится насмешка.

— Давайте познакомимся! — Петр встал, шагнул к Юрию... И опять успел заметить, как в глазах Ольги метнулся испуг. И погас. Но еще самую малость — шагни Петр решительнее или сунься в карман — она или вскочила бы, или крикнула. — Ивлев Петр, — представился он.

— Юрий.

Петр сел.

— Ты любишь ее? — в упор спросил он Юрия.

— Да, — ответил Юрий, несколько более решительно, чем этого требовал простой вопрос, несколько даже торжественно. Он тоже, наверно, шагнул в яму. Ольгу покоробило это.

— Ты, Ольга?

— Когда я еще была в пионерах, меня учили, что на допросах надо молчать. Я...

— Ты любишь? — переспросил Петр, меняясь в лице. Ольга знала, что это такое — когда он меняется в лице.

— Да, — сказала она.

— Вот и все, — сказал Петр.

«Убить!» — стукнуло в голову, и уж гнилостный, страшный холодок беды дохнул в грудь.

— Вот и все, — повторил он. И полез закуривать. — Разговор кончен, — он устал, и все стало безразлично. Сунул обратно папиросы, поднялся и пошел к двери. — Прощайте, — сказал на ходу. И хлопнул дверью.

Во дворе его догнала Ольга.

— Я провожу тебя.

— Зачем?

— Мне хочется.

— Пойдем.

Долго шли молча. Петр шагал широко, Ольга едва поспевала за ним.

— Отца видел? — спросила она.

— Видел.

— Как он?

— Лежит.

— А там... с теткой?

— Померла.

Опять долго молчали, почти до самого дома Фонякиных.

— Петр... у меня сердце кровью плачет... Я проклинаю себя... Мне жалко вас — тебя и отца...

— Это ты брось. Зря.

— Все равно вы самые хорошие, самые родные мне.

— Брось, Ольга! Чего ты?.. Совсем непохоже на тебя. Не нам с тобой плакать.

— Я домой не пойду.

— Почему?

— Не надо, отец разволнуется. Я подожду.

Фонякин сидел в кровати, когда вошел Петр.

— Что? — спросил он испуганно. — Скоро как-то...

— Ничего, все обошлось. Успокойтесь, — Петр присел к нему на кровать. Говорить было совершенно не о чем. Тяжело было бы о чем-нибудь говорить.

— Ну, поехал. — Петр поднялся. — Выздоравливайте,

Фонякин кивнул.

— Трудовую книжку вышлите потом.

— Ладно. Куда сейчас?

— К дяде. Старенький он уж стал... инвалид.

Фонякин опять кивнул.

— Не обессудь, Петро. Я ничего тут не мог сделать.

— Да что вы! Поправляйтесь, главное. Я не пропаду, — Петр пожал крупную слабую ладонь тестя. Когда-то — он даже и не успел заметить, когда и за что, — полюбил он этого доброго человека, вечного труженика. И понял это только сейчас.

И его тоже больно отрывать от сердца.

— Будьте здоровы.

— Счастливо тебе, — Фонякин глядел вслед Петру, пока за ним не закрылась дверь.

Ольга ждала его.

— Вот так, Ольга.

— Как он? — пока Петра не было, она заметно успокоилась.

— Ничего. Поругались, наверно?

— Да. Хуже — он меня ударил. Первый раз в жизни...

— Ну... ты больней бьешь.

— Куда сейчас?

— Домой. Дядька плохой тоже... Ничего, Ольга, все будет нормально.

— Не торопись, куда бежишь-то?

Петр сбавил шаг.

— Он хороший человек? Учитель-то?

— Хороший, — не сразу ответила Ольга. — Но это... опять не то. Я не знаю, — она не жаловалась, не сожалела.

На Петра никак не подействовали ее слова. Вышли уже на край села, а за селом открывалась даль. Всхолмленная, в лесах, но необозримо широкая, раздольная. Представилось Петру, что надо идти ему в эту даль — незнакомую, необъятную. Непривычно, чуть страшновато, но уже думалось о том, как будет ТАМ, ВДАЛИ. Уже шагал он ТУДА, и остановить его было нельзя. Именно оттого, что непривычно, и неведомо, и неоглядно широко, манило и влекло ТУДА.

Увидев колодец в конце улицы, Петр свернул к нему.

— Подожди, напьюсь на дорожку.

Ольга тоже подошла к колодцу.

Вал с визгом, долго раскручивался. Глубоко внизу гулко ударилась в воду кованая бадья. Забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьи. Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом цепь рывком натянулась — бадья, наполнившись, утонула. Вал надсадно, с подвывом застонал, как заплакал. Цепь с противным, трудным скрежетом наматывалась на вал. Срывались вниз капли, громко шлепались.

Петр подхватил тяжелую бадью, поставил на сруб, широко раскорячил ноги, склонился и стал жадно пить.

— Мх, — простонал он, отрываясь от бадьи, — холодная, аж зубы ломит. Не хочешь?

Ольга отказалась.

Петр еще раз пристроился к бадье, долго пил. Потом торопясь вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на грязную, затоптанную землю прозрачная вода.

— Вот Ольга... так и с любовью бывает, — сказал Петр, продолжая смотреть, как льется вода. — Черпанул человек целую бадейку, глотнул пару раз, остальное — в грязь. А ее тут на всю жизнь хватило.

— Да, — бездумно согласилась Ольга. Мысли ее тоже где-то далеко-далеко. — Прости, Петр, что так получилось.

— Брось...

— Как хочется, чтобы ты счастлив был! Правда, всем хочется счастья, даже больше, чем себе, и вот... так получается.

— Ты так говоришь, как будто я тебе какого-нибудь зла желаю. Мне тоже охота, чтобы у тебя все хорошо было.

— Спасибо. Не будет.

— Будет. Не унывай.

Вывернулась из села попутная машина. Петр «голоснул». Машина притормозила.

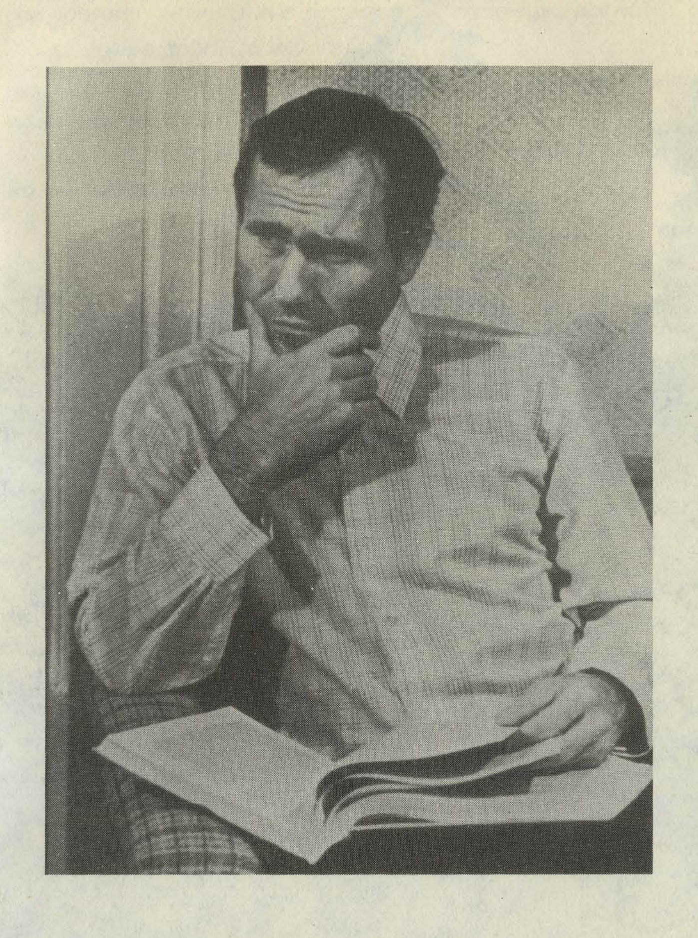
— Прощай.

— Будь здоров.

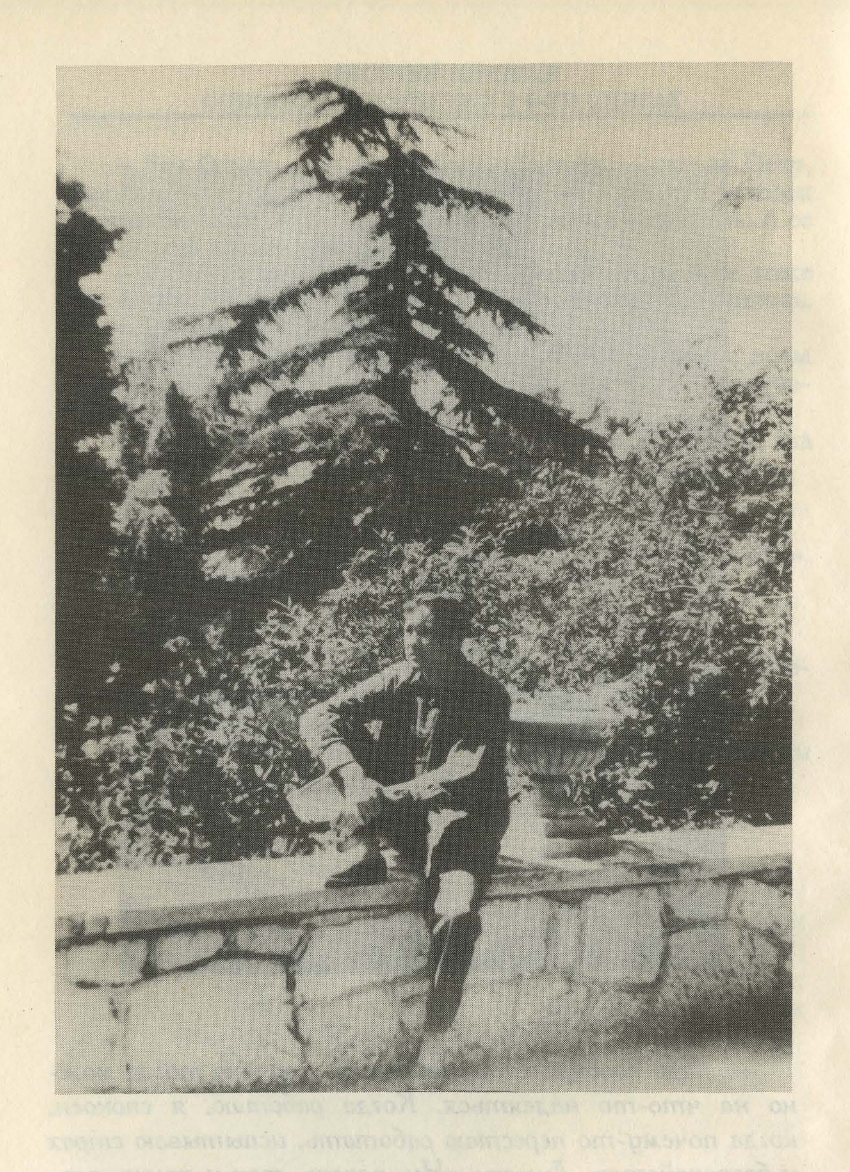
Петр поцеловал Ольгу. Подержал в ладонях ее лицо, посмотрел в глаза... Еще раз поцеловал.

— Прощай.

Когда поехали, Петр крепился, не оглядывался. Потом оглянулся. Ольга стояла на дороге, смотрела вслед ему...



«...надо вообще много работать, только тогда можно на что-то надеяться. Когда работаю, я спокоен, когда почему-то перестаю работать, испытываю страх и беспокойство. Думаю: «Ну, парень, так и жизнь просвистишь».



«Хочу написать двадцать книг! Чудак! Надо пять — хороших».

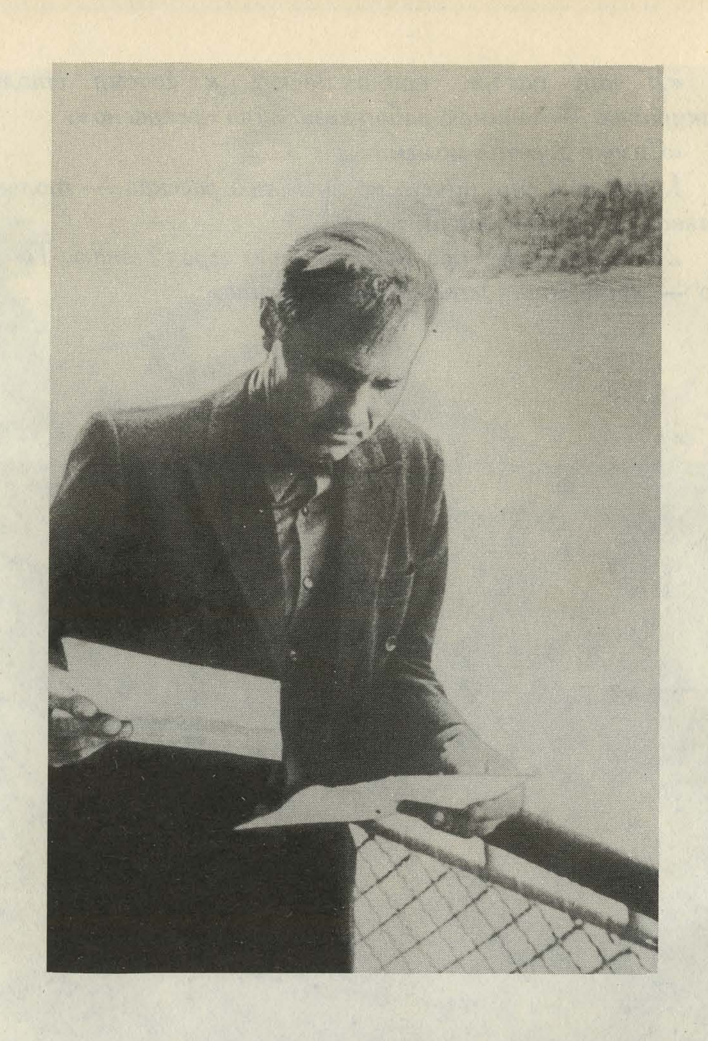
«Я как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закуриваю —начинаю работать. Это прекрасно».

«Самые дорогие моменты:

1. Когда я еще ничего не знаю про рассказ — только название или как зовут героя.

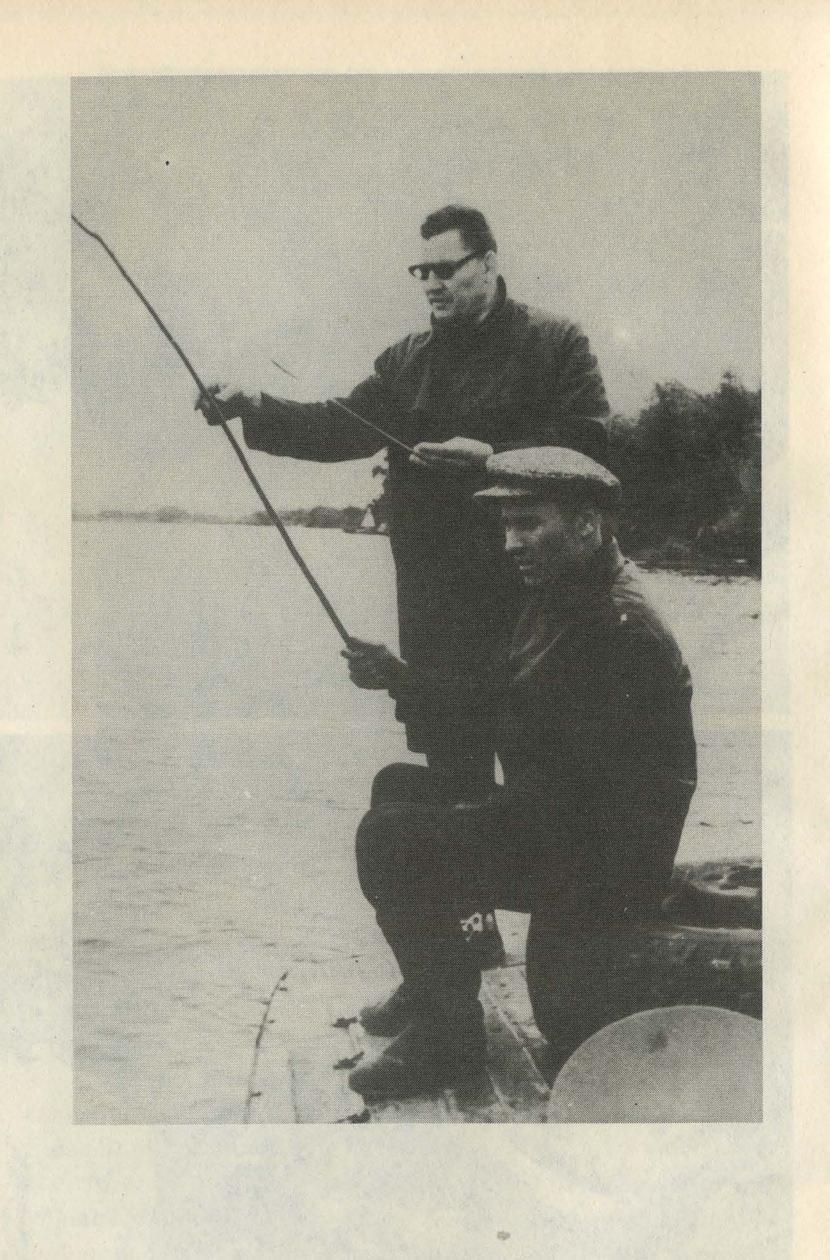
2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только — написать. Остальное —работа».





«...Вслушайтесь — искус-ство! Искусство — так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали «спасибо».

«Мы, конечно, не Львы Толстые, но хоть бы уж меньше болтали тогда на всяких встречах, как мы волнуемся, переживаем, не спим ночей, теряем аппетит, как у нас долго не «получалось», а потом, наконец, «получилось»... Хорошо, что получилось. Бывает, не получается».





«Не могу жить в деревне. Но бывать там люблю — сердце обжигает...»

* * *

«...Такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна».



«Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель».

Василий Шукшин и Василий Белов на съемках «Калины красной»

Из воспоминаний Александра Калачикова, школьного товарища В.М.Шукшина

“Сорок пятый год мы провели с Василием вместе. На острове Поповском ночи за разговорами просиживали. Приходили домой под утро. Однажды я так пришел и, чтобы не будить никого, лег в стожок во дворе. Утром слышу: мать говорит соседке: «Куда ходят — не пойму. Если бы к женщинам ходили, было бы известно».

О чем с ним разговаривали? Теперь уже не помню. О книгах, наверное. Он читал много. Это сейчас говорят, что кто-то его учил, кто-то его натаскивал. Никто его не натаскивал. Мать ему создавала условия — это верно. Вплоть до того, что не пускала к нему. Он сам учился на книгах. Горького хорошо знал.

Рассказы он еще в автомобильном техникуме, наверное, начал писать. И здесь, в Сростках, писал. Посылал в «Сибирские огни» — это самый ближний журнал. Ответа не было. Поехал туда сам, там литконсультантом женщина была, Марта, фамилию не помню. Оттуда он приехал злой, как черт. Мол, она говорит, что-то у вас есть, но в первую очередь, нужно, говорит, хорошо изучить свой родной язык, тогда уж браться... Вроде он подражает кому-то. А Василий: «Я пишу свое». Психовал, считал, что неправильно она говорит, что он именно русским языком пишет. Сказал, что писателем все равно будет. И рассказал про Ги де Мопассана, как его не печатали сначала и как потом напечатали «Пышку», и тогда стали брать прежние рассказы. Так и со мной будет, сказал...”

Из воспоминаний Ольги Михайловны Румянцевой, заведующей отделом прозы журнала «Октябрь»

“Помню Василия Макаровича Шукшина еще очень молодым — в литературе и в кино малоизвестным. Молчаливым,

замкнутым, легко ранимым равнодушием, очень стеснительным и в то же время полным внутренней, душевной силы — таким я встретила его, студента ВГИКа, впервые.

В один из непогожих осенних дней 1960 года в небольшую комнату отдела прозы журнала «Октябрь» вошел человек среднего роста, неказисто одетый. Его привел в редакцию студент Литературного института Л.Корнюшин.

— Вот, познакомьтесь, — сказал он, — это Василий Шукшин, о котором я говорил с вами. У Васи — рассказы, посмотрите, пожалуйста.

Шукшин исподлобья, с каким-то мрачным недоверием посмотрел на меня, неохотно вытащил из кармана свернутую в трубку рукопись и протянул мне.

— Зря, наверное... — сквозь зубы произнес он. А сам подумал (как потом мне рассказывал): «Все равно не напечатают, только время проведут!»

... Рассказы Шукшина сразу захватили меня, поразило удивительное умение несколькими штрихами нарисовать героя, применить неожиданный психологический поворот, найти деталь, подчеркивающую характер. При этом не оставляло ощущение внутренней духовной силы автора, его настойчивого стремления заглянуть в глубь души человеческой и выявить без прикрас самую суть этой души. Рассказы обсуждались на редколлегии журнала «Октябрь». Мнения о них не были единодушны. В конце концов было решено: рассказы Шукшина с автором доработать и публиковать. Три рассказа были опубликованы вначале 1961 года и три — в 1962 году. С этого времени Шукшин начинает широко печататься.

При журнале «Октябрь» долгое время существовало литературное объединение молодых авторов. Я входила в бюро, которое руководило работой объединения, и поэтому была тесно связана с нашими «объединенцами». Иногда молодые писатели приходили и ко мне домой то с новым рассказом, то с какой-нибудь задумкой. И обычно у нас организовывалось чтение. Так было и в тот вечер, когда пришел к нам Шукшин. Произошло это зимой 1960 года. Крепкий, коренастый, он вошел в комнату, стянул с головы рыжую потрепанную ушанку и остановился у двери.

— Шукшин, — бросил он коротко и посмотрел испытующе на окружающих.

Молодой автор, начавший было читать свой рассказ, остановился. Все уставились на вошедшего. Суровым и нелюдимым

показался тогда Шукшин. Но мои дети, знавшие его по моим рассказам, встретили его очень радушно, пригласили к столу. От чая Шукшин решительно отказался. Чувствовалось, что и читать что-либо из своих произведений он явно не намерен.

Когда все успокоились, молодой автор продолжил чтение. Все молча, внимательно слушали. Но вот он закончил. Поговорили о рассказе, немножко поспорили. Потом все обратились к Шукшину и стали просить его тоже что-нибудь прочесть.

— Нет-нет — ответил он. — Я лучше еще послушаю его, — указал он на молодого автора.

— Ну, пожалуйста, Василий Макарович, прочтите хоть один из рассказов, которые проходят у нас в редакции, — попросила я.

Шукшин помолчал, потом взял стул, сел в самый дальний угол, к печке, вытащил из кармана тетрадь и стал читать. Прочел один рассказ. Все стали просить: еще, еще... И вот он читает второй рассказ, потом третий... Так и читал он весь вечер негромким, но твердым голосом, прерываемый то отдельными возгласами, то дружным смехом окружающих. Кончил он как-то внезапно: остановился и закрыл тетрадь. Очевидно, долгое чтение было для него непривычным.

— Все! — сказал он, помолчал и, пожав плечами, добавил: — Вот зачитался-то!

И вдруг впервые за весь вечер поднял голову и улыбнулся: почувствовал, видимо, что рассказы взволновали слушателей, понравились... Улыбнулся такой хорошей, доброй, открытой улыбкой, что всем стало как-то просто, радостно, будто пришел в дом свой, родной человек.

Скоро мы очень подружились с Васей. Он стал часто приходить к нам, как говорил, «просто так, посидеть...» Любил вечера, когда мы все после работы собирались дома, читали что-нибудь или рассказывали. Вася приходил и устраивался непременно в углу. А иногда садился почему-то прямо на пол, на корточки, и негромким голосом начинал петь. Он любил песни. Пел разные, больше сибирские...

В семье у нас любили смешное, забавное. А Вася в высшей степени был одарен чувством юмора. Иногда он вдруг загорался и начинал рассказывать смешные случаи из своей жизни.

Дети мои так сдружились с Васей, что все события его жизни переживали, как свои. Однажды сын и дочь объявили мне, что завтра идут во ВГИК на защиту Васиного диплома. Вернулись они веселые, восторженные, переполненные впечатле-

ниями. Наперебой рассказывали, как выступал Вася, какую прекрасную, высокую оценку его работе дал Михаил Ильич Ромм.

— Из Лебяжьего сообщают, что в небе советской литературы и кино взошла новая яркая звезда — Василий Шукшин! — сияя, объявили они. — Един в трех лицах!

Наконец они толком рассказали, что «Из Лебяжьего сообщают» — название Васиной дипломной работы, он сам написал сценарий, поставил его и сыграл одну из главных ролей. Все это было полной неожиданностью: Вася, хотя и говорил, что работает над дипломным фильмом о деревне, ни словом не обмолвился, что он и сценарист, и режиссер, да еще и актер в нем.

В сценарий вошел эпизод из рассказа «Коленчатые валы», который Вася читал нам вслух. Роль тракториста играл Леонид Куравлев.

— Весь эпизод поставлен и сыгран блестяще, — заявили мои ребята.

Их поразило, что и на экране Шукшин сумел найти выразительные средства, чтобы интересно и ярко показать человеческий характер. Когда много лет спустя мне случайно довелось увидеть этот дипломный фильм, я убедилась, что уже в первой своей работе Шукшин заявил себя как талантливый режиссер, хотя она была еще незрелой и во многом несовершенной...

Шукшин часто вспоминал село Сростки, в котором родился и где прошло его детство. Вспоминал, как мать рассказывала ему, что еще в старое время среди неграмотного, забитого нуждой люда встречались особенные, не похожие на других люди. Их считали юродивыми за их необычность называли «чудиками».

— На самом же деле — это интереснейшие люди, — говорил Шукшин. — Есть и на моей памяти такие чудики...

Он вспоминал, что в детстве и юности жил с ними бок о бок, наблюдал изо дня в день.

— Знаете, — сказал он однажды, — они ведь талантливые, эти странноватые люди. В душе у них живет стремление выйти из обыденности, обыкновенности. Сотворить что-то свое — особенное. На удивление и на радость людям. И в каждом из них глубоко сидит артист, художник, словом — творец.

Вот это творческое начало в них и привлекало Шукшина. Ему хотелось поглубже заглянуть в души этих «чудиков», выявить, сделать ощутимым их стремление к творчеству, которое

жило в них помимо их воли и часто оставалось непонятым окружающими.

— У нас в деревне, — говорил Вася, — над такими людьми часто смеялись, считали их дурачками. Жалели их даже... Вот так...

Дороги были сердцу Шукшина эти странные люди. Он писал о них в своих рассказах, повестях, в романе «Любавины». И, наконец, написал сценарий, который так и назвал «Странные люди». Когда я смотрела этот фильм, меня поразило, с каким душевным тактом, теплотой и даже нежностью показал Вася этих людей, с их одаренностью, способностью к творчеству. Способностью, так удивительно преображающей человека, делающей его воистину прекрасным! Я высказала свое мнение о фильме. Но Вася не любил похвал. Казалось, он испытывал при этом даже неловкость. Он только засмеялся и махнул рукой...

Шукшин часто говорил мне, что любит наблюдать, как меняется жизнь, меняются жизненные процессы и в городе, и в деревне. При этом интересовала его не внешняя сторона дела, а внутренняя, духовная жизнь людей.

— Подсмотреть бы, — говорил он, — и узнать душу человека. Проследить за движением этой души! — потом, прищурившись, задумчиво: — И суметь бы сказать людям всю правду о них! Вот что надо-то!

Вася с нежностью и любовью относился к крестьянину, но если видел в нем отрицательные качества, был беспощаден к ним в своих рассказах.

В этой связи мне вспоминается спор, который возник у нас по поводу рассказа «Срезал», где Шукшин жестоко высмеял зазнайство и невежество деревенского мужика Глеба Капустина. Начитавшись книг без разбору (какие попадались под руку), Глеб считал себя высокообразованным человеком и любил «срезать» каждого приехавшего в деревню интеллигента. Конечно, большинство споривших считало, что в рассказе осмеяно невежество. Но некоторых не удовлетворяло, что молодой кандидат наук, с которым «сражается» Глеб, хотя и понимает всю абсурдность его разглагольствований, тем не менее возражает ему очень слабо, не считает нужным дать ему должный отпор. У Глеба Капустина находили даже некоторые привлекательные черты: смелость, напористость. Для разрешения спора позвали Васю. Он выслушал всех внимательно и серьезно. Потом молча прошелся по комнате, что-то обдумывая и слегка,

как бы про себя посмеиваясь. Остановился на пороге и негромко, но очень внятно и твердо сказал:

— Глеб Капустин — невежда и демагог. Ему нет и не может быть оправданий. Никаких. Никогда. Это, собственно, я хотел сказать.

— Ну, что получили! Срезал вас автор! — закричал один из споривших.

— Да, если уж сам автор... — признали другие.

Но одна из присутствующих, женщина очень темпераментная, обладающая и даром речи, и недюжинными литературными способностями, не хотела сдаваться. В молодости она была знакома с Луначарским и теперь с горячностью воскликнула:

— Хотела бы я видеть вашего Капустина, если бы на месте кандидата Кости был Луначарский! Да он бы в две минуты показал всем окружающим, всей деревне, что это за птица такая — Глеб Капустин! Он бы из него мигом кочан капусты сделал!

Вася засмеялся.

— Так ведь то Луначарский! — сказал он. — А в рассказе — юнец зеленый...

Да, это был необыкновенный человек, с сердцем чистым, с великой любовью к жизни, к людям, ко всему, что на земле может быть прекрасным...»

Из воспоминаний Василия Гришаева,
алтайского краеведа

“Об одном лишь, по великой своей скромности, умолчала в своих воспоминаниях Ольга Михайловна: как она прописала Шукшина. Уже в конце жизни, тяжело больная, она рассказала об этом Лебедеву Александру Павловичу — рабочему из города Воскресенска— одному из многочисленных шукшинистов.

«Когда Василия Макаровича после окончания ВГИКа направили на Свердловскую киностудию, он решил остаться в Москве. Ни прописки, ни жилья у него не было... Вот я и решила его приютить. Он у меня прописался и стал жить... Жил, как родной. Сюда к нам и его мама Мария Сергеевна приезжала... Вася-то, он меня второй матерью называл, и я этим очень горжусь».

Вторая мама... Кто хоть немного знает Шукшина, согласится, что такими словами он зазря бросаться бы не стал...”

*Письмо Константиновича Федина,
первого секретаря Союза писателей СССР в те годы:*

"Уважаемый Василий Макарович. Сейчас, получив верстку 9-го номера «Нов. мира», прочитал два Ваших рассказа и после первого сразу схватил перо, чтобы написать Вам — о чем? Только о том, как растроган, взволнован отличной Вашей прозой художника! Думал — похвалою рассказа «В профиль и анфас» ограничусь, но — складывая листы — остановился на рассказе «Как помирал старик» и тоже прочитал, и тоже растрогался.

Знаю, Вы поймете меня: в рассказах нет и тени сентиментальности, да и я никогда не страдал этой болезнью. А трогает, будит чувство разительная верность Вашей речи, воспринятой от героев и словом писателя героям возвращенной.

Я и прежде не один раз дивился Вашему острейшему уменью изображать лица средствами диалога. В мастерстве этом Вы, кажется, совершенствуйтесь все больше.

У меня нет никаких иных целей, кроме желания сказать Вам по-читательски — спасибо за доставляемую радость превосходного чтения. Пишу же Вам, дорогой товарищ, с настоящим удовольствием.

Будьте здоровы и — счастливо идти Вам по нелегкой дороге сочинителя, — да будет она для Вас и долгой и славной.

Конст. Федин

Сентября 25-го 1967 г.".

Ответ В.М.Шукшина Федину:

"Дорогой Константин Александрович!

Знаю, Вы за свою славную, наверно, не всегда легкую жизнь ободрили не одного, не двух. Но вот это Ваше бесконечно доброе — через всю Москву — прикосновение к чужой судьбе будет самым живительным (Приму на себя смелость и обязательство — обещать).

Получив Ваше письмо, глянул, по обыкновению, на обратный адрес и... вздрогнул: «От К.Федина». Долго — с полчаса — ходил, боялся вскрыть конверт. Там лежал какой-то мне приговор. Вскрыл, стал читать... Прочитал первые строчки, стало больно и стыдно, что рассказы мои не заслуживают столь высокой оценки мастера. Захотелось скорей проскочить письмо, и потом помучиться, помычать, и сесть и писать совсем иначе — хорошо и крепко. А потом перечитывал письмо, немножко болело, но крепло то же желание:

писать лучше. Бог с ним, думал, переживу я это письмо, но отныне нигде не совру, ни одно слово не выскочит так..."

Из воспоминаний Михаила Гапова, бывшего редактора сростинской районной газеты «Боевой клич»

"После армии я стал привлекать его к сотрудничеству в газете. Редактировал я ее с 1949 г. Десять лет. Его материалы были наиболее грамотными в литературном отношении построены, править его почти не приходилось. Давали мы ему задания, он выполнял их аккуратно.

Увлекался он больше фельетонами, которые подписывал — Ванька Мазаев. Отличался беспощадностью к недостаткам, иногда замахивался даже на работников райкома партии. Приходилось его урезонивать: газета-то — орган райкома. А он доказывал свое: газета — это газета, она может критиковать любое лицо. Сильно спорили. Он горячий был, нервный.

«Любавиных» он начал писать, наверное, когда пришел с флота, но до сотрудничества в нашей газете. Дал мне почитать. Ему нужен был критик.

Когда я прочитал, поплыли мы с ним на Гилевский остров, чтобы обсудить роман. Высказал я ему свое мнение, которое было нелестным: «Кому нужна твоя автобиография?» — так примерно я закончил. По сути, в том, первом варианте он о себе писал. Он выслушал, забрал у меня последнюю, вторую, тетрадь, посмотрел на меня так, как он умеет смотреть, поиграл желваками и говорит: «Ни хрена ты не понимаешь в литературе». На том и закончилась моя роль критика..."

Из воспоминаний Леонида Чикина, писателя, земляка В.М.Шукшина

"Летом 1964 года — я тогда работал ответственным секретарем в «Сибирских огнях» — в мой маленький кабинет зашел заведующий отделом прозы Б.К.Рясенцев.

— Мне сообщили, — сказал он, — что в «Советском писателе» лежит роман Василия Шукшина. А что если вы напишете ему письмо с просьбой прислать роман нам?

Я ответил, что правильней, наверное, будет, если письмо напишет он как зав. отделом, а я могу подкрепить его просьбу.

Я отправил Василию письмо, в котором среди прочих строчек были такие: «... у нас давно есть желание опубликовать

В.Шукшина, но он нам ничего не шлет, а мы адреса не знаем... Брал я как-то твой адрес у Наташи, писали, но ответа не получили. Письмо, очевидно, затерялось... А после того, как ты получил «Золотого льва», я посоветовал Рясенцеву написать просто: «Москва, Шукшину». Шучу, конечно...»

Роман был получен, прочитан редколлегией. У всех создалось хорошее впечатление, хотя у каждого читавшего были и замечания, требовавшие доработки.

Воспользовавшись случаем, что я еду в Москву по своим личным делам, редакция дала мне рукопись романа «Любавины», что передать ее автору и попросить его как можно быстрее доработать.

Маленькая двухкомнатная квартира. Смежные комнаты. В первой — стол, диван. Во второй — два полудивана, маленький столик, полки с книгами. Тесная, буквально не повернуться, кухня. Позднее я узнал, что многие свои рассказы Василий писал по ночам на кухне. Я заметил, что квартира, пожалуй, неудобная для работы, и удивился: неужели не могли дать попросторнее?

— А мне и не давали, — как-то просто, без нотки обиды сказал Василий. — Это кооперативная. Купил...

Тогда же я познакомился с женой Василия, Лидией Николаевной Федосеевой. Она накормила нас ужином, потом мы с Василием сели за тот же столик, на котором только что ужинали.

Василий неторопливо, даже с каким-то наслаждением, как мне показалось, листал роман, мгновенно схватывал замечания, которые комментировал:

Ну, с этим можно согласиться... Это не имеет большого значения... А почему здесь я должен так писать? У меня правильно. Ну, это просто опечатка, к чему резвиться? Можно же просто исправить... А что это такое? — вдруг спросил он, тыча пальцем в страницу, на которой красовалось очередное замечание.

Жирное двойной чертой на листе было подчеркнуто слово, а напротив него, на полях, с восклицательным знаком утвердительно начертано: «В Сибири так не говорят!»

Я при первом взгляде на лист узнал почерк члена редколлегии, человека уважаемого, хорошо знающего Сибирь, правда, не сибиряка по рождению. Я сделал вид, что мучительно пытаюсь вспомнить, кто же это мог написать, но сказал Василию, чтобы не подливать масла в огонь: «Не узнаю почерк».

— Да он в Сибири-то ни разу не был, а пишет: «Не говорят!»

— Был он в Сибири, Вася. И сейчас там живет, — сказал я, забывая о том, что не должен «выдавать» члена редколлегии.

Но Василий будто не слышал этих слов. Натолкнувшись на одно несправедливое, неприемлемое для него замечание, он разошелся, и не мог остановить себя:

— Не был! Не был! Что — он знает, а я не знаю? Да? — пришла Лидия Николаевна, пыталась успокоить его, но он и ее не слушал. — Все! — он сгреб рукопись со стола, сердито посмотрел на меня, словно я был во всем виноват. — Не дам я роман в ваш журнал. Все! — он с маху швырнул папку под стол; листки бумаги разлетелись по комнате, устелили весь пол.

— Вася, Вася, успокойся, — уговаривала его Лидия Николаевна. — Успокойся.

— Нет, а что они, Лидок?! Он знает, а я не знаю... Все!

Я во время этой вспышки неподвижно и молча сидел на своем месте и, честно говоря, не знал, что делать. Конечно, надо было спасать положение. Но как? Уговаривать? Извиняться за члена редколлегии? Принимать огонь на себя?

Василий тоже сидел, подперев ладонью подбородок.

— Может, вы спать пойдете? — предложила правильный выход Лидия Николаевна. — А утром...

Василий, нервно ломая спички, прикурил, затянулся несколько раз, облокотился о стол, обхватил голову руками и молчал. Потом, будто ничего не случилось, мирно сказал:

— Ты, Лидок, постели нам там, — указал на вторую комнату.

Лидия Николаевна ушла в смежную комнату, а Василий, даже не взглянув на меня, долго ползал по комнате, собирая разлетевшиеся листки...

Утром я вышел из комнаты, где мы спали, когда Василий и Лидия Николаевна были уже на ногах. Я сразу же заметил, что рукопись, кое-как втиснутая в папку, лежала на середине стола. Василий, перехватив мой взгляд, сказал:

— Что-то мы вчера с тобой погорячились. А?

— Да нет. Почему же? Мне кажется, нормально поговорили.

— Да? Ну и хорошо. Я тут, пока ты лежал, посмотрел еще раз. Много верного подмечено, постараюсь учесть, но сразу предупреждаю — не все.

— А кто тебе предлагает все? Сам решай. Ты только скажи, когда пришлешь готовый роман в журнал.

— Ну... Месяца через два. Раньше не смогу.

В начале марта 1965 года он приехал в Новосибирск сдавать «Любавиных» в набор. По утрам, когда в редакции никого не бы-

ло, Василий занимал любой пустующий кабинет. А после обеда, когда собирались все сотрудники, ему негде было приткнуться. Но он умел работать и примостившись на уголке стола.

Я вспоминаю, как однажды он зашел в кабинет с исписанными листками бумаги в руке и, протягивая их Рясенцеву, который тоже был здесь, сказал:

— А если вот так, Борис Константинович?

Рясенцев прочитал:

— А что? По-моему хорошо!

Потом листки передал мне.

— Понимаете, — объяснил Рясенцев, — мы попросили Василия Макаровича добавить, зримо показать место действия, так, чтобы читатель сразу видел, где событие происходит, чтобы вместе с героями побывал в тех местах... Вот он и добавил. Посмотрите.

На листке было написано:

"Сразу за рекой начиналась тайга — молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну... А дальше, к югу — верст за сорок — зазубренной бело-голубой стеной вздымались горы. Оттуда, с гор, брала начало бешеная Баклань, оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед.

Безлюдье кругом великое. И кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие — «горы», «с гор», «в горы», но никогда никто не сказал бы: «за горами». Никто не знал, что там. Монголия, может, Китай — что-то чужое.

Свое было к Северу. Туда и тайна пореже и роднее, и пашни случались, и деревни — редко: правда, — там, где милостью божьей тайга уступала людям землю. Уступила она землицы и бакланским — пашня начиналась за деревней огромной черной плешиной в таежном море, Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани (к районному селу и уездному городку), а на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос..."

— Это ты сейчас написал? — спросил я.

— Да, — Василий, кажется, не понял моего вопроса, вернее, тона моего не понял. — А что? Не нравится?

Я промолчал. В писательской среде не привыкли говорить в лицо друг другу приятные и теплые слова... Выругать надо — пожалуйста, а похвалить...

Отрывок этот, как я помню, без единой редакторской поправки пошел в набор. Позднее Борис Константинович рас-

сказывал, что многие вставки написаны Шукшиным в его кабинете. Как правило, они сразу же принимались. Василий умел оперативно работать, умел дорожить временем — и своим, и чужим...

Запомнился еще эпизод.

Сергей Павлович Залыгин заглянул в кабинет, где я сидел, когда Василий только что вышел.

— Это кто у вас был? — спросил Сергей Павлович. — Шукшин?

Я ответил утвердительно, Он продолжал:

— Вы, кажется, знаете его? Познакомьте меня с ним. — Сергей Павлович присел на диван. — Понимаете, я хочу поговорить с ним о моей повести «На Иртыше», вернее, о кинофильме по этой повести... Он интересно работает. У него хорошо бы получилось.

Я познакомил Сергея Павловича с Василием и оставил их в кабинете вдвоем. Позднее я узнал от Сергея Павловича содержание их разговора. Залыгин предлагал Шукшину сыграть главную роль в фильме, сценарий которого написан по его повести. Вначале Василий настороженно отнесся к этому предложению, потом, уже в Москве, согласился, но фильм по неизвестным мне причинам не был запущен в производство..."

Сергей Залыгин о В.М.Шукшине

"Каждый, кто писал и говорил о творчестве Василия Шукшина, не мог без удивления и даже какого-то чувства растерянности не мог сказать о его почти невероятной разносторонности. Ведь Шукшин-кинематографист органически проникает в Шукшина-писателя: его проза зрима, его фильм литературен в лучшем смысле слова. Его нельзя воспринимать «по разделам», и вот, читая его книги, мы видим автора на экране, а глядя на экран — вспоминаем его прозу.

Мы видим этот щедрый дар природы и необыкновенную личность личностью, а не набором качеств и способностей, видим, что эта личность меньше всего заботилась о самой себе, о том, чтобы проводить в самой себе грани: вот я — актер, а вот я — писатель, я — режиссер, я — сценарист. Забот такого рода мы в Шукшине не заметим, самая их возможность была ему чужда, несвойственна, свойственна же полная естественность и непринужденность в обращении со всеми своими способностя-

ми, как будто только так и должно быть, как будто удивляться этому и даже это замечать совершенно ни к чему.

И это тоже свойство таланта и даже сам талант.

Шукшин принадлежал русскому искусству и в той его традиции, в силу которой художник не то чтобы уничижал себя, но не замечал себя самого перед лицом проблемы, которую поднимал в своем произведении. В этой традиции все то, о чем говорит искусство — то есть вся жизнь в самых различных ее проявлениях, — гораздо выше самого искусства, поэтому она — традиция — никогда не демонстрировала своих собственных достижений, своего умения и техники, а использовала их как средства подчиненные.

Такое умение держаться естественно и просто перед лицом самой трудной творческой задачи, не заботясь о «манере поведения», неизменно оставаясь самим собою, вероятно, лучше других выразил А.П.Чехов, очень сердито отозвавшись о виртуозности искусства, сопоставив одно и другое почти как антиподы.

Вот и Шукшину была не только несвойственна, но и противопоказана всякая демонстрация себя, всякое указание на себя, хотя кому-кому, а ему-то было что продемонстрировать. И опять-таки именно благодаря этой забывчивости по отношению к себе он и стал незабываем для других.

Казалось бы, этот человек должен был обладать самым высоким мастерством перевоплощения из одной своей ипостаси в другую, но так только казалось, в действительности же он обладал неповторимым умением всегда оставаться самим собой. Умением и внутренней необходимостью этой неизменности.

И вот всякий раз, когда мы шли смотреть фильм с его участием, мы встречались не с актером, а с ним самим, с Шукшиным, с тем человеком, который есть он. А глядя на экран, мы чувствовали, что сами понятия «актер», «роль», «игра», понятия, с которыми мы свыклись с детства, которые устоялись в нашем сознании как будто бы навсегда, вдруг нарушаются, становятся странными условностями, опять-таки потому, что перед нами предстает все тот же Василий Шукшин, как таковой, не только без грима, но, кажется, и без игры.

Мне кажется, последние годы жизни Шукшина были таким периодом, когда все, что его окружало, все люди и факты становились для него предметом искусства, касалось ли это ссоры с вахтером в больнице или изучения биографии и деяний Степана Разина. И вот уже каждый сосед, каждый человек, навес-

тивший его в больнице, каждый спутник в поезде или в автобусе — это его герой, его персонаж.

Всегда ли необходимо это для истинного художника или не всегда — другое дело, но для него это так. Для него уже не имеет значения, что может быть иначе, что у художника с годами до предела обостряется чувство отбора таких фактов и событий, которые являются его «собственными», а больше ничьими предметами искусства.

Одно можно сказать — жить среди людей, происшествий и впечатлений, каждое из которых требует своего, причем законного, места в твоем искусстве, каждое, расталкивая все другое, рвется через тебя на бумагу, на сцену, на экран, настоятельно требуя и ропща, — это очень трудно.

Тем более, что конца ведь этому нет, не предвидится, каждый год эти требования множатся и множатся в числе! Собственно, это уже не совсем жизнь, а постоянное и безоговорочное расходование себя на все эти требования.

Да, надо было быть Шукшиным и жить его напряженной, безоглядной, беспощадной по отношению к самому себе жизнью, надо было, просыпаясь каждое утро, идти «на вы» — на множество замыслов, сюжетов, деталей, сцен, диалогов, надо было как бы даже впитывать в себя сегодняшние предметы и события.

Так же как Шукшин без грима играл, так же без грима он и писал. И в литературе тоже ее собственные технологические понятия — сюжет, фабула, завязка, кульминация — как бы не существовали для него, смещались и заменялись одним понятием жизни, и даже не понятием, а ею самой.

У него не было и тени умиления или заискивания ни перед своими героями, ни перед самим собой. Больше того, он был очень суров в отношении и к ним, и к себе той суровостью, которая неизбежна, если писатель знает и понимает людей и не делает особого исключения для себя, если он хочет, страстно желает, чтобы не только им было лучше, но чтобы и они сами тоже были лучше.

А его герои никогда не обижались на него за это. Иначе говоря, они всегда оставались достоверными, убедительными и, выполняя роль героев и действующих лиц, оставались самими собой, живыми людьми..."

Из воспоминаний Василия Рябчикова, друга детства В.М.Шукшина

"После смерти Василия Макаровича, наверно, на следующий год приплыл я как-то с рыбалки. Снимаю мотор с лодки. Смотрю, невдалеке на лодке сидит девушка, спрашивает: «Вы Василий Яковлевич Рябчиков?» — «Да». — «Я хотела бы с вами побеседовать. Я учусь в Московском университете и пишу курсовую работу о Василии Макаровиче Шукшине».

Стали с ней беседовать. Она говорит: «Одно мне непонятно: почему-то у Василия Макаровича во всех рассказах герои — чудики». И так она это сказала: «чудики», что я понял так: ненормальные. Меня это возмутило. Ведь она ничего не поняла в его рассказах: что чудики — это обычные люди, что мы все немного чудики, в то или иное время бываем чудиками. И я рассердился, конечно, и с вызовом ей ответил: «А у нас здесь все такие». Она говорит: «Какие?» — «А так: через дом дурак, а через два — гармошка». Она, наверное, обиделась, потому что вскоре поднялась и ушла.

Василия Макаровича нужно очень внимательно читать: он не ради зубоскальства писал. В его рассказах сама жизнь, обыденная жизнь села. А смешные истории — с нами со всеми бывают. Только мы этого не замечаем.

Я заметил, отношение к Шукшину все время меняется. Сначала многие относились к нему так, как та девушка, теперь таких уже мало. Помню, и в Сростках по-другому, не так, как сейчас, воспринимали его творчество. Ведь когда кто-то из родного села вдруг становится известной личностью, к нему люди начинают предъявлять повышенные требования. А успехи встречают скептически...

Человек он был скромный. Бывая в Сростках, никогда не спекулировал своей известностью, славой. Парадности не любил. Порой даже мало кто знал, что он приехал. Обычно, только самые близкие друзья..."

Григорий Бакланов о В.М.Шукшине

"Василий Макарович Шукшин умер в сорок пять лет, сделав лишь часть того, что он хотел и мог. Но и сделанного им хватило бы на несколько жизней.

В сущности, его ведь не с кем сравнить, Василия Шукшина. И это в нашей-то литературе, где столько ярких дарований, в нашем кинематографе... Он был самим собой. Редчайший дар: быть и оставаться самим собой, единственным.

Кому он подражал, хотя бы в первых своих рассказах? Просто даже не назовешь такого имени, хотя, конечно же, вся великая русская литература, стояла за ним. Только на них-то и мог вырасти такой самобытный талант.

Если уж говорить об искусстве Шукшина, то удивительная его сила как раз в том, что искусства как будто и нет вовсе. Как будто это сама жизнь: так просто все, так естественно, так свободно рассказано, словно бы между прочим. Многим и казалось поначалу, что это не всерьез. Чего-то привычного не хватало. Монументальности? Многозначительности? Позы? Истинный талант не спрашивает, как нужно, как можно. Он прокладывает свой путь. По этому пути еще пойдут, ему будут подражать. Только второго Шукшина не будет.

Вот уж где не было ни позы, ни словечка фальши. Только правда. Глубокая правда жизни, рассказанная просто, со смехом, а то и простовато. О, это дорогая простота, какая под силу только подлинному искусству. Это мудрая простоватость. Насколько она выше, насколько мудрей любой многозначительности.

Вместе с собой Василий Шукшин ввел в искусство целый мир людей. Словно бы не один, а со всей своей деревней вошел в литературу и на экран. Имя ее — Россия.

Многие годы Шукшин готовился к Степану Разину, носил в себе мечту. И я убежден, что если бы он поставил этот свой фильм, то как Чапаев стал для нас таким, каким увидели мы Бабочкина с экрана, так же точно и живой Степан Разин для миллионов сделался бы неотделим от Шукшина. Он словно рожден был для этого подвига. Могучий талант и могучая страсть..."

Из воспоминаний Сергея Викулова,
главного редактора журнала «Наш современник» в те годы

"Последние годы своей жизни Василий Макарович Шукшин был членом редколлегии журнала «Наш современник» , кроме того, одним из тех его авторов, которыми журнал гордится, дружбой с которыми особенно дорожит.

В редакцию «Нашего современника» он пришел сам. Мы даже не пытались приглашать его, потому что знали: Шукшина охотно печатает «Новый мир».

Зашел и оставил целую папку рукописей. Это были рассказы, составившие впоследствии книгу «Характеры».

Потом были новые встречи.

Мы почувствовали очень доброе отношение Василия Макаровича к журналу и предложили ему войти в редколлегию. Он не сразу согласился. Говорил, дескать, едва ли он сможет принести пользу журналу, поскольку редко бывает в Москве, все время занят в кино.

И это было искренне: Василий Макарович не любил мельтешить, значиться и там, и тут, но нигде ничего не делать.

А все-таки мы его уговорили: сказали, что с него будет достаточно, если он все, что напишет, будет показывать в первую очередь нам.

Меня, и всех, кто был знаком с Василием Макаровичем, поражала его удивительная работоспособность и, главное, творческая результативность, которой нельзя было не восхищаться, потому что она просто не укладывалась в представление об обычных человеческих возможностях.

Судите сами: человек одновременно снимался в кино, писал сценарии, «пробивал» их на студии, подбирал актеров и отправлялся с ними то на Алтай, то на Вологодчину, сам ставил фильмы и сам же играл в них главные роли... И в то же время в редакцию «Нашего современника» то и дело приходили переписанные от руки в школьных тетрадях (переписывала его жена Л.Н.Федосеева) его новые рассказы и повести...

— Когда он успевает?! — удивлялись и одновременно восхищались мы.

Но вместе с восхищением нет-нет, да и проскальзывала в наших разговорах еще не осознанная во всей грозной неотвратимости тревога: «ведь он же просто горит, а не живет...» Тем более, что мы знали: здоровье у него неважное....

Повесть «Калина красная», рукопись которой Шукшин принес в редакцию, мне понравилась, и я с радостью сказал: «Будем печатать. Но есть два замечания. Первое — слишком выпирает сценарный каркас. И второе — неудачна, на мой взгляд, не соответствует правде жизни концовка повести».

А повесть кончалась так: в поле, где работал Прокудин, приехали трое из банды и, подозвав его к себе, выстрелили в упор и скрылись безнаказанные.

— Выходит, что зло торжествует! — сказал я. — Это убьет веру в сердцах всех Прокудиных, в возможность вырваться из «малины», стать снова людьми.

— Вы правы, — согласился Василий Макарович. — Но как это сделать?

— Ну, например, так... — начал фантазировать я. — В полях много прямых и окольных путей. Легковая машина бандитов помчалась по окольной, а грузовик — ей наперерез, по прямой, через лес.

— Хорошо, я подумаю, — сказал Василий Макарович.

На следующий день он принес в редакцию новый вариант концовки — тот, который появился вскоре на страницах журнала: Петро, брат Любы, по лесной дороге выезжает на большак навстречу «Волге» и таранит ее.

Однако, прибыв на съемки фильма в Вологодской области и увидев красавицу Шексну и паром на ней, он сразу же решил:

— Вот здесь, у этого парома, Петро и настигнет Губошлепа..."

Из воспоминаний Юрия Скопа, писателя, товарища В.М.Шукшина

"...С Макарычем... чаще всего собеседовали на кухне. Две дочурки-погодки, отцовы любимицы, если не спят, особо от них отвлечься не дадут... Вот на кухне-то и ладно: закрыл дверь, форточку нараспах, курить можно, и почти полная самостоятельность — говори, решай проблемы.

На этой самой кухне Макарыч и прочитал мне один из тех рассказов. Я его сам попросил перед тем: ты только самый лучший который, ладно?

Он рассерьезнел, снял с настенного холодильника здоровенную папку, пошелестел страницами и выбрал чего-то. Надтреснуто так сказал:

"«Жена мужа в Париж провожала». Называется так. Дорогая мне штука. Слушай..."

Слушал. Читает Макарыч без дураков, хорошо. И тут дело не в том, что актер. Написано, как выстрадано. И не выдумано, главное. Макарыч говорил однажды, а потом я эту мысль в статье, им написанной, встретил:

— Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным... Или только нравственным. А вот когда он выдуман, да еще в угоду кому-то, чему-то, тут он, герой, — явле-

ние что ни на есть безнравственное. Здесь — вот, чтоб меня! — задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу... В делах материальных, так сказать, за это судят...

Мне вспомнилось, как однажды вот так вот приехал к нему в Свиблово и долго давил на кнопку звонка: не открывали... Потом я увидел на пороге Макарыча и — не узнал его. Обметанный ночной щетиной, он стоял в накинутом на плечи меховом кожушке и смотрел на меня отстраненными, как бы не видящими глазами.

— Здорово, — сказал я.

Он чуть-чуть ощурился привычным своим пронзительным ощуром.

— Ты чего, не узнаешь? Это я...

— А-а, заходи.

Мы прошли в комнатку его, рабочую, я сразу понял, что он только что от стола. Закурили, Макарыч собрал стопку исписанной бумаги, подровнял и заговорил слегка сердито и немного расстроенно:

— Понимаешь, сидел всю ночь... Рассказ делал. Про мужика одного нашего с Катуни... Он слепарь от рождения. А в войну ходил по деревне песни пел... Разные. Людям тогда такие песни тоже нужны были... про раненых, про любовь солдатскую. Ну, и кормился этим. И понял — дорог он землякам. Артист вроде... Да. После годы прошли, чуть-чуть постерлась война в памяти — двадцать лет прошло... Ну, и прибыла в деревню экспедиция... диалектологическая... так они, что ли, называются? Фольклор записывать, песенки... Мужики и направили на слепаря моего этих приезжих. Те послушали — неинтересно... Вежливость проявили — мол, да... эпоха... И слепец понял все. Что устарел он. Не нужен теперь. Понимаешь? Писал всю ночь и плакал, и смеялся вместе с той деревней... Утром Лида проснулась, я ей читать... Она слушает и не смеется, не плачет... Обозлился я. Может, графоман я? Или дурак, а? Нет, ты скажи — я тебе сейчас рассказ этот прочитаю... Может, действительно я писать не могу, а?..

Он прочитал рассказ. И к финалу у меня защемило внутри.

— Ну как?

— Грустно... — сказал я Макарычу. — Очень грустно.

Он успокоенно мотнул головой, пошуршал ладонью по лицу.

— Это хорошо. Ага. Я, знаешь, чего заметил? Когда ночью пишешь — борода быстрее растет, а? Ты не замечал?..

Настоявшись возле окна, Макарыч заговорил:

— Вот так... Что-то у меня герои мои другими стали... Спотыкаются. Им же все Пашку Колокольникова подавай. Да я его и сам люблю. Без них. Но ведь и другие парни по Руси живут. Живут же? А?.. Я тут недавно письмишко получил, оно враз на Комитет, студию и меня. Лично... Пишет в нем человек: «Сколько можно тратить государственные деньги на такие бессодержательные и бессюжетные фильмы, вроде «Странных людей»? Ты понял? Так и садит черным по белому — «бессодержательные и бессюжетные».

Когда Макарыч нервничает, начинает ходить. В «транзисторной» кухне — не разбежишься — два шага всего получается. Но делает он их мягко, смотрит куда-то перед собой, сквозь прищур, бороду теребит... Отросла за последние пару месяцев бородища — ладная, под глаза, разинская, с проседью. Шибко ждет того дня, когда прозвучит наконец команда «Мотор!» режиссер Василий Шукшин. Мается... Думает. Много думает... Работа предстоит гигантская, картина трилогией замышляется, что охватно и вольно обнимет историю легендарного крестьянского волнения семнадцатого века. Для такого замаха, если учесть уже имеющиеся романы и прочее про Стеньку, мало ощутить одну только ответственность. Для Макарыча в Разине — вся жизнь. Он эту работу выводил на уровень ГЛАВНОЙ.

Актер, режиссер, драматург, писатель... Кое-кому это непонятно и раздражает. Слыхивать приходилось разговоры, в которых судят его за данное «многостаночие». Неправильно судят. Не по уму... Макарыч, сам с собой, во всех перечисленных ипостасях — единомышленник. Одно лишь дополняет другое, образуя и объемность, и глубину... Тем не менее интересовался у него:

— Ну, а кто же ты больше всего?

Писатель. Только, если по правде, им мне быть больше хочется, чем есть... И нервничаю, когда нехорошо обо мне сомневаются, — когда это, мол, человек успевает все!.. Ничего же особенного. Работать надо непрерывно. Непрерывность — хорошая штука. Всегда в форме, и сегодня можно доделать, додумать вчерашнее... Только не терять форму. Меня иногда вышибает из формы...

Однажды ночью — в пору тревожного оканчивания Макарычем работы над странным по своей судьбе фильмом «Странные люди» — я остался у него в Свиблове. Было тихо За окном шел снег. Шукшин сидел на кровати в белой рубахе. Посмотрел на меня как-то... прорубно (иного тут слова не подберешь) и заговорил:

«Ни ты и ни я Львами Толстыми не будем. Мы с тобой уйдем в навоз. Только ты вот чего должен понять... Только на честном навозе может произрасти когда-нибудь еще что-то подобное Льву Николаевичу. Только на честном!»..”

Из беседы Василия Белова с корреспондентом журнала «Студенческий меридиан» О.Чечиным

Белов: Эту ситуацию хорошо помню. Фотография сделана во время съемок фильма «Калина красная» в нашей Вологодской области. Я тогда приезжал к Шукшину в Белозерск. Просто захотелось повидаться. У меня как раз вышла книга «Холмы», и я привез ее Василию Макаровичу в подарок.

Это было летом 1973 г. Мы тогда провели вместе целые сутки. Посмотрел, как он работает в кино... Но вообще-то я не очень одобрял увлечения Василия Макаровича кинематографом, и у меня с ним были большие споры из-за этого.

Корр.: Ведь он был уже актер и режиссер, и не только специалистами признанный, но и очень многими людьми — кинозрителями.

Белов: Вот и у него было такое же оправдание: мол, в кино можно сразу говорить с миллионами людей. «Ну, хорошо, ты один раз поговоришь — и все! — отвечаю. — А книга работает и живет века!..» Он потом стал со мной соглашаться. Особенно после того, как получил письмо от Леонова. Леонид Максимович возмущался, что Шукшин транжирит себя на кино, и советовал ему писать, писать и писать! Василий Макарович признавался, что он немножко растерялся после этого письма. Ему в последний год жизни и самому хотелось оставить кинематограф. Но как оставить?

Корр.: И все-таки было бы жаль, если бы кинематограф потерял Шукшина.

Белов: Видите ли, мои симпатии тут не на стороне кино. Я считал, что кино — это синтетическое искусство, но в случае с Шукшиным оно, наверное, может быть настоящим искусством, поскольку он сам и автор сценария, и режиссер, и актер. Случай довольно редкий. Но все равно я уговаривал его бросить кино и заняться всерьез только литературой. Он в общем-то соглашался и говорил: «Вот закончу “Стеньку Разина” и все, больше ничего в кино делать не буду!»

Корр.: Что вам особенно дорого в Шукшине — писателе?

Белов: Искренность совершенно кристальная! Он свой стиль в литературе создал: короткий и емкий, стремительный. Шукшина ни с кем нельзя спутать. И язык у него сочный, образный, он прекрасно знал народную жизнь. Кинематограф откладывал отпечаток и на его книги. Вот тут только его влияние, я считаю, благотворно, но — у него обрывистые диалоги, живые картины, короткие динамичные рассказы. Конечно, это был феномен ив литературе. Но в кинематографе, пожалуй, даже больший. Если в русскую литературу и раньше приходили выходцы из народных толщ, то в кино Шукшин это продемонстрировал впервые. Он принес совершенно новую струю и совершенно новый взгляд на кинематограф. Ему чужды были формалистические поиски, его новаторство в кино опиралось на крепкую народную почву. Он прекрасно знал, что и для чего хотел делать. Жаль только, не все успел.

Корр.: А как вы с ним познакомились?

Белов: Я тогда учился в Литературном институте имени Горького в Москве, совершенно случайно прочитал книгу Шукшина «Сельские жители». В этой книге мне все показалось таким близким и знакомым, что я не выдержал и написал автору письмо. Я никому раньше не писал писем, а тут взял да написал. А он мне ответил — прислал короткое письмецо (длинных писем он не любил писать). Поблагодарил за добрый отзыв о книге. Помню, в этом письме были еще его слова: «Ты мне слишком большой аванс выдал!» Я очень восторженное письмо написал!..

Корр.: А что вас привлекло в ней?

Белов: Главное — у нас оказался сходный взгляд на деревню. Схожими оказались и наши биографии.

Наше детство совпало с войной, обоим довелось узнать голод и горе. С учением у нас тоже не сразу получилось — не было аттестатов за среднюю школу. Мне пришлось помогать матери растить пятерых моих братьев и сестер, да и школа-десятилетка была за 60 километров от дома. Потом — долгая военная служба (у меня — в войсках связи Ленинградского военного округа, у него — на Черноморском флоте). Ну и, наконец, у нас обоих было много всяких приключений, прежде чем мы занялись литературным трудом...

Спустя месяц или два после моего письма Василий Макарович зашел как-то в наше студенческое общежитие, к знакомому, приславшему ему сценарий, и случайно узнал, что здесь же живу я. Кто-то из ребят постучал ко мне и назвал номер

комнаты, куда меня попросили зайти. Я пошел туда, а там сидит незнакомый мне человек, скорее похожий на солдата или грузчика, чем на писателя или режиссера.

Шукшин тогда работал над фильмом «Живет такой парень». Он запомнил мое письмо и захотел со мной поближе познакомиться. С того дня мы часто встречались. У него были трудности с жильем, а в моей комнате соседняя койка как раз была свободной. Однажды он целую неделю жил в нашем общежитии.

А потом, после Литинститута, приезжая из Вологды в Москву, я обычно останавливался в его квартире, которую он приобрел в Свиблове. Мы встречались с ним почти каждый месяц и даже несколько раз порывались улететь вместе на его родину — на Алтай. Но каждый раз у нас эта затея не получалась. Однажды мы уже взяли авиабилеты, но самолет не полетел! Потом выяснилось, что на наш рейс не хватило пассажиров и его отменили. Вот не судьба!

На Алтае я уже без него побывал. Посмотрел его любимые места, посидел на берегу Катуни, о которой он так много рассказывал, встретился с его матерью и родственниками. Но уже без него. Он для матери в последний год своей жизни купил новый дом в своей деревне и сам привел в порядок крыльцо и террасу. Теперь в этом доме музей Шукшина, а вот дом, где прошло его детство, к сожалению. Еще не взят под охрану.

В мою же родную деревню Тимониха Василий Макарович приезжал несколько раз. Как-то, помню, не было транспорта, и мы километров двенадцать прошли вдвоем по тайге пешком. Помню, как он сидел у меня в доме на печке с лампой и читал. Никогда не забудутся и наши дружеские споры.

Из воспоминаний Ваниамина Каверина

“Я не отношу Шукшина к «крестьянской прозе», потому что не понимаю этого тематического определения. Оно пришло в нашу критику под влиянием издательских планов. В самом деле — можно ли назвать «крестьянскими» «Поликушку» или «Власть тьмы»?

Проза Шукшина тем и хороша, что город и деревня остро и оригинально перепутаны в ней. Городские или даже газетные выражения в разговорах колхозников встречаются на каждом шагу — и это производит впечатление свежести и правдивости, потому что в наши дни на таком языке говорит страна...

Не пропуская ни одного произведения Шукшина, я, к сожалению, почти не встречался с ним и не знал его лично. Он

прислал мне с сердечной надписью свою книгу «Характеры», я отдарил его своим романом «Перед зеркалом».

«Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость — сестра таланта. Любовные объяснения. Измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны, — писал Чехов старшему брату. — Сюжет должен быть нов, а фабула отсутствовать».

Здесь каждое слово ведет к прозе Шукшина. Он писал короткие рассказы о мелочах, не заслуживающих на первый взгляд никакого внимания. Он отменил подробности в портретном изображении героя. Жизнь состоит из мимолетностей, случайностей, обрывающихся впечатлений. Он остановил мимолетность и сумел придать ей характер явления. Он не зализывал, не шлифовал и был неуклюж и дерзок. Его искренность была трогательной, воинствующей и нежной..."

Из выступления Валентина Распутина на Шукшинских чтениях

"Даже и слава его требует уточнения: она не есть нечто навязанное со стороны, когда от многократного назойливого склонения имя невольно застревает в мозгу. Нет, она есть результат внутреннего отзыва каждой души на явление Шукшина, результат огромной, не часто случаю л л де по отношению к художнику любви к нему. Для этого мало быть замечательным писателем и замечательным актером и режиссером кино, для этого надо значить для множества читающих и думающих людей нечто большее.

«Будь человеком...» Все, что сделано Шукшиным в искусстве, освещено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех, кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последнее десятилетие такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывался в каждую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте..."

Из воспоминаний Сергея Герасимова

"Нас познакомил человек, которого нет сейчас в живых, и не было в живых и тогда. Нас познакомил Фадеев. Нет, не в спо-

рах о «Разгроме» или «Молодой гвардии» началась наша дружба, вовсе не так. Просто Шукшин был удивительно похож на Фадеева. Словно появившись из другого времени, ходил он по-фадеевски в гимнастерке и галифе, подпоясанный тонким ремешком, сильно выделяясь на фоне пестрых, современно одетых вгиковцев. Это сходство, как ни странно, решило наши отношения. Василий Макарович стал бывать у меня дома. Его суждения были оригинальны. К нему не прилипала городская самоуверенность, он не стремился к стилю жизни, который называют подозрительным словом «современный». Иногда он приходил грустный, сердитый и на вопрос, что произошло, отвечал в таких случаях почти всегда одинаково:

— Сбивают...

— Кто сбивает?! Куда?

— Да ну... Сбивают!

Это значило, что Шукшин побывал в какой-то компании, где не принимали его «почвенного» направления и пытались подравнять под «городские вкусы». Он их не отвергал, но и не принимал.

Читал много, жадно. К концу жизни у него собралась огромная библиотека. Успевал читать в автобусе, в трамвае, даже на ходу, шагая по тротуарам и задевая прохожих. Писал, кстати, так же, как и читал, — легко и всегда. Когда мы снимали на Байкале картину «У озера», я постоянно видел его с небольшой записной книжкой. Такие книжки обычно заполнены заметками, что нужно купить, памятки типа «не забыть отправить письмо...» Он писал в ней рассказы. И тут же читал их — вечерами после съемок. Я поражался этой огромной способности к творчеству. Как он умудрялся в обстановке съемочной площадки, где через его голову раздавались какие-то голоса, команды, рядом вечно перетаскивается оборудование, отключаться от всего и писать?

Что отличало литературный труд Шукшина?

В литературе он видел наиболее прямой и непосредственный способ объясниться со своим читателем по поводу событий, взволновавших его душу. И потому его письмо отличалось необыкновенной легкостью и свободой — как в выборе темы, материала, так и в форме художественного выражения.

Шукшин быстро завоевал читателя, а вместе с ним и зрителя, именно потому, что стремление к открытому сближению с народом пронизывает все его искусство и стало как бы главной примечательной чертой судьбы художника.

Он никогда не унижал человека снисходительностью всезнайства. Будучи художником необыкновенно жадным к постижению мира, в постоянном и последовательном самообразовании он успевал откликаться на каждую черту нашего времени, которая могла бы для многих людей оказаться незамеченной в сутолоке будней. Выйдя из сибирской, алтайской деревни, он глубоко и тонко понимал природу современного крестьянина. Само это понятие, уже несколько архаическое в нашей жизни, открывалось ему отнюдь не в традиции деревенской патриархальщины, а во всем том удивительном многообразии, которое отличает современное деревенское общество. Люди, живущие разносторонними интересами современного мира, ему, человеку, любящему деревню, открывались со всей их глубиной и противоречиями.

Литератором он был по главному призванию, и кинематограф, по-видимому, постепенно уступал свое первое место литературе. Для развития родной литературы он сделал бесконечно много. Он шел дорогой самой сложной —в смысле того, что никогда не уступал права и обязанности писателя раскрывать жизнь в ее реальных процессах и измерения. Он не отвлекался в сторону абстрактного и часто наигранного искусственного пафоса, не укрывался от сложностей литературного труда некоей готовой сюжетной конструкцией, которая сама по себе может заинтересовать читателя остротою или причудливостью интриги. Он относился к своему делу, как крестьянин к хлебу — главной, важнейшей основе жизни и труда. И персонажи его многочисленных рассказов — люди, взятые из окружающей жизни, любовно раскрытые со всеми особенностями их натуры. Он давал им ту неограниченную свободу в поступках, в рассуждениях, которые были свойственны этим людям в самой действительности, да и ему самому среди них. Он не перестраивал своих героев, не подравнивал под сложившиеся канонические мерки литературных типов и ситуаций. Он рассматривал их с документальной точностью, а у читателя и зрителя складывался образ с глубокой художественной перспективой.

Отбрасывая всяческие литературные клише, он, может, порой и озадачивал редактора необычностью фразы, какой-нибудь местной поговорочкой, удивительностью родного сибирского речения, и это тоже было очень важной и драгоценной особенностью его литературного труда, так как выровненность языка, его безликая всеобщность, всегда стояли на

пути литературы к ее развитию и совершенствованию. Бесконечно любя русский язык, он знал цену слову.

Он был искренен, непосредствен, приветлив к людям и влюблен в свое искусство. Доверительно влюблен, так как верил, что если к нему, к искусству, отнестись хорошо, честно, то оно тебе тем же и отплатит.

Он как никто понимал, что надо не подражать, не подделываться, не мимикрировать «в духе времени», а делать так, как требует поставленная нравственная и художественная задача.

А задача была всегда одна — сблизиться со своим читателем, зрителем, взволновать его, растревожить, добраться до его сердца и оставить там по возможности след, заставив задуматься, поразиться и сочувствовать вместе с ним тому или иному явлению жизни, мимо которого любой может пройти мимо, а настоящий художник не пройдет — заметит и другим покажет.

Шукшин умел смотреть и умел видеть. Он видел справедливость и зло, видел людей жадных и широких, замкнутых и отзывчивых, холодных и пылких. Все это становилось предметом его писательского интереса. В этом смысле творчество Шукшина глубоко в традициях русской литературы. Ему была страсть к анализу. Скажем, невероятный по силе рассказ «Обида», показывающий всю глубину его дарования, я могу сравнить только с «Много ли человеку надо?» Толстого.

Он был справедливым человеком. Сила его как художника как раз и была в жажде справедливости, в неустанном поиске ее. И читатели верно поняли этот нерв его творчества. Думаю, в этом разгадка его поразительной популярности, того нравственного авторитета, который он имел и в зрительской, и в читательской аудитории.

Иной художник порой невольно скатывается к схеме. Шукшину, к счастью, это никогда не грозило. Он весь был антисхемой. Каждая его вещь удивительна, каждая — чем-то феноменальна. Но все описанные им феномены, все странности людей самому Шукшину вовсе не казались странностями, а представлялись необходимыми чертами, естественно свойственными их натуре, — вот так они поступают, так говорят, вот так сложились отношения между отцом и детьми, между мужем и женой, между пьяницей и трезвым, между подростками в пору их первой любви. Его интересовало все, ко всему надо было только присмотреться и обязательно хорошенько рассмотреть.

Удивительны были его способность разглядывать и нежелание «вязать» явления по законам схемы, ограниченной рамками заранее придуманного плана. Нужно было только довериться жизни — и пошло, пошло, сразу появлялась сюжетика, и персонажи начинали шевелиться и действовать по той причине, что все на самом деле ведь именно так и было!..

Его волновала жизнь человеческая — и у нас, и не у нас. Она полновала его, поэтому он интересовался всем жадно и рассуждал обо всем, я бы скащал, с огромным личным интересом. Беседы, проведенные с Шукшиным, я вспоминаю с наслаждением по той причине, что у него всегда присутствовало желание что-то еще до конца не понятое понять. Всему и всегда он находил какое-то свое объяснение, часто — очень ироничное в том смысле, что вот, мол, как оно выглядит на первый-то взгляд, а давай-ка взглянем на дело с другой еще стороны — ведь иначе покажется.

Из воспоминаний Георгия Буркова, друга В.М.Шукшина

“Как-то Шукшин спросил меня: «А ты знал, что будешь знаменитым?» — «Нет». — «А я знал...»”. Вот эта черта его характера — он точно представлял, кем хочет быть, что сделать — оставляла впечатление о нем как о человеке очень цельном, сильном. Как ни громко это звучит, но по моему твердому убеждению Шукшин был рожден духовником. Быть может, оттого его творчество так пронизано полемикой потаенной, пересматривающей все обыденное, привычное. Он переламывал то представление о жизни, которое существовало до него. «В каждом человеке, свалившем камни в Енисей, я вижу героя. А вы его отрицаете! — писал Шукшин в ответ на статью “Бой за доброту”. — Вы требуете каких-то сногсшибательных подвигов (они — каждый день, но не в атаке: атак нет)».

Когда Шукшин делал в литературе свои первые шаги, ему безоговорочно поверили — уж слишком он все заземлил и через это протащил... По первому снегу глянули и пристроили в загончик «деревенщиков», потом встрепенулись, посмотрели, а там целина, под снегом-то. Пахать ее еще да пахать, потому как Шукшин — философ народный от макушки до корней. Вроде читаешь — смешно. Раз, другой прочтешь, глядь — заковырка, правду сказал. Слово важное, и тут же ирония, усмеш-

ка — вроде как дело шутейное, пустяк. А Шукшин кожу снимает, шелуху разную, чтобы до истины докопаться. Он как-то очень точно ноту взял. Ведь существует изобилие литературы, но очень не просто писателю постигнуть нравственное, социальное течение жизни, по-русски выговорить, решать мировые проблемы, через глубоко национальное выйти на интернациональное.

В войну у нас в Перми на базаре появились народные певцы: солдаты возвращались с фронтов — раненые, слепые, без ног. Возвращались с трофейными аккордеонами, губными гармошками, ходили по базару, пели — судьбу сказывали. И песни — это не что иное, как искусство, только народное искусство. Война разнолика, и горе было не на одно лицо, народ его зафиксировал, переложил в песни.

И шукшинские рассказы — вся его проза — очень близки по духу к тем военным-послевоенным самодельным песням — в них через духовное раскрывалось гражданское, через нравственное — социальное. Они похожи даже по своему строению, как похожи на них старые русские народные драмы, сказки, сказания. Нет завязки, экспозиции — сразу события начинаются. С ходу. Шукшин не мог елозить, ему не терпелось: «И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка». Проза Шукшина начинается как бы с середины — одна фраза, и мы уже оказываемся среди героев. Помните: «Любавиных в деревне не любили».

Скажем, любопытнейший герой из «Штрихов к портрету». Живет в райцентре, написал трактат «О государстве» — семь или восемь тетрадок исписал, все над ним потешаются, издеваются, а он свое гнет. Когда дело до милиции дошло, то начальник — единственный, кто поинтересовался, что в этих тетрадях написано, — открыл одну и прочитал: «Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету... я с грустью и удивлением стал спрашивать себя: “А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству!” Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет кирпичик в это грандиозное здание... Прочитал милиционер эти слова, подумал и взял с собой тетради домой — познакомиться. Выходит, не зряшным делом мыкался гражданин Князев, страдал, терпел унижение. В отчаянии крикнул, когда по улице вели: “Глядите Все глядите, Спинозу ведут!” Вот и выходит, что вроде шут гороховый, а на самом деле — философ, и трактат о государстве — не выдумка, а стоя-

щее дело. Ведь только вдуматься: Если бы каждый на своем месте...» Слова-то простые, живые, и мысль глубокая, народной мудростью рожденная.

Стремление через обыденное раскрыть философию жизни — качество всей нашей русской литературы. Задумал, скажем, Гоголь написать «Записки сумасшедшего музыканта», а пришел к чиновнику, к «Запискам сумасшедшего». Потому что в одном случае — это только музыкант, интеллигент, а во втором — мелкий чиновник, и такие страсти живут в этом человеке, так что это уже революционное событие, уже — «король Испании». Шукшин пришел в литературу с пониманием, что значит маленький человек. Рассказ «Кляуза» — продвижение как раз по этой линии, крик души — в мелочи подметил явление. Потом возмущались, протесты писали. А старушка эта, которая раньше по полтиннику брала, сейчас, быть может, уже по рублю берет — она стала популярной, знаменитой: «Вон, идите к шукшинской старушке — она пропустит». Это действительно рассказ — начистоту, как есть, так все и сказано.

Его трагизм — глубоко русский, лишенный кровопролитных шекспировских страстей с «летальным исходом». Как и великих предшественников — Гоголю, Чехову, — его всю жизнь преследовали одни и те же образы, только менялся облик.

Однажды, поздно вечером, разговор зашел о «герое нашего времени». Кто они — Печорин, Онегин, Обломов? Каждый из них — порождение современной им жизни. Не обязательно положительный, но прекрасный в своей правдивости тип. «Кажется, я тоже созрел написать такого человека». «Какого?» — не понял я. «Демагога». Я разочарованно хмыкнул: мол, было, опять фельетонный антигерой. «А вот не угадал. Хочу написать про то, как демагогия вошла в человеческие чувства». Оказалось, замысел полон подробностей, прорисовывается любопытный тип наших дней. «Кто такой Зилов у Вампилова? Демагог чувств. Грозится покончить с собой — и остается жить. Да еще упрекает... Странный человек: все может перевернуть, как захочет — и так и эдак».

Изредка (это было во время съемок фильма «Они сражались за Родину»), выбираясь в станицу, мы устраивали настоящий набег на книжные магазины. Рылись на полке, в подсобке, хватали все подряд. Он откладывал не глядя, потом листал сразу несколько. При этом ревниво поглядывал на меня: не обогнал ли его в азарте? Если видел, что у меня меньше, глаза вспы-

хивали победно: дескать, мой угол лучше, жила более золотоносная. «Дома», на пароходе, происходил нервный обмен. Прежде чем расстаться с книгой, долго вертел в руках, комментировал, пересказывал так, будто сам только что сочинил. Листал как-то «Шинель», говорит: «Слышал? Говорят Башмачкин жив». Вдруг стал раздраженным, зло захлопнул книгу и ушел к себе. «Там уже все написано, а я время теряю».

Он был изнутри, глубинно образованным человеком, по-настоящему знал литературу, историю. Но знание то было «секретом» — не на поверхности. Никогда не употреблял модной искусствоведческой терминологии, стеснялся слов и всегда находил простой эквивалент.

Он очень болезненно переживал не терпящий возражений ярлык «деревенщик». Страшно возмущался, когда его так называли: «Будто загнали в загон, мол, не высовывайся. В деревне 80% населения раньше жило, ну сейчас поменьше, а все 100% — оттуда, так ведь это все не деревня, а народ. Какие же деревенщики. Мы — народные писатели», — переживал Шукшин...”

Евгений Евтушенко

Галстук-бабочка на мне.
Сапоги — на Шукшине.
Крупно латана кирза.
Разъяренные глаза.
Первое знакомство.
Мы вот-вот стыкнемся.

Придавил меня Шукшин
взглядом тяжким и чужим.
Голос угрожающ:
«Я сказать тебе должон —
я не знал, что ты пижон —
шею украшаешь!»

Грязный скульпторский подвал.
И бутылка — наповал.
Закусь — килька с тюлькой.
Крик:

«Ты бабочку сыми!
Ты — со станции Зимы,
а с такой фитюлькой!»

Галстук-бабочку свою
я без боя не сдаю.
Говорю, не скисший:
«Не пижон я —
ерунда!
Скину бабочку, когда
сапоги ты скинешь».

Будто ни в одном глазу,
стал Шукшин свою кирзу
стаскивать упрямо.
Не напал на слабачка!
И нырнула бабочка
в голенище прямо.

Под портянками он бос.
И хохочет он до слез:
«Ты, однако, шельма!»
Хорошо за коньяком,
если ноги босиком
и босая шея!..

Мы в одну прорвались брешь.
Каждый молод был и свеж.
Это все — бесследно.
Боже мой, как все легко,
если где-то далеко
слава, смерть, бессмертье!

Произведения 70-х годов

ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

В чайной произошла драка.

Дело было так: плотники, семь человек, получили аванс (рубили сельмаг) и после работы пошли в чайную, как они говорят, — посидеть. Взяли семь бутылок портвейна (водки в чайной не было), семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по три, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть, с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок: надо его делать плотникам или это уже столярная работа? Упустили-то сельповские, заказчики, а плотники тогда промолчали (бригадир у них в этом деле дока). Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже, они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее, и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали «на дыбошки»: прилавок — не наше дело! То есть они могут, конечно, его сделать, но за это — отдельная плата.

— Я им справочник покажу, — с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца. — Я их носом ткну, где написано черным по белому: какие работы плотницкие, а какие столярные. Они же ни бум-бум в этом.

Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один

свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной, толковали...

Но это — потом. Сейчас они говорили:

— А если бы, значит, так: им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок?

— Да любой прилавок! Это же особая работа...

— До чего ушлый народ пошел! Эдак они нас заставят и рамы вязать!

— Наше дело теперь: настелить пол, окосячить, навесить двери — и все, точка.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Еще, что ли, по одной?

— Давайте.

Скинулись, взяли еще семь бутылок.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Ну? Ну? Ну?

— Да не «ну» — слушай! Я рубил баню Дарье Кузовниковой...

— При чем тут Дарья? То — частное лицо, а то — организация: сравнил...

— Я те к примеру! Ты слушай сюда!..

— Долбо...

— Мужики, перестаньте лаяться! — крикнула буфетчица. — А то выставлю счас всех!.. Распустили языки-то.

— Ты слушай сюда!

— Ну!

— Гну! Если бы не женщина тут, я б те сказал...

В общем, беседа приняла оживленный характер: сельповским здорово перепадало — за наглость и вероломство.

Тут в чайную пришел Аркаша Кебин, по прозвищу Танцующий Шива.

Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе «портвяшку», котлету (поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать), сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору... И сказал громко:

— Хмыри!

Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку.

— Трепачи, — еще сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос. — Проходимцы.

Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно! Даже с Аркашкиным языком и то—на семерых подвыпивших так говорить... Что он, сдурел, что ли?

— Это я вам, вам, — сказал Аркашка. — Бедненькие — обманули их. Вас обманешь! Тот еще не родился, кто вас обманет. Прохиндеи.

У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся.

— Недоумеваете, почему прохиндеями назвал? Поясняю: полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором: не вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы — вроде вас обманули. Нет, это вы обманули!

— Да? — спросил бригадир. И это «да» было — растерянность, никак не угроза. Беспомощность.

— Да, да, — Аркашка отдавил бочком вилки кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот — очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом (так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников) — не прожевав, продолжал говорить: — Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно, но где же правда, товарищи?! — Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила — правда: зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев. — Стыдно, товарищи. И, главное, сами сидят возмущаются! Видели таких проходимцев? Ну, ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? — Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять. — Ведь вы на этом же самом месте похохатывали... — но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа — ломанет. — Ванька!.. Поставь бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!

Плотники обрели дар речи.

— А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку, — иди к нам, Аркашка.

— Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам.

— Пусть он поставит бутылку.

— Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркаша.

Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную грабастую лапу и поймал Аркашку за грудки.

— А-а, Шива!.. На понт берешь, да? Счас ты у меня станцуешь. Танцуй!

Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... это не рука, березовый сук с пальцами.

— Брось... — с трудом проговорил Аркашка.

— Танцуй!

— Отпусти, дурной!..

— Будешь танцевать?

Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает!.. Руками! А то — сам стоит, а голова танцует...

— Голова?

— Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит.

А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем.

— Будешь танцевать?

Чудовищные пальцы сжались туже.

— Буду... Отпусти!

Ванька отпустил.

— Гад такой. Обрадовался — здоровый? — Аркашка потер шею. — Распустил грабли-то... Попроси по-человечески — станцую, обязательно надо руки свои поганые таращить!

— Не обижайся, Аркашка. Станцуй вот для человека — он никогда не видел. Ванька больше не будет.

— Станцуй, будь другом!

Аркашке набухали стакан из своих бутылок.

— Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?

— Пусть танцует.

Аркашка оглушил стакан.

— Зараза, — сказал он с дрожью в голосе. — Еще руки распускает... Для всех станцую, а ты — отвернись!

Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.

— Станцуй, Аркашка. Ванька, отвернись, — Ваньке подмигнули. — Отвернись, кому сказано! Чего ты, в самом деле, руки-то распускаешь?

— Нашелся мне, понимаешь... — Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку. — Губошлеп. Три извилины в мозгу и все параллельные.

— Ладно, Аркашка, станцуй.

— Отвернись! — прикрикнул Аркашка на Ваньку.

Ванька сделал вид, что отвернулся.

Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал...

Как он танцует, Шива, — это надо смотреть.

Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки — это свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так, больше слабый Аркашка не мог никак.

— Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди! — объявил Аркашка.

Это — название танца; Аркашка разрешил:

— Ванька, гляди! Можно глядеть! — и начал.

Дал знак воображаемым музыкантам, легкой касательной походкой сделал ритуальный скок... И опробовал половицу покрепче — надежно. Выдал красивое, загогулистое колено, еще, еще — это он показал, что как все-то пляшут — он так умеет. Он умел еще иначе. Он посмотрел на Ваньку... Сделал ему гримасу, показал его, заинтересованного губошлепа... Потом потянулся, сонно зачмокал губами — Ванька проснулся утром.

Плотники засмеялись.

Аркашка проковылял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы — Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать — жадно, много, безобразно... Отвалился от стола, стал икать...

Плотники опять засмеялись.

— Сука, — прошептал серьезный Ванька.

Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено — конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит на небо, чешется... Нашел даже вшу под рубахой, убил.

— Падла, — сказал Ванька. — У меня сроду вшей не было. Даже в войну...

— Тихо, — попросили его.

— А чего он выдумывает!

— Тихо!

Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, напрягся так, что лицо перекосилось...

Плотники хохотали.

Ванька хотел было встать, ему не дали.

Аркашка мучился на полу...

Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал... Взял гвоздь и забил правильно.

Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое — Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал: теперь полгода будут помнить, как «Ванька дергал гвозди». Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.

В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина... Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это — что Аркашка подмигнул — доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правой хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех.

— Он, сука, видел, как я работаю?! Он критикует!.. Он видел?

— Што ты, што ты — шуток не понимаешь. Уймись!

— Вам шутки, а мне в глаза будут тыкать. Пусти!..

Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого... Все повскакали.

Аркашка на всякий случай отбежал к двери.

— Хаханьки строить? — орал Ванька и еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене.

Аркашка сверкающими глазами смотрел на все.

— Так их, Ванька! Так их!.. — вскрикивал он. Его не слышали.

Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки...

— Зовите милицию! — заблажила буфетчица. — Они же побьют здесь все!..

— Не надо! — крикнул Аркашка. — Не надо милицию!

— Ша! — сказал вдруг нездешний бригадир. — Ша, пацаны... я валю этого бычка.

Бригадира услышали.

— Кто, ты? — удивился Ванька. — Ты?

— Отошли, пацаны, отошли... Я его делаю, — бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился.

— Иди, падла... Иди.

— Иду, Ваня, иду.

— Иди, иди.

— Иду, — бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет.

— Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю...

— Та какой я боксер! — бригадир остановился перед Ванькой. — Що ты!..

— Ну? — спросил Ванька.

— От так — раз! — бригадир вдруг резко ткнул Ваньке кулаком в живот.

Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть. — Два.

Ванька зажмурился от боли... Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови... Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но так подло — нет.

Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал:

— Счас как дам по башке! Гад такой!

— Выходите к чертовой матери! Все! Вон! — буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу. — Выходите к чертовой матери! Вон на улицу — там и деритесь!

Один из плотников взял из-под Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал:

— Пошли, а то тут шум.

Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка.

— Мм, — простонал Ванька.

— Ничего, Иван... ему счас дадут. Больно?

Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал се, сплюнул клейкую сукровицу. Сел.

— Бубы...

— А?

— Бубы...

— Зубы разбил? От гад-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им... Встать можешь?

Ванька с трудом поднялся, сел на стул.

— Вина взять?

— Мм, — кивнул Ванька, — взять.

Аркашка подошел к прилавку.

— Здорово он его? — спросила буфетчица, наливая вино.

— Ничего, ему счас тоже дадут.

— А все ты разжег!.. Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы.

— Помолчи, — посоветовал Аркашка. — Возьми вон конфетку шоколадную и соси.

— Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!..

Аркашка взял вино и пошел к Ивану.

— На, выпей.

— Чего она? — спросил Иван.

— Ругается. Не обращай вниманния. Пей — легче будет.

БЕССОВЕСТНЫЕ

Старик Глухов в шестьдесят восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки... Плакал. Говорил:

— Как же я теперь буду-то? Один-то?

Говорил — как всегда говорят овдовевшие старики. Ему правда было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, «как он теперь будет». Горько было, больно, и все. Вперед не глядел.

Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Не то что он — затосковал... А, пожалуй, затос-

ковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший (старших побило на войне), но он жил в городе, сын, наезжал изредка — картошки взять, капусты соленой, огурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов... Нет. Жалко и грустно, и обидно, что родной сын — вроде уж и не сын, а так — пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты... Выбирал получше. Молчал, скрепив сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся он, скажи: плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то... А чего он, Ванька? Чем поможет? Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такое дело.

И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.

Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище — помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал:

— Гребцов Николай Митрофанович.

Гуляев Илья Васильевич.

Глухов Василий Емельянович.

Глухов Степан Емельянович.

Глухов Павел Емельянович...

Эти три — сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло, дышать было трудно. Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал:

— Опарин Семен Сергеич.

Попов Иван Сергеич.

Попов Михаил Сергеич.

Попов Василий Иванович...

Тихо плакали на кладбище. Именно — тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: «Сколько людей загублено!»

И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом скорбном списке, но она

со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. За то уважал, что их — преследуют, подсмеиваются над ними... За их терпение и неколебимость. За честность. Он присмотрелся к Отавиной... Горбоносая, дюжая еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть «казенный хлеб» — из магазина. И вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается... А?»

Пришел домой, выпил за сынов убиенных... И стал вплотную думать: «Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно... На стол — есть кому поставить, есть кому позвать: "Садись, Емельян". Жилым духом запахнет в доме! Совсем же другое дело, когда в кути, у печки, кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить... Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, Отавиха-то, но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле, — хватит, наматерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты ни поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка». Так думал старик. Даже взволновался.

И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень, и любил красивую, горластую Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар, быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то сгинул. Где-нибудь с головой увяз в кровавой тогдашней мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухов попытался

объяснить, что он — без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот — любил ее (он был выпивши). Любил. Что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло, давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая — не ихняя — любовь... И старик Глухов и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству: снег зимой придет разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает... Посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол... Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил Советскую власть.

— Ведь вот какая... аккуратная власть! Раньше как: дожил старик до глубокой старости — никому не нужон. А теперь — пенсия. За што мне, спрашивается, каждый месяц по двадцать рублей отваливают? Мне родной сын — пятерку приедет сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть — легулярно — получи. Вот они, комиссары-то, тогда... они понимали. Они жизни свои клали — за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихную память.

Ольга Сергеевна недовольно говорила на это:

— Сиди. Чего теперь?.. Нечего теперь, — она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее «накатывает» ночами.

— Вот накатит-накатит — все, думаю, смертынька моя пришла...

— А куда накатыват-то? На грудь?

— А — на всю. Всю вот так вот ка-ак обдаст, ну думаю, все. А после рассла-абит всю — ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву-у куда-то, плыву-у, плыву-у.

— Да, — сочувствовал Глухов. — Дело такое — так и уплывешь когда-нибудь. И не приплывешь.

После того как старик Глухов схоронил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Чего-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде — пили чай с медом. Старик приносил в туеске мед. Беседовали.

— Тоскуешь? — интересовалась Малышева.

Глухов не знал, как отвечать — боялся сказать не так, а тогда Малышиха пристыдит его. Она часто — не то что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и семьдесят скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать.

—Тоскуешь?

—Так... — неопределенно говорил Глухов. — Жалко, конечно. Все же мы с ей... — пятьдесят лет прожили.

— Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?

Глухов обижался:

— У меня три сына на войне погибли! А ты мне такие слова...

— Я ничего не говорю, — спускала Малышиха. — Они погибли за Родину.

— Тоскую, конечно, — уже смелее говорил Глухов. — Сколько она пережила со мной!.. Терпела. Я смолоду дураковатый был, буйный... Все терпела, сердешная. Жалко.

— Сознание, сознание... — вздыхала Малышева. — Тесать вас еще и тесать! Еще двести лет тесать — тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ей пятьдесят лет... Ну и что? И сказать ничего не можешь. У меня в огороде бурьян растет... тоже растет. А рядом — клубника виктория. Есть разница?

— Ты чего сердишься-то? — не понимал Глухов.

— Есть разница, я спрашиваю?

— Сравнила... телятину с козлятиной.

— И буду сравнивать! Потому что один человек живет — горит, а другой — тлеет. У одного — каждая порочка содержанием пропитана, а другие... делают только свое дело, и все. Жеребцы.

— Не всем же комиссарами быть! — сердито возражал Глухов, обиженный за «жеребца».

— Пятьдесят лет прожил, — передразнила Малышева. — А из них — неделя наберется содержательная?

— Ну, содержания-то, слава богу, хватало, чего доброго. С избытком.

— Оно и видно! — Малышева собирала губы в куриную гузку. — Жеребцы.

Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять чем.

И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда — так вот — поругивались, иногда ничего, мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно.

В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без ничего — без топора, без ножовки. Пришел поговорить. Посоветоваться. Пришел просить помощи.

— Я, Сергеевна, за советом. Помоги.

— Что такое случилось? — навострилась Малышева. Она любила давать советы.

— Ты старуху Отавину знаешь?

— Ну.

— Поговорила бы ты с ей — не согласится ли она ко мне в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так: пускай пока заколотит ее, поживем — уживемся — тогда уж пускай продает. Чтоб не рысковать зря. Как думаешь? Я один не осмелюсь с ей говорить, а ты сумеешь. Я не обижу ее... На четырех-то ногах, хоть они у нас не резвые теперь, но все же покрепче стоять можно. Как думаешь? — Глухов непривычно для себя много и скоро тараторил — ему было неловко. — Думал я, думал и вот — надумал. Чижало одному, ну ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь?

Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное.

— Жениться собрался?

— Ну, жениться... это... какая уж это женитьба? Так — сойдемся для облегчения.

— Юридически — это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь?

Глухов опешил.

— Ну — жениться. А что, это не поощряется?

Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика.

— А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей...

— Не знает она! Вот и пришел-то просить: поговорила бы ты с ей. Где поговорила, где и — уговорила. Она старушка верующая, может, скажет — грех... А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая...

— У нее дочь в городе.

— Да это-то!.. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни-то. Кто первый помер — есть кому схоронить.

— У вас же дети! — вдруг нервно возвысила голос Малышева. — Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?

Глухов замолк. И в свою очередь внимательно и сердито посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Она же вся изозлилась. Чего?

— Ты чего, Сергеевна? — спросил.

— Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь: чего я? Я-то ничего.

— Чего-то сердишься...

— Да нисколько! Вона, буду я еще сердиться. Женитесь! Поговорить надо с Отавихой? Поговорю, — теперь засуетилась Малышева, затараторила тоже. — Позову ее, и поговорим, мне не трудно. Узнаю: согласна она или нет? Чего же мне сердиться? Смеяться-то над вами, шутами, будут, не надо мной.

— Как так?

— Что?

— Смеяться будут?

— А что — радоваться?

— Да разве не бывает так — старики сходются...

— Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед... Я ее позову пораньше, обговорю с ей сперва, а ты попозже, к обеду, приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно! Я поговорю с ей, не беспокойся. Поговорю.

Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. Всех бы она переделала, перекроила... Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал: не вернуться ли да не сказать ей, что — не надо никакой ее помощи, сам как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И решил, что — ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно не так выйдет — не сумеет ладом поговорить. Пусть злится, а дело пусть сделает.

На другой день у старушек — Малышевой и Отавиной — состоялось свидание. И состоялся разговор.

Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула в передний угол (нет ли иконки?), скромно присела на краешек плюшевого дивана. Поздоровалась.

— Я чего призвала тебя, — сразу начала Малышиха. — Глухова старика знаешь?

— Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сынов убило...

— Так вот он хочет на тебе жениться, — Малышева отчеканила слова, как семь аккуратных пельменей загнула. — Ты согласна?

— Свят, свят, свят! — перекрестилась Отавиха. — Да он что?!

— А что? — как-то даже развеселилась Малышиха. — Вы одинокие... Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни. Как сама-то думаешь? Избу говорит, можно пока не продавать, можно заколотить; если уживетесь, тогда уж можно, мол, продать, а деньги — на книжку. Как думаешь-то?

— Да как я могу думать? — искренне не знала старуха Отавина. — У меня и думы-то все из головы убежали. Как же — с бухты-барахты — выходи замуж, — Отавиха мелко, искренне посмеялась. — Эдак-то рассудка можно лишиться. Вот так невеста!

— Ну, и он тоже — жених. Как все же?

— Да погоди ты, Сергевна, не колготись, дай с духом собраться...

— Он придет счас. За ответом.

— Эка! — Отавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села. — Вот задача-то!

— Ну, я гляжу, ты уж почти согласная.

Старуха Отавина вдруг серьезно задумалась.

— Я тебе так скажу, Сергевна: он старик ничего, не пьет, не богохульничает особо, я не слышала. Только... — Отавина посмотрела на сваху. — Так-то бы оно — што? Бывают — сходются, старики, живут...

— Бывает.

— А ну-ка да он ночами приставать станет?

Малышева даже рот открыла.

— Как?

— А как? Так. Они знаешь какие! Перьво-наперьво я бы желала знать и быть в надежде, што он приставать не станет. И штоб не матершинничал. Табак курит... Ну, тут уж... все курют, тут не укоротишь.

— Так ты согласная? — изумилась Малышева.

— Погоди-ка, не гони-ка коней. Я вот и говорю: много у меня всяких условиев получается. То — нельзя, это — нельзя... А старик подумает да и скажет: «Чего же тада и можно-то?» И все наше сватовство-то само собой и распадется, — Отавиха опять мелко засмеялась. — Вот не думала, не гадала... Господи, господи. Оно бы — так-то чего? У меня вон товарка моя задушевная бывшая в Буланихе, где я раньше жила, тоже вот так вот: пришел старик, тары-бары, а потом и говорит: «Давай, мол, Кузьмовна, вместе жить». И жили. Он, правда, уж умер года два как... А она живет в его доме. И хорошо жили, я знаю. Сколько?.. Годов пять жили. Ничо, не обижал ее. К концу-то жизни люди умней делаются. Счас вон... поглядишь на нонешних-то... господи, господи!.. Поглядишь, и ничего не скажешь. Оно бы, знамо, и мне в покое бы дожить да в тепле... Избенка-то у меня вся прохудилась, рада, что уж зима кончилась — никак ее не натопишь. Топишь-топишь, топишь-топишь, а все как под решетом.

— А к дочери-то почему не едешь?

— Куда-а! Сами ютятся там на пятачке... Жила. Внуки-то маленькие были, жила. Измучилась. Все измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли, так я уж рада-радешенька, хоть мне эту-то избенку купили. Свой-то дом в Буланихе я продала. Когда дочь-то замуж-то вышла, продала. Крестовый дом был, сто лет ишо простоит. Продала, што сделаешь. Им на капиратив надо, а где взять? Он с армии демобилизовался, зять-то, моя тоже — техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила, ребятишек вынянчила, а потом уж — нет, давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну помялись, помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевле, вот я здесь и оказалась. Оно бы, конешно, так-то... на старости-то лет... в тепле бы пожить... Не мешало бы.

Старик Глухов знал, что разговор у старух состоится, но какой — не ведал. На всякий случай он надел новый пиджак,

прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой.

Пришел... Поздоровался. Смутился чего-то, поставил на стол бутылку, туесок... Полез за кисетом.

— Ты погоди с бутылкой-то, погоди, — сказала Малышиха. — Не торопись.

У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Отавиной, все продумал — выходило все хорошо. Что же?

— Выслушала я вас обоих... Конечно, эта ваша личная жизнь, вы можете сходиться... Люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить: как вам не совестно? А? — Малышева бросала эти слова в лицо Глухову и Отавиной. С какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью, бросала. Бросала и бросала, как ни краснели, ни вертелись на месте, как ни страдали эти, потерявшие всякую совесть жених и невеста. — Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? Да люди всю жизнь живут одинокие... Я всю жизнь живу одинокая, с двадцати трех лет одинокая... А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили. Стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет, не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну-ка, скажи.

Глухов готов был сквозь землю провалиться.

— Я по дурости... выпимши был, — признался он.—Я не сватался... Чего ты? Зря-то. Я, мол, в те годы, когда-то...

— По дурости! А теперь он умный стал — в семьдесят лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то!.. «Посмотрю, подумаю... в тепле пожить». Эх ты, богомольница! Туда же... На других пальцем показываете — грех. А сами? Какой же вы пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете? — Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу. — Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет — трудится, а вы — со свадьбой затеетесь... на выпивку людей соблазнять и на легкие отношения. Бессовестные.

— Да какая свадьба?! — воскликнул Глухов. Отавиха, та слова не могла вымолвить. — Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?

— Совсем, как... подзаборники. Тьфу! Животный.

— Ну, это!.. знаешь! — взорвался старик. — Пошла ты к... — и выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью.

А за ним следом вышла и Отавиха. Какой — вышли, вылетели, как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо одним переулком идти — до росстани.

Старик Глухов дал по селу хорошего кругаля и пришел домой. И плевался, и матерился, места не мог найти... Сгоряча даже подумал: «Подожгу стервозу такую».

Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней зарекся. А когда встречал ее на улице, отворачивался. Не здоровался.

А Отавиха в город ездила, в церковь, — грех замаливать. Очень страдала старуха, встречаться с Малышевой избегала.

Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов, и Отавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала.

ЛЁСЯ

В двадцатые годы в нашем селе жил и ярко действовал некто Лёся (Отпущенников Алексей). Рассказывают, невысокого роста, смуглый, резкий... Лёсю боялись как огня: он был смел и жесток. Отчаюга.

Вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную жену. Жена, сколько-то прожив с ним, заявила, что — хватит: больше выносить его гульбу и поножовщину ей не по силам. И ушла. К отцу и к матери. Лёся подкараулил ее и дважды, под ножом, спросил:

— Будешь жить со мной?

И дважды решительная женщина сказала:

— Нет.

Леся ударил.

Наказание выдумали Лёсе диковинное: год аккуратно ходить в церковь — замаливать грех. Лёся ходил, демонстративно зевал в церкви, потешая дружков и молодых баб и девок.

История, которую я хочу рассказать, случилась позже, когда Лёся, собственно, занимался уже разбоем. Воровал и грабил он не в своем селе, куда-то уезжал. В своем селе только брал лошадей. Приходил вечером к мужику, у которого хозяйство посправней и кони на выезде ладные, и говорил:

— Дай пару на ночь. К свету пригоню.

Мужик давал. Как не дашь? Не дашь — так возьмет. Управы на Лёсю нету, власти далеко — не докричишься. Давал мужик коней и всю ночь обмирал от страха и жали: а ну-ка да пристукнут где-нибудь Лёсю... Или врюхается на воровстве да в бега ударится. Прощай кони! Но к свету Лёся коней пригонял: судьба пока щадила Лёсю. Зато Лёся не щадил судьбу: терзал ее, гнал вперед и в стороны. Точно хотел скорей нажиться человек, скорей, как попало, нахвататься всякого — и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да как и не чуять.

Узнал Лёся: живет в деревне Чокши лавочник... Лавочник расторопный: в скорые нэпмановские сроки разбогател, собирался и дальше богатеть. Живет осторожно, хозяйство, лавку охраняет надежно: ни подкопом, ни подломом, ни налетом прямым не взять.

Думал Лёся, думал... И выдумал.

У лавочника была дочь невеста. И девка хорошая, и женихи, конечно, были, но... Подловил Лёся лавочника! Да не как-нибудь там шибко хитро, сложно, а — просто, как в сказке.

Приходит Лёся к некоему Варламу в нашем селе. Варлам держал ямщину, были тройки, были варламовские шоркунцы под дугой... Сам Варлам — фигура: корпусный, важный. Приходит к нему Лёся и говорит:

— Будешь, Варлам, этой ночью мне заместо отца родного.

— Как это? — не понял Варлам.

— Поедем сватать невесту чокшинскую. Я, стало быть, сын твой, а ты — тоже лавочник, лавок у нас с тобой две, но одну, мол, починить надо. Вот. Закладывай самую резвую

тройку, сам приоденься, мне тоже дай чего-нибудь такое... жениховское. Не ной моя косточка в сырой земле... — Лёся любил так говорить. — Не ной моя косточка в сырой земле, мы его захомутаем, этого туза.

— Чего же на ночь глядя ехать-то? — попробовал было Варлам оттянуть время и как-нибудь, может, вывернуться.

— Так надо, не разговаривай много, — сказал Лёся.

С Лёсей много и не наразговариваешь.

Заложил Варлам тройку, приоделся случая ради, дал и Лёсе одежонку понарядней... Поехали.

Приехали. Представились: отец с сыном, такие-то. Слышали от добрых людей, что... Ну что говорится в таких случаях. Рассказали про себя: две лавки, одна торгует, другую надо отремонтировать (на это почему-то особенно напирал Лёся). Кроме того, желательно невесту и приданое — ну, не все, необходимую часть — увезти теперь же. Чего так? А так потому, что сын завтра уезжает далеко за товарами, а в лавке со стариком остаться некому. А потом уж будет и венчание, и свадьба, и все. Вот. Дело, как представляется отцу и сыну, стоящее: лавка в Чокшах да лавка в Низовке — две лавки, а когда в Низовке отремонтируют еще одну лавку, станет три лавки. Это уже... А? Чокшинский туз поймался. Лёся, как потом рассказывал Варлам, не засуетился, не заторопился скорей брать, что дают, а стал нудно торговаться из-за приданого, за каждую тряпку, чем очень удивил Варлама и вовсе успокоил будущего своего тестя.

Из Чокшей в Низовку катили весело. Дернули у «тестя» медовухи... Варлам на облучке вообразил себя ухарем и чуть было не вылетел с языком. Хотел громко позавидовать Лёсиной судьбе.

— А хорошо, язви тя, быть разб... — и осекся.

Жених обнимал и голубил невесту.

Приехали.

Изба у Лёси была маленькая, кособокая... И никакого хозяйства, шаром покати. Городьбы даже никакой.

Невеста зачуяла неладное.

— А где же лавки? — спрашивает.

— А вот... одна, — показывает Лёся лавку в сенях, — вот — другая, на трех ножках, эту надо подремонтировать. Вот.

Кое-как удалось потом сбежать девке от Лёси. Отец ее подослал своих людей, они ее выкрали. Открытой силой отнять

не решились: у Лёси в черной тайге дружки. Сундук с добром остался у Лёси.

Кончил свои дни Лёся в тайге же: не поделили с дружками награбленное добро. Лёся, видно, по своей дикой привычке — торговаться за тряпки — заспорил... Дружки — под стать ему — не уступили. Перестрелялись.

И вот этот его конец (а так кончали многие, похожие на Лёсю) странным образом волнует меня. Не могу как-нибудь объяснить себе эту особенность — жадничать при дележке дарового добра, вообще, безобразно ценить цветной лоскут — в человеке, который с великой легкостью потом раздаривал, раскидывал, пропивал эти лоскуты. Положим, лоскуты — это и было тогда — богатство. Но ведь и богатство шло прахом. Может, так: жил в Лёсе вековой крестьянин, который из горьких своих веков вынес несокрушимую жадность. Жадность, которая уж и не жадность, а способ, средство выжить, когда не выжить — очень просто. Лёся захотел освободиться от этого мертвого груза души и не мог. Погиб. Видно не так это просто — освободиться.

ВЕРУЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась целовать.

— Опять!.. навалилась.

— О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина; она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай, матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его зло блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нет. Или она поганая. С вами говорить — все равно, что об стенку головой биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, неподвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям, и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму. Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа

что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам, каких. Мое дело — принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... А я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него — что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так, — поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. — Начнем подъезжать издалека. Слушай

внимательно, не перебивай, — поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понужай, ибо не запрег еще, — поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко и безответственно. — Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

Поп налил еще себе и Максиму. Кивком головы пригласил выпить.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А? Где такая сила?— поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... — поп выпил спирт, промакнул скатертью губы. — Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — поп выпил. — Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Мы ведь какого бога себе нарисовали? — доброго,

обтекаемого, безрогого, размазню — телю. Ишь мы какие!.. Такого нет. Есть суровый, могучий — Жизнь. Этот предлагает — добро и зло, вместе, — это, собственно, и есть Бог. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад, — поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. — Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На Кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Въелся горячим, злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь! — показал он свою ручищу. — Надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Ну — ножом пырну. Я могу.

— Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

— Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже его погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот, жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви... как заведут...

— У нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда — защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривой.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Да. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец!.. Слушай сюда!

— Не хочу! — плакал поп.

— Слушай сюда, колода!

— Не хочу! Ты слаб в коленках...

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

— Молись! — поп встал. — Повторяй за мной...

— Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим. Ему очень понравилось это слово.

— Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объектив-но-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

— Ве-ру-ю-у!

— Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

— Верую-у!

— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякость телесную-у!

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал, и нахлопывал себя по бокам и по груди:

Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па — два!
Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

У-тя, у-тя, у-тя — три!
Верую, верую!
Е-тя, е-тя — все четыре!

— За мной! — восклицал поп.

Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.

Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на — пять!
Все оглобельки — на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть. Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капус-

тин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он, и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепологией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!.. — посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь, — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи, — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, по-

говорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно, — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. — Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения, — Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. — Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма, — Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сказал Глеб. — Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче, — еще сказал Глеб. — Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то показал руками замысловатое, — танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат. — И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно по-

казать ему на схеме, откуда он: показать на Луну потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так, — кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. — Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уже послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать, — Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб, — не знаю, как это называется, — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал, — И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник, — сказал кандидат, обращаясь к жене. — Весь набор тут...

— Не попали. За всю жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал, — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя. — В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете, — Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. — Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собран-

ней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск... среди народа, — Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет) спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

СИЛЬНЫЕ ИДУТ ДАЛЬШЕ

Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие — поседевший Байкал сердито шу-

мел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.

На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе, как таковом, а о том, что это похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть, так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

Очкарики... Все образованные, прочитали уйму книг... О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого — в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом — что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, — никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде...

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька — это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он — выпивоха. Вот тоже — показали на человека — выпивоха... А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой — выпивоха, и все. А Митька... Митька — мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы — искать золото и ртуть. Мечтал... Много мечтал. Все мечтают, но другие — отмечтали и принялись устраивать свою жизнь... подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя — великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он — с упорством неистребимым — мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были — одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку... Травка — так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить... рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево рак легких, рак печени, рак матки — лечит злой, омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему — запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно» — «Подождать» — «Подождать» — «Можно» — «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что... Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины чуть не вы-

царапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается. «Вы по ней ходите». — «Скажи!» — «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй этаж спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы... На подоконнике — увлажнитель с «Шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он?

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине. — Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!.. — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. — Не дано.

Вот это вот только и знают люди — бред, глупости. И еще — всякие «хохмы» про Митьку. Вроде этой.

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важничает: «Я — сезонник»). Однажды он пришел в поселок среди лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке — уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол вещмешок, подошел к прилавку бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал:

— Мне триста штук презервативов, пожалуйста.

Ну, замешательство... Аптекарша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот «сундукявичус», как его прозвали в одной партии, опять:

— Триста презервативов. И счет.

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен «отмочить хохму».

...Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак...

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете.

Митька даже не посмотрел на очкариков (там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака). Снял рубаху штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки (девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — и нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна: — Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— ...авай! — орал Митька. — Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнула высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой, закашлялся. А «роднуля» все накатывал, все настигал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкая вглубь.

— ...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру-сы спали-и! Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!

— ...у-у! — орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку! — забегали на берегу. — Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками Митька теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками. — Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то! — волновались на берегу.

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов. Николай верно говорил.

— Трепач-то! Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?!

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот... Митька был без трусов, и девушка просила издали:

— Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать.

— Ты лучше беги в магазин, — попросил один из тех, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы. — А то пропадешь к черту... с этими моржами.

— Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как без трусов не считается?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди подержи голову.

— Да ну, какие-то!.. Ну наденьте же штаны, ребята!

— Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой!

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго, Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, — вскочил, схватился... там где носят трусы... Очкарики засмеялись. Митька вскочил — и бегом по камням, прикрывая руками стыд. Добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин — покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

— Зря он сбежал! — сокрушались. — Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

— Все дело в трусах...

— А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион?

Беззаботный народ, эти очкарики! Шляются по дорогам... Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы... Но вернемся к Митьке.

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твои, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Полторы тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки — «транс», Митька наскочил на новый сюжет.

— Господи!.. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак-человек, — с искренним сочувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет. — Женисся — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало.

— Ладно, ладно, — сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь.

— Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить — безопасней.

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравиться людям — пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию,— писал он как-то товарищу своему. — Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура, — думал. — Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!» Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-

то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, — весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и впеоед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном: вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар — закон.
Удар — конец.
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, что достало мудрости обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич,— любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, — я вас прекрасно понимаю. Да. Да!.. Пятнадцать листов!

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна пришла в мелкое

движение — засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас. Что вы все боитесь нас, как... не знаю. До свиданья — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады», — удивился Солодовников. — И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич... — Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо! — тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле? — спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник, — Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то случилось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар — закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, — и — легко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантанция. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная:

«Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиде на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна, — Записки-то. Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал, — Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. — Извините, — сухо добавил он,— больше этого не случится, — смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, — подумал он. — Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников. — Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здрассте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

— Да, да, — вспомнил Солодовников. — А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит. Хотите оперировать?

— Да, — твердо сказал Солодовников. — Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так, — молвила Анна Афанасьевна. — Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза, насчет железа... Причем это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. — Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача:

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: “Что происходит на земле?” Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: “Война во Вьетнаме”. — “А еще?” Она не знала. А на земле была Весна».

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отноше-

ниях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему — за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну, а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, пока не было.

— Вы, это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпа в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась: как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой окрик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руках березовый колышек.

— Я хотел под бок себе... — поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. — Немного — вот столько — под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников. — Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач... — мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. — Надо же спросить сперва. Если

каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездиют.

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного. Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по це́лику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать це́ликом, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик и его надо было обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик. — Чего же пустой пошел?

— Да не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. — Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было», — зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Со-

лодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот, — решил директор. — Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет...

— Мало ли чего мы хочем! Я, может, хочу... — директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — не понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

— Не соберутся, — просто, без всякого выражения сказал директор. — Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету, — он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. — Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников. — Они же договорились...

— Кто?

— Главврач и ваш директор.

— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет, — Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять. — А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

— Как же быть? — спросил Солодовников.

— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним, — Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача. — Простыл к черту, — доверительно, совсем не сердито сказал он. — Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.

— Нет железа?

— Есть. Для других. Для вас — нету.

— А телефон тут есть где-нибудь?

— Зачем?

— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

— А полегче, например, — это как, можно? Без гонора. Мм?

— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. — Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь — там было листовое железо.

— Отсчитывайте пятнадцать листов, — спокойно сказал Морозов, — а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

— Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

— Отвечу.

— Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего,— сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете,— сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напряглась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников. — В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, — стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость, она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот са-

мый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет, и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница, Солодовников... Она в районе... А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здоровался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть, — думал Солодовников. — Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя... Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

ПЕТЯ

Двухэтажная гостиница городка «Н» хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво...

Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей.

Он живет напротив, в длинном, низком строении; окно моего номера выходит к ним во двор.

Петя — маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть — вперед... Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю.

Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в десять, отоспался — свеженький. С ходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку... Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так — в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах,— возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело: в субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает — все бьет каких-то невидимых мошек, комариков... и разглядывает их. А то вдруг — ни с того ни с сего — шлепнет ладонью по груди и потом долго, блаженно растирает грудь.

— Лялька, полотенец! — кричит Петя, кончив плескаться.

Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая. Громко, показушно уважает мужа.

— Слышь?!

— Оу?!

— Полотенец!

— Несу-у!

Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то.

Лялька вынесла полотенце.

— Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? — Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. — Я предлагаю голубенькую...

Петя не спеша вытирает руки, плечи... И думает.

— Голубую.

— Правильно. Она тебя молодит, — и опять глазами — зырк-зырк. О, эта Лялька видала виды.

Петя вытирает лицо; Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пузцо! Молодое, кругленькое — этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня — пусть все видят, что человек живет в довольстве.

— Какие запоночки дать: с янтаря или серебрушки? — озабочена Лялька.

Петя опять некоторое время думает.

— С янтаря.

Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что Лялька — буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут: сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака?.. Не знаю, но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает.

— Петя! — кричит она, высовываясь из окна. — Галстук будешь одевать? А то я его поглажу...

Петя опять в затруднении.

— Та-а... не надо, — говорит он.

— А почему? Он же тебе очень идет.

— Гладь.

— Какой, красный?

— Красный.

Лялька уходит гладить красный галстук.

Петя, по незабытой еще крестьянской привычке, трогает штакетник, шатает. Кое-где пооcлабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой — от плеча к груди.

— Петь!.. — Лялька опять в окне. — Ты помнишь, как эта... вокруг тебя увивалась-то? «Петя, давайте я вам холодцу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?» Лярва...

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что — увивались.

— Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего! Ей шиферу надо, лярве.

Петя провел толстой, короткой ладонью по волосам.

— Ты про кого?

— А эта... не знаю, как ее фамилия, знакомая Колмаковых. Все летку-енку-то танцует...

— А-а, — вспомнил Петя. — А чего она хочет?

— Шиферу.

— А в нос не хочет? — Петя смеется молча, весь: животик смеется — как-то прыгает, подбородок смеется, загривок — тоже смеется — напряженно лоснится и дрожит.

Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет, — мелко, часто и не смешно.

Отсмеялась и еще раз напоминает:

— Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый.

— Я-то слабый? — Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.

— А у Маковкиных-то в прошлом году — помнишь? — Лялька опять просыпает горсть бобов — смеется. — Отливали-то...

— Та-а...

— Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же разнесет потом: «Мне Петя шиферу посулил!»

— Да ну, что я?..

Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком, — видно, разохотился поработать, решает, что бы еще прибить.

А Лялька то и дело высовывается из окна.

— Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще «Очи черные» были...

— А что?

— Где она?

— Не знаю. А что?

— Хочу взять ее. Может, споем. Чтоб она заткнулась со своей леткой...

— Нет, «Очи» нам не потянуть.

— Подпоем! Я вытяну

— Не знаю... Там где-нибудь.

Петя подошел к крыльцу, постучал молотком.

— Нашла! Петь!..

— А?

— Нашла! Она сегодня заткнется... Я плечами трясти умею. Ты не видал?

— Нет.

— Счас... — Лялька на минуту исчезла... И вновь появилась — в цветастой шали, наброшенной на плечи. — Смотри! — и стала трясти плечами — по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась — туда-сюда. Смотреть неприятно.

— Не вывихни кости-то, — сказал он. И поколебал животом — посмеялся.

— Получается? Петь...

— Получается.

Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы, отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю.

— Петя!

— Ну?

— Тебе воды погреть — бриться?

Петя потрогал подбородок...

— Погрей.

— Погорячей сделать?

— Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?

— Какого Михеева?

— Из потребсоюза Михеев... Я ему еще обсадных труб тридцать пять метров доставал. С шампанским как-то приходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали долго...

— А-а, Михеев! Лысый такой?

— Ну. В пятницу звоню ему: мне надо было два гарнитура достать одному там — помоги, мол. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, думаю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься.

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась.

— Ты вот какой-то... Петя, ты пошто такой есть-то? Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются... Сволочи! Ты будь маленько... это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать. В лепешку готов расшибиться! А они

потом нос воротют, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!..

Петя принахмурился, отвернул голову... Вроде виноват. Виноват: добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...

— И обо всех у тебя душа болит, обо всех! Об себе только не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит — думает, думает!.. — Лялька поддала в голосе — это тем, кто во дворе, кто может слышать. — Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка че есть-то!..

Эта сельская пара давно уже не смущается здесь, в большом муравейнике, освоились. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет.

Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры — пошли в гости.

Бывает так, что человек — вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно, человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам — медленно, враскорячку — костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать: пузцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой.

Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку... Ветерок дергает ее, она не отцепляется. Трепещет, шумит листочками...

Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора.

— Кака уважительна бабочка-то, — говорит старушка сама с собой, — целый день только и слыхать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи. Дружная парочка...

Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются.

Петя слегка того... отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.

— Пойдем, Петя, Петенька! — зовет Лялька.

— Не хочу, — говорит Петя, — Не желаю.

— Петя!.. — чуть не плачет Лялька. —Я уж и так смучилась, ты вон какой тяжелый. Пойдем, Петенька. А? Пожалел бы меня... Пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку — и баиньки, и баиньки. А?

— Не хочу, — гудит свинцовый Петя.

— Пойдем, Петенька. Ну-ка, — от-теньки — поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и. Ненаглядный ты мой...

Кое-как увела Петеньку.

— Покуражился маленько, и пошел, — понимающе говорит старушка. — Славная парочка, дружная. Дай бог здоровья.

А меня вдруг пронизала догадка: да ведь любит она его, Лялька-то. Петю-то. Любит. Какого я дьявола гадаю сижу: любит! Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает — все потому, что — любит. Ну, и... дай бог здоровья! А что?

САПОЖКИ

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка, спросил весело:

— Это сколько же такие пипеточки стоят?

— Какие пипеточки? — не поняла продавщица.

— Да вот... сапожки-то.

— Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей.

Сергей чуть вслух не сказал: «О, ё!..» — протянул:

— Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно.

Правда, она их беречь будет... Раз в месяц и наденет-то — сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а — посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить — надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: на работе или выпьешь с кем — все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «повторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь — зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, — а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки — возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты — чего-ничего, а надеть можно. А тут — один раз в жизни...

Сергей пошел в магазин.

— Ну-ка дай-ка их посмотреть, — попросил он.

— Чего?

— Сапожки.

— Чего их смотреть? Какой размер нужен?

— Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

— Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

— Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

— Ну и нечего их смотреть.

— А если я их купить хочу?

— Как же купить, когда даже размер не знаете?

— А вам-то что? Я хочу посмотреть.

— Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть...

— Ну, вот чего, милая, — обозлился Сергей, — я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

— А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают...

— Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

«Нога-то в нем спать будет», — подумал радостно.

— Шестьдесят пять ровно? — спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! — изумился Сергей. — Прямо ненавидит. За что?»

— Беру, — сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уж отмякла, что ли, — не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. — Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

— В кассу.

— Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, — так злиться? Так же засохнуть можно, не дожив веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», — пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Смотрела на Сергея... Сергей опять посмотрел ей в глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

— Я прошу сапожки. Мои.

— На контроль, — негромко сказала она.

— Где это? — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

— Где контроль-то? — Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. —А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, — женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! — подивился он на себя. — Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит — вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой (они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера).

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали «Рашпиль»). — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих... как их?.. У апостолов — не у апостолов, а у этих... как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»! Во, пень-то дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим.

— Когда оклад пятьсот рублей, можно верить. Я бы и то верил.

— Ты бы верил!..

Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолкли.

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расширивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воскликнул Рашпиль. — Серьга... дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: «Половина мотороллера».

— Она тебе велела такие сапожки купить?

— При чем тут велела? Купил, и все.

— Куда она их наденет-то? — весело пытали Сергея. — Грязь по колено, а он — сапожки за шестьдесят пять рублей.

— Это ж зимние!

— А зимой в них куда?

— Потом — это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж — ей на нос только.

— Какой она носит-то?

— Пошли вы!.. — вконец обозлился Сергей. — Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

— Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

— Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

— Она тебе, наверно, резиновые велела купить?

— Резиновые... — Сергей вовсю злился. — Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?

— Больше тебя.

— Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают, — Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?

— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали... И все. И не надо так нервничать...

— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что... Сидит, курва, переживает... аж нос посинел.

— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

— Иди свой нос приведи в нормальный вид.

— Пойдем вместе? Сапожки обмоем...

Еще немного позубатились и поехали домой.

Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

— Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.

Клавдя и девочки вечеряли.

— Чего это долго-то? — спросила Клавдя. — Я уж думала, с ночевкой там будете.

— Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.

— Чего? — по дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек... «Пойду тогда и брошу их в колодец».

— Ну, чего-нибудь. Ничего?

— Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

«Какой-то я не хозяин в доме получаюсь, — подумал в этот миг Сергей. — Прямо обмер сижу, язви тебя совсем. Чего уж так?»

— Вон, в чемодане, — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола... Заахали, заохали.

— Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

— Тебе, кому.

— Тошно мнеченьки!.. — у Клавди с ноги полетел тапок. Она села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

— Какой размер-то?

— Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

— И размер-то мой...

— Вот где не лезут-то. Голяшка.

— Да что же это за нога проклятая!

— Погоди! Надень-ка на тоненький какой-нибудь чулок.

— Да кого там! Видишь?..

— Да...

— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Сколько они?..

— Шестьдесят пять, — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах блестели слезы... Нет, она слышала цену.

— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами, Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

— Ну, Груша, повезло тебе, — она протянула сапожок дочери. — Ну-ка, примерь.

Дочь растерялась.

— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.

Клавдя засмеялась.

...Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал. Не думал, а еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, ту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

— Ну, иди... — позвала она.

Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?

— Сергунь! — ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурок, и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно. Не в сапожках. Дело в том, что...

Ничего. Хорошо.

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кои-то веки! — сказала озабоченная «мамка». — Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми, — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там, за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей, тете, показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут... Но он даже не успел и подумать-то так — обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько пло́тют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает: «С похмелья!» Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте, — спокойно сказала тетя.

— Где на месте-то? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору — с вами разговаривать! — тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. — Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора — стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая, — сказала Маша.

— Она не плохая, она... — Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что — при всех! — надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор, — сказала другая тетя, в кабинете. — Я — завотделом. А в чем дело?

— Понимаете, — начал Сашка, — стоит... и начинает — ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее, — посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое — выясним, — сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка — появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, — Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот... и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимаю-

ще — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел опять. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка. — Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был!

А между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит там: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди. — Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит, — не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что — бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте, — сказали Розе из очереди. — Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут...

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие, — сказала Маша.

— Да, дяди... тети... — пробормотал Сашка. — Мгм... — он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству?! Угодить во что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине...

— Иди, проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить, лишь после того, и говорила, что дяди и тети — «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Что-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но тут же и расхотелось...

— А что, что случилось-то?

— Да, ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверно, знают...

«Схожу! — решил Сашка. — Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась — не был я вчера в магазине, зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

— Ладно.

...Один парнишка узнал по описанию:

— Из тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — сразу заговорил Сашка, — я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов.

Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти, — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко вспыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный.

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить, — Чукалов все держал Сашку за рукав, а обращался к сыну.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не бегу, — попросил Сашка. И улыбнулся. — Я ж сам пришел.

— Пусти его, — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело, — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. — Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?

— Да почему?

— Специально дожидался меня у магазина... — подсказал старший Чукалов.

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал, — раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот, довозмущался! Теперь бегай — унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был спуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет... тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена — простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Что?

— Ты опять захотел?! Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? Мне Маша сказала какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо — через все — проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога, — взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем, домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай, — Вера взяла мужа за руку: — Неужели тебе нас-то не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку...

И покорно пошел домой.

Эх-х... Трясуны мы, трясуны!

ХМЫРЬ

Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все смотрели в окна, любовались пейзажем... А двое, на заднем сиденье, совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом.

Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, курносый, стареющий хмырь... Такие, курносые, с круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутками, начинают приставать к молодым женщинам, и все громко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так надо. Можно представить, как смутился бы этот, на заднем сиденье, если бы ему сейчас сказали: «Слушайте, это же глупо, скучно, пошло». Но... робким везет: не попал же он на такую! Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убежден, что все у него выходит остроумно, весе-

ло, непринужденно. Эта, на заднем сиденье, понимала все именно так. Эта... назовем ее молодая Здоровячка, эта от души кокетничала, хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но... не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такого вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и тоже может нравиться.

Хмырь начал с того, что пересел к ней с переднего сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней, не скрывая того, а, напротив, как бы говоря своим веселым видом: «Пошел охмурять, Следите». Сел.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказала Здоровячка, немного удивившись.

— Почему в одиночестве?

— Почему?.. Я смотрю.

— Так это без толку — так смотреть. Красивые места надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь... — Хмырь поначалу еще пулял туда-сюда взгляды — все приглашал посмотреть, как он охмуряет. Но Здоровячка так легко, охотно пошла навстречу соблазну, что Хмырь, удивленный и обрадованный, перестал обращать внимание на других. Скоро им обоим стало хорошо.

— Нет, вы говорите неправду.

— В чем же это я говорю неправду? Докажите.

— Спорим.

— Хи-хи-хи... Спорим. На что?

Хмырь секунду две, три думал... И завернул:

— На американку.

— Как это?

— Кто проиграет, тот... В общем, если я выспорю, я что хочу, то и делаю, если вы, то вы, — тут Хмырь, несколько ошалелый от собственной дерзости, посмотрел на всех, но как-то смутно, неопределенно. — Ну?

— Ох вы какой!

— А что? Ну что? Что? Боитесь?

— Ничего я не боюсь!

— Боитесь, боитесь. Эх вы!..

— А чем вы докажете?

— Чего «докажете»?
— Что одиноким хуже.
— Нет, давайте на американку, тогда докажу.
— Ох вы какой!..
— Ну какой? Какой? Я обыкновенный, но одиноким хуже, я вам докажу. Давайте?
— Нет, вы так докажите.
— Нет, так неинтересно. Так... чего так? А вот давайте на американку.
— А что вы сделаете?
Этот наша на заднем сиденье опять некоторое время думал. Он даже завозился на месте.
— Что я сделаю? Что я сделаю?
— Ну?
— Не скажу.
— Нет, скажите. А то так...
— А что «так»?
— Так опасно.
— Да ничего не опасно!
— Нет, докажите просто так, без американки.
— Только на американку.
Хмыря уже ненавидели в автобусе. Один какой-то старенький интеллигентный ревматик сказал себе и соседу рядом, огромному мужчине с юбилейной медалью:
— Прямо максималист какой-то: все или ничего.
— А?
— Да вон... максималист сидит.
— Он не максималист, какой максималист. Он прохвост, — огромный мужчина не оглянулся на заднее сиденье. — Таких учить надо.
— Бесполезно, — сказал старичок.
— И эта... дура... — громадина с медалью качнул укоризненно головой.
А те двое, забыв все на свете, не чувствуя ненависти к себе, трещали и трещали. Хихикали. Играли.
— В кино идете сегодня? — шел дальше Хмырь. — Мм?
— Иду.
— Идемте вместе?
— А что, вы один дорогу не знаете?
— Нет.
— Знаете... Притворяетесь только.
— Да не знаю, я серьезно говорю!

— Ой?..

— Неужели вам трудно дорогу показать?

— Хорошо, дорогу я покажу. А билеты будем отдельно брать. Да?

— Хорошо. Вы на какой ряд будете брать?

— Ишь вы какой!.. Хи-хи-хи!

Хмырь тоже счастливо рассмеялся:

— Какой?

— Хитрый.

— Не хитрый, а одинокий. Вот я вам и доказал, что одиночество — это плохо. Видите, я все средства пускаю, чтобы не быть одинокому.

— Я этому одинокому сегодня по шее дам, — тихо сказал огромный человек старичку.

— Не надо, что вы! — запротестовал старичок.

— Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не увидит.

— Не надо. Зачем?

— Не могу слышать... Прямо тошнит.

Старичок потянулся к уху соседа и сказал, изумленный:

— Ей же нравится!

Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать на это.

— И потом, как вы ему по шее дадите? За что?

— За наглость. Что жену обманывает на курорте...

— Ну... это, знаете... Нет, нельзя. Что вы?!

— Он же прохвост!

— Нет, давайте так: я беру два билета, на себя и на одного моего знакомого товарища, и жду вас возле кинотеатра. Вы приходите... И мы проходим в зал и садимся вместе.

— Почему вместе?

— Да потому что нет у меня никакого товарища!

— Ишь вы какой!

Опять смех.

— О-о! — застонал громадный мужчина. — Уши вянут.

Старичок, его сосед, тихонько засмеялся.

Мужчина повернулся к нему, удивленный. Старичок уткнулся в ладони и хохотал. Отсмеялся и снова потянулся к уху удивленного соседа. Зашептал:

— Вы слушайте, слушайте — это же ужасно смешно.

— Что тут смешного? — тоже шепотом, серьезно спросил огромный человек.

— Да смешно! Что вы? Очень смешно, слушайте.

— Интересно, как это вас жена отпускает одного на курорт? — поинтересовалась Здоровячка.

— А что? Вы не отпустили бы? Между прочим!.. — воскликнул Хмырь. — А как это вас муж одну отпускает?

— У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задерживает. А вот как вас отпускают?

— По той же самой причине.

— По какой?

— Да по той же самой.

— Нет, по какой, по какой?

— Да по той же причине, что у меня нет жены...

— Слушай, хмырюга!.. — повернулся назад огромный мужчина. — С кем это мы вместе на почте были, и кто давал жене телеграмму, чтобы денег выслала?

Хмырь даже как-то испугался... Растерялся и испугался. Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью.

— Какую телеграмму? — спросил он.

— Да насчет денег, — жестоко выдавал большой мужчина. — Я еще сказал: «Уже?» — мол, запросил денег? Кто мне сказал: «Мы с ней договорились: я возьму только на дорогу, а потом она мне пришлет по почте?» Это не ты был?

Хмырь посмотрел на всех... И что-то такое увидел сильное, страшное, что молча, не взглянув на соседку, поднялся и пошел вперед, на свое место. Сел... Посидел, глядя прямо перед собой... Покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся к окну и стал тоже, как все, внимательно смотреть на пейзаж. Шляпа его была ему несколько великовата и от тряски съезжала низко на лоб, некоторое время Хмырь смотрел в окно, приподняв кверху маленький, с нашлепочкой нос, он смешно торчал из-под шляпы... Потом Хмырь догадывался сдвинуть пальцем шляпу назад, пока она снова не наезжала на глаза.

— Черт возьми!.. — с досадой, тихонько сказал старичок-ревматик огромному соседу. — А теперь его жалко.

— Кого? — не понял сосед.

— Да вон его... в шляпе.

Сосед посмотрел вперед... Хмыкнул. Сказал тоже шепотом, весело:

— Я ему еще по шее разок дам. Когда приедем. Чтоб он не врал тут.

Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался — стыдно, что ли, или жалко тоже. А старичок оглянулся... И тотчас отвернулся, поерзал немного и пристукнул кулачком по колену.

— Не надо, не надо было!.. Зачем? Пусть бы уж...

— Чего ты нервничаешь-то? — спросил большой мужчина.

— Не надо было! Зачем... помешали?

Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на старичка.

— Ты что?

— Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж... веселились, как умеют.

Большой мужчина ничего не сказал. Посмотрел на курносого Хмыря, потом — осторожно — назад... Пожал плечами. Он ничего не понял. И стал опять смотреть в окно — на пейзаж.

ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым банным дымком.

— Кизяки нынче не думаешь топтать? — спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

— На кой они мне... — лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

— А я не знаю, что делать. Топтать, что ли...

— Наплавь из острова да топи.

— Не знаю, что делать... Может, правда, наплавить.

— Конечно.

— Ты будешь плавить?

— Я, может, угля куплю. Посмотрю.

— Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову...

— Хошь расскажу как меня хоронить будут? — чуть сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался серьезно.

— О! — удивился сухой, смуглый. — Ты что?

— Хошь?

— А чего ты... помирать-то собрался?

— Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

— Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? — еще спросил тот, помоложе.

— Значит, будет так: помер. Ну, обмыли — то-се, лежу в горнице, руки вот так... — рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка. — Жена плачет, детишки тоже... Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: «Интересно, позовут на поминки или нет?»

— Ну, слушай! — обиделся смуглый. — Чего уж так?

— Я в шутку, — сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно: — Ты будешь стоять и думать: «Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так...»

— Так все думают.

— Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, начинают: «сокол», «голубь»... Почему так?

— Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: «ноженьки», «рученьки», «головушка». «Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке». А у кого есть сорок пятый размер — тоже ноженьки!

— Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

— Ну, а дальше?

— Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей

сама заплатит, тридцать — с моих выжмет. А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

— Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить...

— Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки, — рассказчик засмеялся негромко.

Молодой не засмеялся.

— Но когда сядут и хорошо помянут — поговорят про покойного, повспоминают — это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: «На кой он мне?»

— Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они... уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко...

— Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не найдется?

— Найдется. Ну и что?

— Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут складываться-то?

— Я же не скажу ей из гроба: «Заплати сама!»

— Из гроба... Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись... Ну, та плачет, конечно, когда ей капают, — больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

— Но капать-то надо.

— Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит: «Не плачь!» Как же не плакать?

— Да... — Николаю, рассказчику, охота дальше рассказать, как его будут хоронить. — Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова...

— Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

— Наверно...

— Я Стародубову Ефиму копал... Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то: я любил старика. И не позвали. Понял?

— Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал...

— Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала... Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне... Хотел матом послать, но, думаю, горе у людей...

— А кто совал-то?

— Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика...

— Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе...

— Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать — там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего...

— Спасли? Телка-то?

— Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

— Я его мало знал. Знал, но так... Он долго хворал?

— Нет. У него сперва отнялись ноги... Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить... Заталдычил: «Везите домой, дома помру». Интеллигент нашелся — няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

— Ну, каждый раз убирать за имя́ — это тоже...

— А как же теперь? Он и так уж старался поменьше исть, молоком больше... Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

— Оно, конечно.

— Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще...

— Его без оркестра хоронили?

— Какой оркестр! Жадные все, как... Сын-то инженером работает, мог бы... Ну, копейка на учете.

— Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? — сказал рассказчик, хозяин бани.

— А тебе?

— Чего?

— Тебе нужен?

— И мне не нужен.

— Никому не нужен, но все же хоронют с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

— Бережливые, — поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кивнул головой.

— Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то — «не надо оркестра, я его все равно не слышу». Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя — два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это... Игранул скулами. Заговорил негромко, с напором:

— Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить...

Иван достал пачку «Памира», закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой.

— Вот видишь, из тебя и полезло. Баню пожалел...

— Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

— Ты же знаешь, мне не на чё пока тёсу купить.

— Да у тебя сроду не на чё! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

— А что тут плохого? Пускай играет.

— Видишь, ты хочешь перед людями выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню топить. На баян он нашел денег, а на тёс — нету.

— М-да-а... Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! — Иван поднялся, — я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди... Понял?

«Куркуль» не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

— Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

— Как это?

— Морковка у меня в огороде хорошая — ему глянется...

— Врешь ведь? — не поверил Иван.

— А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму... — сидящий снизу нехорошо, зло глянул на стоящего. — А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту.

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

— Да-а, — сказал он, — такой, правда, за две морковки изувечит.

— Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут.

— А ты сам в детстве не лазил?

— Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

— Ну и зверье же!

— Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом...

— Тьфу! — Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: — Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду...

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными, презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать. Сказал:

— Придешь. Там же выпить дадут... как же ты не придешь. Только позвали бы — придешь.

— Нет, не приду! — серьезно, с угрозой сказал Иван.

— А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу Ваня, не горюй.

— Куркуль.

— Иди музыку слушай. Вальс «Почему деньги не ведутся», — хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни... Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите простыни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый голос. Мишка прислушался.

— Не скажите, не скажите, — негромко говорил голос, — не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: «Ну, что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?!» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание.

— Это они мастера — отмолчаться, — поддержал другой голос, усталый, немолодой. — Это они умеют.

— Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. «Ну, долго, — спрашиваю, — будем в молчанку играть?»

Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот, внизу это, конечно, не Малафейкин... Но до чего похож голос. Поразительно.

— «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! — говоришь ему. — Выведешь ведь из терпения — выселю!» — «Не надо», — просит. «А-а, открыл рот!.. Заговорил?»

— Случается, выселяете?

— Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

— Господи!.. Да нам полно людей требуется!

—А вы что там с ними будете делать? Самогон варить?

Двое внизу начальственно — негромко, озабоченно — посмеялись.

— Да-а... У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

— Да как... Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь — обожаю, между прочим, на огонь смотреть, — а из огня на тебя... какое-нибудь мурло смотрит. «Господи, — думаешь, — да отстанете вы от меня когда-нибудь!»

— Как это — смотрит? — не понял другой, усталый собеседник. — Мысленно, что ли?

— Ну, насмотришься на них за день-то... Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

— У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

— Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи — удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь, затопишь камин — душа отходит.

— Своя?

— Дача-то?

— Да.

— Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит: «Домой, Семен Иваныч?» — «Домой, Петя, домой». Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался — рассказчика-то тоже Семеном Иванычем зовут! Как Малафейкина. Что это?

А Семен Иваныч внизу продолжал рассказывать:

— «Домой, — говорю, — Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!» Приезжаем, накладываем дровец в камин...

— А что, никого больше нет?

— Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю... Славно! Знаете, иногда думаешь: «Да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку».

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся.

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверно, улыбаясь. — Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну... Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно, — вздохнул собеседник. — Я тоже, знаете...

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с... Я что-то такое краем уха...

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает... А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим...

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска.

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором, — пояснил Семен Иваныч.

— А-а... — неопределенно как-то сказал усталый собеседник. И опять замолчал.

Семена Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря, — продолжал он. — Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое... Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно, — опять очень неопределенно сказал усталый. — Я ничего не имею... Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой... с голяшками... Не уважаете? — Семен Иваныч неуверенно посмеялся. — Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иванович встревоженно.
— Что? — сказал собеседник.
— Не уважаете с голяшками?
— Да я их... это... я их мало видел.
— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая... черт ее... вот уж она виляет, вот виляет, своим этим... Любопытно. Нет, это зрелище, чего ни говорите.
— Совсем голые?
— Совсем!
— А как же... разве у нас снимают такие фильмы?
Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.
— Это ж не наши. Это оттуда.
— А-а, — сказал собеседник. — Там — да... Конечно.
— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!
— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.
— Но в душе, наверно, осудили меня.
— Я? Да почему!..
— Осудили, осудили. Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу... Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело... С вами можно откровенно?
— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник. — Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится...
— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать... Ах мы, бедненькие! А потом отвернемся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?
— Да нет, почему?! — собеседник явно растерялся. — Я как раз ничего не имел... Дело же не в этом...
— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.
— Ну как?..
— Как?
— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.
— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?
Собеседник молчал.
— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!.. — собеседник, чувствовалось, привстал. — В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иваныч. — Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

— Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

— Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом... Приблизительно часа два.

— Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да?

— Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость... Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Иванычем... Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился... Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину — Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит... Семен Иваныч Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках — книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху: «Здравствуй, сосед!» И вспомнил... И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек, слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

— Кажется, подъезжаем, — пошуршал какой-то бумагой на столе — газету, что ли, свернул, — встал и вышел из купе.

Мишка свесил вниз голову... Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику — смотрел в окно.

— Привет генералу! — негромко сказал над ним Мишка.

Малафейкин резко вскинул голову... Встретились глазами. Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

— О! — сказал Малафейкин неодобрительно. — Явились не запылились... Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа — старался насмешливо.

— Чего это... разъезжаем-то? — даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи и как он устал от наград и почестей.

— Чего эт ты ночью плел... — начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему... И встал. И заговорил:

— Ну что, подъезжаем? — суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. — Да, уже. Уже Яуза. Так, так...— потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

«Во фраер-то!» — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

— Вы не в сторону центра едете? — спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина.

— А? — встрепенулся Малафейкин. — Я? Нет, нет... Меня... Нет, в другую сторону.

— А то хотел присоединиться к вам.

— Нет, нет... Мне в другую.

— Нам в сторону Свиблово, — громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

— О, попутчик наш проснулся? — сказал румяный человек. — Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность — нет, никак.

Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина.

— Нет, мне бы еще столько, ничего бы...

— Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор... Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

«Трусит — разоблачу, — понял Мишка. — На кой ты мне черт нужен!»

Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

— Что, хватил вчера лишнего, что ли? — спросил миролюбиво. — Чего турусил-то ночью? Зачем?

— Отвяжись! — рявкнул вдруг Малафейкин. И покраснел, как свекла. — Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал к человеку?!

На них оглянулись... Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро... Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся... И напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу... Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину... Заговорил на ухо ему:

— Ты не ори только, не ори... Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же... придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

— Вам что, легче, что ли, становится после этого?

Малафейкин молчал.

— Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их — вышел на прямую — Малафейкин стал искать глазами милиционера... Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

«Я тебя дома, во дворе, допеку», — решил.

Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

— Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! — прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой... Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

— Звонарь, — сказал он негромко, сам себе. — Дача у него, видите ли. С камином, видите ли... Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют... Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

ПИСЬМО

Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а — пустому углу: иконы-то в углу нет. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины сти-

ральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время... Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет — молчит целыми днями... Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить... Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

— И-и, матушка, — запела богомольная Ильичиха, — дак, а у тя иконка-то есть ли?

— Есть. Она, правда, в шифонере...

— Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

— Да жду своих, Катьку-то, сулилась... А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.

— Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону...

— Да закону-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ишо...

— Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запятила! Бесстыдница.

— Да не ездит никто, оно и дела никому нет, — с сердцем сказала Кузьмовна. — Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.

— Знамо, татаркой-то не живу, — обиделась Ильичиха. — К ей люди ездиют!.. Гляди-ко, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.

— Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

— Да вы вон нарожали их, а толку-то?

— Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысел был, я их ростила да учила старалась... А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь.

— Это вы — наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный...» Зачем тада и ро-

жать? Лучше не рожать — не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были... Куркули.

— Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

— Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!

— А ты че гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому — они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.

— А вы!..

— А вы!..

Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же припшьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими — и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно — сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядныи. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки проглядела — все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца! Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи своему мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так: Коля, что ж

ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь, А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюбимого мужа... Муж се, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь...

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то — пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек — тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они — походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то... Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! — день-деньской думать и думать... Ты, скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так — сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть — в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцыи завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер — вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы

таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять... Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой сниске чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба Оля».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него... Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там!.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала...

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а там — еще день будет. Может, правда приедут — все скорей.

— Старая! — сказала она себе. — Гляди-ко, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время...» — «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении: «Уволить по собств. желанию». Осталось взять трудовую книжку.

За трудовой книжкой Колька и пришел.

Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович, средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда.

— Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку.

— Мало платят.

— Сколько?

— Чего «сколько»?

— Сколько, ты считаешь, мало?

— Шестьдесят-семьдесят... А то и меньше.

— Ну. А тебе сколько надо?

Кольку слегка заело.

— Мне-то? Три раза по столько.

Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству.

— Не хватало, значит?

— Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а... Тьфу! — Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. — Все.

— И куда?

— Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмой километр.

— Специальность в кармане, а ты — ямы рыть. Ты же водитель второго класса...

— А что делать?

— Водку поменьше пить, — Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.

Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова. Пошевелил ноздрями и сказал (как он потом уверял всех) вежливо:

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.

— Каких это штучек?

— Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.

— И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят, — странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь... быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. — Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту водку!.. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные.

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы «глот», да еще «несчастный»... Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились: как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, и уж так — выговаривают что положено, но без всякой надежды.

— Да что за мать-перемать-то! — возмутился Колька. — Ты что... чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом, и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?

Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании: он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную, необидную критику.

— Продолжай.

— Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.

— А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?

— За что? — растерялся Колька.

— За буйство. За недисциплинированность... Ма-а-ленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь... краковяк, — Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.

— За что же ты мне пометочку сделаешь?

— Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут... Нет, скажут, нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут... Дерьмо, — Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы — все сидел, как в президиуме.

— Кто? — спросил Колька. — Как ты сказал?

— Чего «кто»?

— Я-то? Как ты сказал?

— Дерьмо, сказал.

Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек... Плеснул — так вышло. Синельников отнял руку от

головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли... Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки: пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.

— Так... — сказал Синельников. — Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием.

— Ты же первый начал оскорблять...

— Я — словами, никто не слышал, чернила — вот они, налицо. Причем химические, — и опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек! — Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пять рублей, — Синельников взялся за телефон. — Решай. А то звоню в милицию.

Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.

— Почему двадцать пять-то? То — двадцать, а то сразу — двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..

— Пять рублей — это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил.

— Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.

— На попутной я не хочу. Туда — на попутной, а оттуда — такси возьму.

— Фон-барон нашелся!.. «На такси-и»!

— Да, на такси. Что — дико?

— Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться — неужели не совестно?

— Ты меня чернилами окатил — тебе не совестно? Что же я — за спой собственный костюм на попутных буду маяться? Двадцать пять. Пиши.

— Чего?

— Расписку.

Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.

Колька брезгливо взял лист...

— Как писать-то?

— Я, такой-то, — полностью имя, отчество, — обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять — прописью — рублей, ноль-ноль копеек...

Колька зло усмехнулся, покачал головой.

— «Ноль-ноль копеек»!.. Командующий, мля!..

— Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М.

Колька остановился писать.

— Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут... начнут придираться.

Синельников подумал.

— Ладно, пиши: за порчу костюма товарища... белого костюма товарища Синельникова В.М.

Колька пропустил слово «товарища», написал: «белого костюма Синельникова».

— Химическими чернилами...

Колька взял пузырек, посмотрел:

— Разве для авторучек бывают химические?

— А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.

— Писатели, мля... — проворчал Колька.

— Подпись. Число.

Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.

— Сколько тебе под расчет причитается?

— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.

— После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой.

Колька встал.

— Ты это... не говори никому, что... слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей... хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.

— Ладно.

Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.

— Что?

— Хо-о, — сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета.

В коридоре разок про себя матюкнулся.

«Четвертной — как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести — двести пятьдесят рублей... И успокоился. «Да гори они синим огнем! — подумал. — Жалеть еще...»

ПОСТ СКРИПТУМ

Чужое письмо

Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 — это значит четвертый этаж, 9 — это порядковый номер, а два нуля — я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь — окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину... И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без

толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем — они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думала. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее — пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем, и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще, движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам — лежит громадная зажигалка. Цена — 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь — куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая... И вот она увивается перед иностранцами — и так и этак. Уж она и улыбается-то,

она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы... Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зеки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды — никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей... Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж и не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре — ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах — чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально! Показывали москвичи одну пьесу... Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а — смех. Со мной сидел один какой-то шкелет — морщился: по-

шлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого — это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что необязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу — голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок: мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.

А шишечка эта на окне — правда, занятная: повернешь влево — этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо — светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) — не брало. Не то что не брало — легче не делалось.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка... — и дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись... — Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах... Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху. Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

— Он к сударушке, а ты — со стяжком — под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились, и вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот... — у Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. — Спомним былое...

— Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?

— Вона!

— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну и что? Глупые вы какие-то, бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?

— А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь — шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?

— На меня еще такой ревизор не родился...

— Оно видно.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький — сама навялилась. Приходит. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами, и подумал еще, что историйка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кровать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой ми-

ловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля...

Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Во змей-то! — изумилась Поля. — Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит... Николай-угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай-угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей, — говорит.

Тимофей глянул кругом... И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай-угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. — С тоски больше...

не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами... Опять посмеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матершинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал — перед тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрышки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

— Ты что, Тимофей?

— Как на духу батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

— Чего пришел... Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.

— Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

— Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

— Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...

— И что же он, тесть-то?

— Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

— Здорово испаскудился, — серьезно сказал Угодник.

— Совсем никудышный стал народ! — подхватил Тимофей. — Пьют, воруют... Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!

— Приворовываешь?

— Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка... — Тимофей весь собрался, подполз поближе. — Чего я тебя хотел попросить...

— Ну?

— Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообча да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил, — родите-ка вы меня ишо разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами. — Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, — одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил — так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало... Из меня бы про-

курор, я думаю, неплохой бы получился, — Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. — Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок. — Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

— Гляди-ка, правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-яй.

...Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга!

— Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! — тесть-угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишком, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожгу ведь...

Тесть-угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не знаю, — миролюбиво уже сказал Тимоха. — Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

ДЕБИЛ

Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем — «Дебил». Дебил — это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь — Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала — Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил — так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой надо — глаз-то. Купить?»

Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но... Не то что денег не было, а — не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима — он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками — там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

— Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

— Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

— Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа — это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните, — Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, — подумал он про людской поток в целом. — Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же — обзываться! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти — что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

— Ой, умру! — сказала она с трудом.

— Схороним, — сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

— Ты что, сдурел? — спросила жена.

— В чем дело?

— Зачем ты ее купил-то?

— Носить.

— У тебя же есть фуражка!

— Фуражку я дарю вам, синьорина, — в коровник ходить.

— Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось, знаешь, что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену... Но интеллигентность взяла вверх. Он промолчал.

— Кто ты такой, что шляпу напялил? — не унималась жена. — Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты — шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

— Шалашня! — сказал он. — Могу ведь смазь замастырить. Замастырить?

— Иди, иди — покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться все будут!..

— Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно даже позволить кому-нибудь подержать в руках — у кого руки чистые.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками.

По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что — хорошо, глаза от солнышка закрывает... Кто и вовсе промолчал — шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один...

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он — это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза, как у черта, — светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

— А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

— Никаких настольных ламп, — ответствовал Анатолий. — Как было, так и будет — по старой ведем.

— Старое отменили.

— Когда?

— В семнадцатом году.

Анатолий обиделся,

— Слушайте... вы сильно ученый, да?

— Так... средне. А что?

— А то, что... не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

— Не буду, — согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?» Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» — «Потому, что... знаете? — нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось — не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? — он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть...

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался... и смотрел в глаза Анатолию — прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги оглянулся, поздоровался, скорей машинально... Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся... Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

— Здравствуйте! — сказал учитель. — А я смотрю: тень какая-то странная на воде образовалась... Что такое, думаю? И невдомек мне, что это — шляпа. Славная шляпа! Где купили?

— В городе, — Анатолий и тон этот подхватил — спокойный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. — Нравится?

— Шикарная шляпа!

Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

— Клюет?

— Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

— Дорого.

— Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку — и на стенку. Иначе поля помнутся, — учитель посмотрел искоса — весело — на Анатолия, на шляпу его...

— Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

— Как это? — не понял учитель.

— Да вот эти вот взгляды... косые — зачем? Смотреть надо прямо — открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

— Да... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

— Это неуважение.

— Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все... Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже — интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

— Правила хорошего тона?

— Да. А что?

— Изучают такие правила?

— Изучают.

— А правила ехидного тона?

— Э-э, тут... это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

— Клюет!

Учитель дернул удочку... Пусто.

— Мелюзга балуется, — сказал он.

— Мули.

— Что?

— У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль — рыбка такая. Ма-аленькая... Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

— Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь... Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда?

— Это смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще...

Учитель засмеялся.

— Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу — это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

— Ну, о чем же вы думаете? С удочкой-то?

— Да разное.

— Ну, все же?

— Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? — учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

— Сорок. А что?

— И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку — и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы... Помолчал, через силу улыбнулся.

— Нет, не хочется.

— Значит, я один такой... Серьезно, сижу и думаю: хорошо бы пройтись босиком по селу! — учитель говорил искренне. — Ах, славно бы! А вот не пройдешь... Фигушки!

— Да... — неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: — Так-так-так...

— Слушайте, — заговорил учитель горячо и серьезно, — а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь... Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

— Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то — жарко.

— Ну-ну, не поняли вы меня.

— Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать... в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку... Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился... Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,
Я думала о ва-ас;
Блестяща мысль моя и путалась и рвалась...

Помолчал и сказал негромко, себе:

— В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей...

Проигрыш. Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара-та-та-ра...рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра...

Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

— Коль, «Цыганочку»!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.

— Валю-ша, — зовет он, подняв голову. — Брось-ка мне штиблеты — «Цыганочку» товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — «по-тирольски», чем потешает публику.

— Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже,

и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

— Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него не похоже, и никто так не думает — просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики, и парни.

— Какой размер, Коля?

— Фиер цванцихь — сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает «Цыганочке», где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки — каблучки, каблучки — носочки... Опять взвякивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы — Валя смотрит на своего «шута». Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой «Цыганочки». Три года назад этой самой «Цыганочкой» Колька «обаял» гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк-Колька с Валюшей самым идиотским способом — заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось — Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу — Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией — много «разных слов». Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня — смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а

главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща — родней — купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде — сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот «чистыми». Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома — шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

— У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

— Заткнись со своей деревней, — посоветовала Валя. — Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип... — терзался изумленный Колька. — Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «деревня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых — все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы — сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, — таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке, и пел, кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;

Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские — крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

— Мам, ты чё это?

— Чё?

— Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

— Да боюсь я, сынок, чё-нибудь не так сделаю.

— Ну, ты уж какая-то...

— Да ничё, чё ты? Посмотрела вот — и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те господи! И живи. Она бабочка-то ничо, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

— Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... эта... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними.

— Ты смотри, смотри-и, парень! — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. — Ты смотри-и!.. Ты — за рукоприкладство-то — в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ро́стили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

— Что же вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшего и в загс — инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили — и в кусты? Как же вы так, лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

— Кретин! Сволочь!

— А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

— Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

— Голодранец поганый!

— Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

— Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

— Куда это? — спрашивал Колька, прищемив боль зубами.

— К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

— Ну как заказчики? — интересовался ночью Колька и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся — не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

— Дурачок, — спокойно говорила Валя. — Не думай — не из таких.

— Вы не из таких, — соглашался Колька, — вы из таковских. Бывало, что по воскресеньям они втроем — с дочкой — ездили куда-нибудь.

Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин переска-

кивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, — это не жизнь, это что-то нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает — бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы — мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше? Дальше — плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет — подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он приедет один, мать станет плакать: это большой грех — оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать?

Окно на третьем этаже открывается.

— Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин. Тебя же счас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

— Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

— Закрой поддувало. И окно закрой — она будет спать.

— Кретин.

— Падла.

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

— Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки и дед, и вся родня — бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

— Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

— П-положь ребенка, — сказал он, заикаясь.

— Только тронь!..

— Все равно я тебя убью сегодня, — Колька сам подивился — будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. — Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыл кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

— Пусть течет пока, — сказал вслух.

Вошел в комнату — Вали не было. Зашел в другую комнату — и там нет.

— Убежала, — вышел на лестничную площадку постоял... Вернулся в квартиру. — Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

— Не обрадуетесь, гады.

Сел... Но тотчас встал — показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

— Так? — спросил себя Колька. — Значит, жена мужа в Париж провожала? — закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: *«Доченька, папа уехал в командировку»*.

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

— Скотина! И газ не... — но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русый был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

— Надо... это... милицию.

ОРАТОРСКИЙ ПРИЁМ

Тринадцать человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней, направили «на кубы» (на лесозаготовки). На три-четыре недели — как управятся с нормой. Старшим назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

— Значит, Щиблетов... ты, значит, теперь Христос, а это — твои апостолы.

«Апостолы» засмеялись. «Христос» сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

— Сбор завтра в семь ноль-ноль возле школы, — сказал он серьезно. — Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно, «апостолы» переглянулись между собой... Щиблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

— Вот, значит, э-э... чтобы все было в порядке, — сказал директор. — Через недельку приеду попроведую вас.

«Апостолы» вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного.

— Щиблетов-то!.. Понял? Уже — хвост трубой!

— Да-а... Любит это дело, оказывается.

— Разок по букварю угодить чем-нибудь — разлюбит, — высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким курносым лицом, муж горбатой жены.

— Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус, — мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

— А ты иди похмелись, — огрызнулся Славка.

— Золотые слова, — прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все — кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной «москвичке» (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович — сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена... или кто она ему — непонятно. По паспорту — жена, на деле — какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

— Как вы так живете?

— Так... — неохотно отвечал Щиблетов. — Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами во многом виноваты...» С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на Доске почета.

Старшим его назначили впервые.

— Не спешат друзья, — сказал Щиблетов.

— Придут, — беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор. — Иди погрейся, что ты там топчешься.

— Придут-то, я знаю, что придут, — Щиблетов полез в кабину, — но было же сказано: в семь ноль-ноль.

— Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

— Да.

— Счас придут. Вон они!..

Стали подходить «апостолы». Щиблетов вылез из кабины.

— Друзья!.. — он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой.

— Успеем, — успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое.

— Здорово, орлы! — приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: — Но не те, которые летают, а которые...

— Залезайте, — несколько брезгливо оборвал Щиблетов.

— Зале-езем, куда мы денемся, — гудел Куликов, не замечая брезгливости Щиблетова. — Залезем... за милую душу.

— Ко всем обращаюсь! — возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт. — Чтобы вот такого больше не повторялось!

У «апостолов» вытянулись лица — чего не повторялось?

— Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас... без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

«Апостолы» молчали... Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

— Поехали.

Поехали.

— Куликов частенько закладывает? — поинтересовался Щиблетов, как интересуются властью наделенные люди: никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе обещанную интонацию — заняться в дальнейшем этим Куликовым.

— А ты спроси у него, — невежливо ответил шофер. — Он ответит... Что за манера — справки наводить! Рядом же человек, живой — спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

— Чего они? — встревожился Щиблетов.

— Погреться хотят,— шофер подрулил к чайной. — Это здесь тепло, а в кузове продерет — дорога длинная.

— Не останавливайся! — строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав «апостолов», зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

— Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

— Водку не продавать. В крайнем случае — по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: «Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!»

Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит.

— Горюет!.. Жалко.

— Тут голову сломаешь, и то никому не жалко, — сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

— Мужики, а водки не велено вам продавать, — хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

— Кто? — спросили в несколько голосов.

— А вот... товарищ... Я не знаю, кто он над вами, — не велел продавать.

— Друзья, — обратился ко всем Щиблетов, — разрешаю по стакану красного!.. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова — никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

— Чего, чего?

— Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Чернов, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку...

— А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

— Пошли, — сказал Иван, увлекая его к машине. —А то он так чокнет, что получится — на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют... Я тоже.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?

— Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь... Сиди, не рыпайся — лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли;
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!

— Валенок сибирский, — зло и насмешливо прошептал Щиблетов. — В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснуло два ножа:
— Эх, братцы, он не наш, не с океана!
— Мы, Гари, посчитаемся с тобой! —
Раздался пьяный голос атамана.

— Посчитаешься, посчитаешься, — шептал Щиблетов.

Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

— Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах — собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов поло-

жил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

— Я попрошу шофера пока не уезжать — отвезешь протокол... Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

— Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

— На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков... В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку — четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели...

— Вон как!

— Что эт тебе, бабу повалить?

— Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

— Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

— Перехожу ко второму вопросу, — продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания. — Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

— Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их, — Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял «москвичку». — Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один...

субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

— В воду! — подсказал Славка Братусь.

— В воду! — подхватил Щиблетов. — Для того, чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели «глазом моргнуть», «опомниться»... Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: «Это меня — в воду?» навесил ему пудовую оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он «сушил сухари» — дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд не подал, а подал директору... протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать... Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла, — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала о муже... твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, что он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, что говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... — и тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа, и зятя.

— Молчать! — строго осадила Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, окружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!.. — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях, — она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать, — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне— курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, что я, хромой, — на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе пообещала теща, И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согревать привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас это поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще пока не знаешь... Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна помчалась в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за молодость и за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот что на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубку купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну, а обзывался-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. После бани четвертинку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, что она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже

чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на люди стыд показываться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил: Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина...

— Да она-то что... Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавились, нет.

«Вот же ж тварь, — думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила, и всю жизнь злилась. Курва... На кой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ, Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы, — и Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало, — процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно взыграла душа. Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжкое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали (странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались). — Она мне не докладывает.

— Разговорчики! — прикрикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя.

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня.— Сама любишь людей сажать? Теперь маленько опробуй на своей шкуре. — Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

— Ну, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это тоже не скажут!

Вене попался на глаз кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгиляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгилялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые, и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный, уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется, — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. — Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом. Это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае просто полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто?

Под Веней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки вон: щупленький такой же, молодой, лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался. Бросил винтовку упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел тут же его пристрелить, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И что вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. А фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, что бывает — найдет на человека слабость, стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей, — представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он испугался — это понятно. Но испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну, тогда положись на

волю божью, как говорят, точнее, — на медвежью: задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался: он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди — возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька смотрел на представительного мужчину, плохо понимая, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Он раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли он дать суду какие-нибудь пояснения, он пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну — четыре — тридцать один — тридцать два...

Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его, как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это

вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех — надо сажать. О, господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и все равно это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи, жить бы отдельно... Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но как бы, о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал. У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слиплись и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки.

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло: земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший.

На двадцать седьмом километре Веня увидел впереди «Волгу» — стоит, капот задран, шофер в моторе копается, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай... — и узнал Веню. — О-о, — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. — Старый знакомый!

— Садись! — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо, и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Что?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно, — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами. Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь, — мужчина чуть колыхнул

животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И — как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один... — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается как Волга. — На заказ.

— Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет? — расспрашивал прокурор.

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже, — Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

— Что значит — хорошее?

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет, — странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

ЗАБУКСОВАЛ

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился...» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается...»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дуроломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились...»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали, значит, учи, —

и чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку... извозился весь.

— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку... «Русь-тройку» учит...

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...

— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю. — Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайди, — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну по губернии. А может, Гоголь, так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал, — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да, — учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. — Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло, — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

ТРИ ГРАЦИИ

Рассказ-шутка

Воскресенье. Сегодня в течение дня буду ненавидеть. Месяца два, как я переехал на новую квартиру, и каждое воскресенье — весь день напролет — ненавижу.

Это происходит так.

С утра, часов в девять, на скамейку под моим балконом садятся три грации и беседуют. Обо всем: о чужих мужьях, о политике, о прохожих... Я выставляю на балкон кресло, курю, слушаю этих трех — и ненавижу. Все человечество. Даже устаю к вечеру.

Как-то будет сегодня? Погодка славная (раза два в воскресенье шел дождь, их не было, я не знал, куда деваться от тоски); сегодня они должны хорошо поговорить.

Итак, заготовил пачку сигарет, бутылку хорошего вина (буду пропускать по рюмочке, когда какой-нибудь из этих трех удастся особенно больно уесть прохожего, или если выяснится, что у товароведа из 27 квартиры — крупная недостача — или что он — рогоносец).

Сперва коротко опишу их.

Номер один. Тихая с виду, в очках, коротконогая. Лет тридцать с гаком. Говорит негромко, мне приходится наклоняться, чтобы хорошенько расслышать ее. Одинокая, но заявляет, что «они от меня никуда не уйдут». Будем называть ее — Тихушница.

Номер два. За сорок. Крупная, с вишневой бородавкой на шее. Говорит громко, уверенно. Часто сморкается, после чего негромко несколько раз делает так: «кхм, кхм, кхм». Эта раза три обронила: «Все они сейчас — никуда не годятся». Будем называть ее — Деятель.

Номер три. Рыжеволосая. Тоже за сорок. Необычайно подвижная, легкая на ногу, стремительная в мыслях, мастер замочных скважин. Тоже, как я, ждет не дождется воскресенья — приходит на скамеечку раньше подружек, трещит без умолку, но авторитетом в коллективе не пользуется: суждения ее неглубоки. Будем называть ее — Летящая по волнам. Можно просто — Рыжая.

Десять часов. Что-то запаздывают. Четверть одиннадцатого... Начинаю нервничать. Что с ними? Уж не поехали ли за город? Нет!.. Вон идет Рыжая. Лапочка моя! Ой-ой — в новом свитере!.. А походка!.. Вся — движение, порыв. Наполеон на Аркольском мосту. Глаза горят. Наверно, какой-нибудь из се начальников полетел за «аморалку». Или кто-нибудь где-нибудь отступил. Она утопичка: ей кажется, что никто никогда не должен уступать. Ммх, лапочка!..

А вот и Тихушница. Идет, переваливается уточкой. Тоже вообще-то лапочка. Она, конечно, не Наполеон на мосту, но я глубоко убежден, что «они от нее никуда не уйдут». Как-то раз она сказала: «Я знаю, что им всем надо». Сейчас, когда так ослепительно блестят ее очки, я верю — знает.

Две есть. Третья?

А-а!.. Деятель. Идет. Я всегда думаю, глядя на нее, что сильный характер — это от бога, как бородавка.

Ну — собрались. Закурим! Наверно, начнут с политики — прохожих еще мало.

— Сегодня так плохо спала ночь, так плохо спала! — это Рыжая. — У этих собака внизу... Гадина!.. Всю ночь — «гав-гав-гав!»

— А меня этот паровоз всю ночь донимал, — сказала Деятель. — Всю ночь — «ту-у! ту-у! ту-у!» Какого черта гудеть? Ночью же на путях детей нету.

— Маневровый, — пояснила Тихушница.

— А?

— Маневровый. Он своим сотрудникам гудит, чтобы его перевели на другие рельсы. А у меня голова что-то всю ночь болела...

Все три плохо выспались. Будет дело!

— Почем же огурцы теперь стали? — спросила Деятель.

— Я в прошлую субботу была на базаре — два рубля.

— Два рубля?! Да я вчера в «Овощи-фрукты» по рупь тридцать брала. И народу мало.

— А я вчера... — заговорила было Рыжая, но тут нанесло неурочного: какой-то парень, явно с похмелья, шел по двору, направляясь, видно, в магазин за пивом.

Все три смотрели на него. Попался, голубчик! Выпил в субботу? Сейчас закусишь.

— Иде-ет, — сказала Деятель. Таким тоном, будто по двору шел ночной грабитель, которого за углом ждет не пиво, а наряд конной милиции.

— Краса-авец... Ручки в брючки.

— Что, милок, с похмелья?

Парень посмотрел на них.

— А вам что?

— Ничего, ничего — пей. Больше пей — к сорока годам будешь чурка с глазами, — это — Деятель.

Парень, изумленный, остановился.

— Ты что?

— Я, мол, пей. Больше пей!

Тихушница и Рыжая промолчали.

Парень пожал плечами, пошел дальше. Но только он отошел, мои грации осмелели.

— Он и сейчас-то уж никуда не годится. Для мебели только.

— Алкоголик, глот. Тоже ведь — «ты что?»

— А у меня — сестрин муж, — стала рассказывать Рыжая. — Я ему: «Что ж ты, говорю, пьешь-то, рожа твоя кывадратная? Ведь ты вот с получки-то сколь? — двенадцать рубликов усадил! А на двенадцать рублей можно полторы недели питаться, если ты — опять же — не нальешь глаза-то да мяса себе не будешь требовать». Так он мне: «Все пьют. Не пьют только собака да кошка — они лакают». Такой паразит!..

— Что ты! Они ответют.

— «Я, говорит, работаю. Что же, мне и выпить нельзя?»

— Они работают! Со мной на площадке один — тоже работает. Я на днях стала диван выколачивать, так он: «Что же это вы на площадке-то? Люди работают и должны вашу пыль глотать!» Я говорю: «Где ж эт ты, милок, работаешь-то? Ты ж целыми днями дома сидишь. Вот так работка!» — говорю. Он мне: «Я диссертацию пишу». «Эх ты, думаю, лысая ты коленка, диссертацию ты пишешь!.. А чего же полысел-то раньше времени?»

— Истаскался.

— Знамо дело!

— Пьет?

— Что ты! Он скорей задавится, чем бутылку себе возьмет.

— Они такие — лысые: истаскаются, потом начинают: тут болит, там болит... А деньги на книжечку.

За этого лысого, который диссертацию пишет, я выпил рюмочку — очень уж славно они его уделали. Голеньким выставили — со всех сторон. Будь здоров, очкарик!

Деятель высморкалась, сделала «кхм, кхм» и продолжала:

— Они лысеют, а людей на земле уменьшается. Я бы расстреливала таких.

— Собрать их всех в одно место и посадить на карточную систему! — неожиданно громко и зло сказала Тихушница. — Узнают тогда.

Какова Тихушница-то!.. Голосок прорезается. С карточной системой она неплохо придумала.

— А один лысый, я слышала, — заторопилась Рыжая, — сделал себе капроновые волосы, заплатил валютой, напился пьяный, а его постригли в милиции. Ха-ха-ха!.. Они же не знали! Ха-ха-ха!..

Ну эта все по анекдотам дает, верхушки сшибает. Нет, голубушка, если за душой ничего нет, не помогут и капроновые волосы. Что это?.. Нет, Рыжая явно не тянет.

Тут выпорхнуло из подъезда этакое воздушное создание и заспешило, заспешило, отстукивая каблучками по асфальту. Коротенькая юбочка — туда-сюда, туда-сюда...

— Вот она! — в один голос сказали Деятель и Тихушница.

— Ну к чему такие короткие юбки? — вякнула Рыжая. Да заткнись ты!

— А легше, легше, без всяких там... — сказала Деятель.

— Больше-то нет ничего, вот они и выставляют коленки, — заметила Тихушница.

То есть как это «ничего нет?» Не понял. Что-то ты, матушка, не того... не объективно.

— К любовнику пошла — торопится. Сейчас придет, а там — другая.

— У них график. Как у паровозов.

— Идет, виляет... А чего вилять, чего вилять? Там вилять-то нечем.

— Шкелеты.

В это время вышел на солнышко глубокий старик.

— Идите к нам! — сказала Деятель.

Старик присел на лавочку.

— К сыну приехал?

Старик был с глухотцой.

— А?

— К сыну погостить приехал?

— Ага.

— Сноха-то ничего, не гложет?

— Нет, ничего. Она хорошая.

— Они все хорошие... пока спят. Как там в деревне-то?!

— Хорошо. Косить начали...

— Оптимистический старичок! — сказала Рыжая. — Везде у него хорошо! Видел такой фильм «Оптимистическая трагедия»?

Деятель снисходительно похлопала старичка по спине.

— Волос-то — тоже на одну драку осталось?

Старичок усмехнулся.

— Мне уж семисит пять скоро...

— О! А все жалуетесь: плохо в деревне, трудно.

— Я не жалуюсь.

— Они теперь все хорошие, трудящиеся...

— А кто огурцы по два рубля продает?! Кто с мешками на метро ездит?.. Мешает!.. — это Рыжая «покатила бочку». — Кто поступает в дворники, а потом получает секции? Кто в колхозы не хотел идти? Кто упирался?!

Деятель стиснула зубы и оглянулась во гневе.

— Кто из-за угла стрелял? — спросила она тихо. — Кто без конца вредил?

Я налил рюмочку. Старичочек, конечно, не ждал такого. Тихо было кругом, тепло, солнышко светило.

— Кто с необъятных полей колоски воровал?! — как-то даже взвизгнула Тихушница. — Кто самогон ва...

Тут старичок встал, весь подобрался и неожиданно громко — на весь двор — скомандовал:

— Стать!

Грации опупели. Молчали.

— Стать!!! — заорал старичок. И замахнулся палкой.

Рыжая и Тихушница встали. А Деятель, наклонив вперед голову, смотрела на старичка.

— Я — Егорьевский кавалер! — кричал старичок. — У меня медаль за «Трудовую доблесть»! У меня сын — токарь семого разряда! Я вас сам в ГПУ — за такие слова! — он заплакал и пошел домой.

Рыжая и Тихушница сели. Им стыдно стало, что они испугались. Они стали оправдываться:

— Он же ненормальный, я давно замечала.

— Я тоже замечала.

— Когда «давно»? — спросила Деятель.

— Ну, давно.

— Он только вчера приехал. Это сын у него ненормальный.

— Это который на мотоцикле-то? Да тот уж лежал в психиатрическим раз пять. Тот просто задавит кого-нибудь, и все. «Токарь семого разряда». Знаем мы этих токарей... Только премиальные хапать.

Деятель понюхала табачку.

— А потом пропивают их с мастерами. Да на мотоциклах гоняют.

— Думают, у них мотоцикл, так за ними любая побежит! Тьфу!.. — Тихушница в самом деле плюнула. — Да по мне — хоть будь с трактором, мне и то на дух не надо. Мне — лишь бы человек был.

Я налил рюмочку — за мотоциклистов. Вообще — за наш славный спорт. Хороши они сегодня, мои грации!.. Мои лапочки. Ворочают пласты — от коллективизации до мотопробега. Сердце радуется! Маленько старичок их смутил... Но это... так, ерунда. Они ему тоже бубну выбили: будет знать, как стрелять из-за угла и воровать колоски. Кулацкая морда. Да еще Георгиевским крестом хвалится! Ясно: какого-нибудь пролетария свалил. Пень дремучий. Дупло. Я выпил еще рюмочку. Потом я выпил еще: товаровед из 27 квартиры не только растратчик, он еще и без одного легкого. Куркуль недорезанный. Тубик. И тут меня стукнула идея. Как только я выпиваю лишнего, меня начинают стукать разные идеи. Иной раз с похмелья все тело болит. Идея такова: в нашем дворе есть еще одна скамейка с высокой спинкой. Если эту спинку аккуратненько подпилить да потом снова приставить на место... Представляете? Человек садится на скамеечку и приваливается к спинке... Тот же старичок. Или этот, с одним легким... Представляете? А наблюдать все это можно с моего балкона хотя бы. Я вынесу еще три кресла — балкон у меня большой.

Я выпил рюмочку и спустился к грациям.

— Здравствуйте! — сказал я. — Представляете?.. человек присел отдохнуть, так? И — раз! — кверху ногами. Мы хохочем негромко. Вы спросите: как это делается? Вон скамейка — видите? Подпиливается спинка... Мм? Я это берусь сделать в ночь с субботы на воскресенье. И мы весь день хохочем. Старичок грохнулся, я выхожу и опять подстраиваю спинку... А этому с одним легким-то, много ему надо! А? Я даже диван на балкон вынесу... Мы славно попируем!

Тут Тихушница встала и куда-то пошла.

Я продолжал развивать мысль. Я доказывал, что всякая идея должна воплотиться в образ, должно быть зрелище, спектакль. Только тогда идея будет выражена до конца.

Сосед из 27 квартиры рассказывал мне через три дня:

— Вы кричали на них: «Почему вы не понимаете этой идеи со спинкой скамьи?.. Вы — пустобрехи! Кустари!» Чего вы хотели от них? Они же глупы, как...

Я смотрел на него, на этого недорезанного, и думал: «Не будь они глупы, ты бы сейчас кровью харкал». Но это было потом.

А тогда, в воскресенье, я вдруг обнаружил, что передо мной стоит милиционер. Как из-под земли вырос. Они меня предали. Они ничего не поняли...

Тот же сосед рассказывал:

— Когда вас вел милиционер, вы плакали. Вы оборачивались к ним и говорили: «Эх вы! За чечевичную похлебку!.. А я любил вас! Ну и сидите зубоскальте! Мещанки... А годы проходят! Жизнь проходит!» Чего вы все-таки от них хотели?

— Совершенства. Цельности. Красоты.

Сосед громко захохотал (при одном легком!).

— Нашли красавиц!.. Что вы, помоложе не можете подыскать?

Нет, зря я тогда лишнего выпил. Не выпей я лишнего, я бы смог спокойно и обстоятельно разъяснить им, зачем надо было подпилить скамеечку. Загубил прекрасную идею!

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

— Куда я переквалифицируюсь-то? — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года. — Легко сказать — переквалифицируйся... Что я, боров, что ли, — с боку на бок переваливаться? — она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок».

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении, — все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый... К концу-то огляделись — да он умница, этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он — умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое — теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он — редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не

страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты—и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут, — рассуждал Баев. — А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!.. — Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: «сево?» — Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего. В учетном деле и называется — смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь — на пятистенок едва-едва. Просадит силенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше — пшик.

Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в горбольнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало...

— Неверов, Василий Ильич. А тогда что. С молокопоставками не управились — ему хоть это... хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» — «Ну-ка», — говорит. — «У нас, мол, колхозники-то все вытаскали?» — «Вроде все, — говорит. — А что?» Я говорю: «Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?»

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья. — Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное — на молоканку: да ведь планы-то какие были... безобразные!

— Ты вот слушай! — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке.

«Все, мол, вытаскали-то? Или нет?» — он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки». Посмотрели: почти все, ерунда осталась. «Ну вот, — говорит, — почти все». «Теперь так, — это я-то ему — давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?» Он мне: «Ты, — говорит, — мне мозги не... того, говори дело!» Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров, — Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. — Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы — такой-то. — Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. — Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами — не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

— Да господи! — воскликнул Баев. — Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, — как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел... А я — в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вот когда попал!

— А чего?.. Заболел, што ли?

— Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а... как это выразиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все думал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал — полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну, ладно, думаю, желание мое исполняется.

— Дак чего, просто вот полежать, и все? — никак не могла взять в толк Марья.

— Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил — больше интересуются: «Что болит? Где болит?» Сердце, говорю, болит — иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей-то мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: «Здравствуйте, мол, ребята!» И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: «Надо анализы собирать». «Какие анализы?» — «Калу, — говорят, — девятьсот грамм и поту пузырек». Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

— Ну и как? — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. — Собрал?

— Стали сперва собирать пот, — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. — Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать — туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы: идет такая страшенная война, их, как механизаторов, на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помал-

кивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт-те чего. Думает он, лежит, что у него — жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

— Дак, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли? — вытерла опять глаза. — Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

— Вот то-то и оно — ничего сделать с собой не можем, — обиделся Баев. — Живем безалаберно — ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем — ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем — опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки, — Баев по-живому обозлился. — Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный — да колом бы, колом бы всех подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь? — сказала она. — И рад бы душой — помочь, а как?

— Никак, — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями — одной, другой, — поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие... — вздохнул Баев. — Все зрячие, да не все умные, — Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчи-

во. — Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это же ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же ишо приходская школа-то была... Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только ни просил: в ногах у него валялся, ревмя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский. Эх-х!.. — Баев еще помолчал горестно. — Дак я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели.

— Дак, а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: «Прости, Колька, учиться тебе препятствовал...» И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. «Ладно, — говорю, — чего теперь?» Вот как душа затвердела! А потому что — обидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, «прости» говорил.

— Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: «Напиши, ради Христа, прошение», или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду — мне плевое дело прошение-то составить: где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. «На, хлопочи, ехай». Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг — счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю. Эх-х! Ладно, — Баеву правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. — Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот счас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь

меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церковно-приходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня — на других ревизором! Молчал уж...

— А ведь вот дал же бог такое стремление — учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья. — Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность, — пояснил Баев. — Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Ишо карапуз был, а, бывало, зайду по колена в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось — залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же, — с уважением опять сказала Марья. — А мне вот — хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

— Я уж, грешным делом, думаю... — Баев даже оглянулся и заговорил тише. — Я уж думаю: не прислала ли меня мать-покойница с кем другим?

— Господь с тобой! — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. — Тетка Анисья-то! Да ты что, Ферапонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

— Ну!.. — Баев полез опять за пузырьком. — А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тада рылись — искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

— Дак, а похож-то?

— Ну!.. Похож! Потрись с малых лет возле человека — будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять... — ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило, — Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и

сомневался. — Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там... буянить на праздники. Нет! В огороде своем копаться не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...

— Дак оно бы и все-то так посиживали — в тепле да на почете, — вставила Марья.

— Садись! — воскликнул с сердцем Баев. — Чего ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

— Посиживай...

— Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца?

— Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

— В войну-у! — перебил Баев. — С наганами-то бегать да горло драть — это ишо не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже — храбрец из храбрецов считался...

— Ну сравнил!

— Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

— Кыса — разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

— Это... все так, — вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья — спорить, неглубоко берет баба своим рассудком. — Конечно, командир, ордена... трень-брень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так — куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь — наискосок — домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом — день шумливый, суетной, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать — испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывал в нос послед-

нюю порцию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

— Ферапонтыч, — выдохнула она с ужасом, — гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок...

Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека... «Стреляй»! Как?! Ты што?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.

— Царица небесная, матушка, — зашептала Марья, — конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья. — Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полунощный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья. — А ты что, за четвертинкой в сельмаг?

Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь — ночь.

— Заспал...

Баев пришел наконец в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а, — сказал он. — Пить, так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья. — А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью —то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.

— У него голова болит, — с сердцем посочувствовал Баев. — Эх-х... Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. — Мне счас внучка книжку читает: Александр Невский землю русскую защищал... Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев. — Выдумал... и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

— Это же исторический факт, — сказал Петька. — Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

— Не было.

— Вот как! — Петька качнул больной головой. — Хм...

— С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.

— Если уж счас с вами ничего сделать не могут — со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески, — то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам — поискал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

— Пиши в газету, — посоветовал он. — Опровергай.

И встал, и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

— У их, наверно, свадьба, — сказала Марья. — Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?

— Черт их теперь знает. И знать не хочу... Сброд всякый, — Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно — как ватные сделались. Все же испугался он сильно. — Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

— Они, ночи-то, вон какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то — видит, светло, и дунул в сельмаг.

— Это ж... он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась.

— Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

— Пойду. Спокойно тебе додежурить.

— Будь здоров, Ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу — напекем.

— Напекем, напекем, — сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко — Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как

она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара. — Мм?.. — и, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь захапал!»

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была — рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: «Кто на перевязку — заходите». И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Серега от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сереги, где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики, Клара испугалась: «Больно?!»

— Да иди ты!..—с трудом выговорил Серега. — Делай свое дело, — он приник бы мокрым лицом к этим милым

пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд — что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут — от фонаря работаем, — сказал Серега сердито. — Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что-что?

Ну, и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его — Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался «вареный какой-то», они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был «вареный», ходил, выпятив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его — капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира, — посоветовал Серега одному такому умнику. — Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо, и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек, — говорила жена Клара. — Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови. — Чего вам еще? Он занят делом.

— Дак а ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужниной, матушка! Покрути-ка его день-деньской (Серега работал трактористом) — руки-то какие надо! Он же не двужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем, — сказала на это Клара. — Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему Ясно?

— Господи, батюшка!.. — опешила мать. — И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать. — Он и до тебя не шибко пил, чо ты с пьянкой-то? Заладила: «пьянка, пьянка».

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать, — объявила Клара. И даже поднялась, и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу — «скажу». Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете? — Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь. — Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как ксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжело хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи, — только и сказала мать. — Вот какие нынче пошли жены-то! Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем? — мило капризничала Клара. — Что за странности какие-то?

— Я прошу, — настаивал Серега. — Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется, — он показывал под сердце. — Я прошу, Кларнетик, — он ее называл — Кларнетик. Или — Кларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь, — показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите, — Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал «врача» в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у, — противилась Клара, — врача-то!.. — ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

«Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату. — Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе».

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродной брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил се Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная,

воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так — о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо, — говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают, — мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточнил: конкретный, а не сухой, ибо все во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди, — возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка. — Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он. — Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же шарлатанство,— при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только...

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда, — напористо и сердито, и назидательно заговорила Клара, — что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник, — особенно четко и страшно выговорилось у

нее это «п р е с т у п н и к». И это — при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: «Что, съели?! А вякали!..» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает, что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потянулись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса. — А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю, — четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю...

Клара не задумывалась над ответами. Вообще, казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет, и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это, — Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце, — всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну, она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, што... На, закуси лучше.

Серега — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес, — покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: «Вот — живу. Хорошо».

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса, или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой, — ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара, — да что же ты торопишься-то? Дай я тебя... — чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко... — Славненький мой. Чудненький мой... — чмок-чмок. — Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Серега пропускал его слова, — Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах ты, шалунишка! Поцелуй меня в носик.

«Так вот это как бывает, — с ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега. — Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя, — все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. «Ну, теперь все равно», — подумал Серега. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый, — вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега. — А я вас счас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались, когда она махнула через прясло, се рыжая грива вздыбилась над головой... Этакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то! Что же делается?» — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега. — При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут — добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга, — поинтересовались, — а вот ты же это... любил ее... А если б счас приехала, простил бы?

Серега промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли, — приедет.

— А что? Подумает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортился, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с середки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово. — Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева — тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: «А зачем пить много разрешал!» Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

МНЕНИЕ

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд боль-

шого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, «шефуни», как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

— Боженька мой! — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер.

Телефон сразу откликнулся:

— Да. Яковлев.

— Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

— Читаю.

— Заходи, общнемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол — небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились, как ему хотелось, — небрежно, он делал вид, что он не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча — небрежно — пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружились его красивые носки.

— А? — спросил Кондрашин, кивнув на газету. — Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом, — он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг этаким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще

и — совсем уж некстати — слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

— Не говори, — сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

— Черт знает!.. — воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой. — Если нечего сказать, зачем тогда писать?

— Откликнулся. Поставил вопросы...

— Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

— Ну как же? Там даже есть фразы: «Мы должны напрячь все силы...», «Мы обязаны в срок...»

— О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане — конкретнее хоть. А то именно — фразы.

— В ресторане — это само собой, это потом.

— И ведь не стыдно! — изумлялся Кондрашин. — Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

— Черт с ним, чего ты волнуешься-то? — искренне спросил Яковлев. — Дежурная статья...

— Да противно все это.

— Что ты, первый год замужем, что ли?

— Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!.. — и Кондрашин вполне по-русски помянул «мать». — Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

— Что ты сегодня? — изумился теперь Яковлев. — Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

— Не знаю... — Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету. — Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбесила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот, — Кондрашин кивнул на газету, — дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

— Да, — только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

— У Семена не был вчера? — спросил Яковлев.

— Нет. Мне опять гостей бог послал...

— Из деревни?

— Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонишь же.

— А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

— Из горкомхоза?

— Да.

— Знаю.

— Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину — и никс проблем.

— Да неудобно... Как-то, знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались, Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От «шефуни».

— Дмитрий Иванович просит вас зайти, — сказал в трубку безучастный девичий голосок.

— У него есть кто-нибудь? — спросил Кондрашин.

— Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас.

— Хорошо, — сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой — привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень нравилось Кондрашину в других, вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал, — губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь «шефуни».

— Там еще, — сказала секретарша. — Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой — губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью — и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все «шефы», «шефуни», «надшефы» и даже «подшефы». Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища «шефов», но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Примитивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, «шефуня», был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

— Садитесь, — сказал Дмитрий Иванович. — Читали? — и пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что «шефуня» прямо с этого и начнет — с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

— Читал, — сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

— Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили — срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: «Мои демократы мне за это шею намылят». Ни в какую. Давайте, говорите теперь — постфактум. Мне нужно знать мнение работников.

— Ну, это понятно, почему они торопились, — начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза «шефуни». — Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

— То есть? — не понял Дмитрий Иванович.

— По духу своему по той... как это поточнее — по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна, — Кондрашин так смотрел на грозного «шефуню» — простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: «А что, кому-нибудь неясно?»

— Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами...

— Так она вся — предложение! — перебил начальника Кондрашин. — Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас — одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример — это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же тогда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья, — и Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

— Вот именно, — сказал «шефуня». — Примеров у меня — вон, полный стол, — и он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

— Пусть приходят к нам в отделы — мы их завалим примерами, — еще сказал Кондрашин.

— Как с отчетом-то? — спросил Дмитрий Иванович,

— Да ничего... Все будет в порядке.

— Вы там смотрите, чтоб липы не было, — предупредил Дмитрий Иванович. — Консультируйтесь со мной. А то наворочаете...

— Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? — Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

— Ну-ну, — сказал Дмитрий Иванович. — Хорошо, — и кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

— Все хорошо?

— Да, — ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть — так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось.

Он даже придержал шаг, но тут же подумал: «Но это ж деньги, деньги!..» И сказал: — Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

— Да уж... прямо, — застеснялась Наденька.

«Совсем дура, — решил Кондрашин. — Зеленая»

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перилине ладошкой. И вдруг негромко, зло, остервенело о ком-то сказал:

— Кр-ретины.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова — ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, — не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их

курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно — от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то — поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... «Ну-ну-ну — легче, матушка, лег-

че, — с удовлетворением думал молодой Ваганов. — Подожди пока цыпляток считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как...»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла... В проем осторожно просунулась стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте, — мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь, — велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

— Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? Причем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и те-

перь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка, дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать, Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишите, что она такая-то и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же? — удивился Попов. — Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила! — воскликнул доверчиво Попов. — Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело! — опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный мужской. — Тебя, говорит, посажу, а сама — назло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно «назло» и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну не знаю... — молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду. — Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну, слушайте!.. — с раздражением сказал Ваганов. — Вы уж прямо как... паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну, а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу, — твердо сказал Попов. — Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б был маленько поласковей, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские кспертизы обои прошли... Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого!

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику...

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил...

— Опять не сдюжил! Ах ты, господи, — какие ведь мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов, даже при своем небольшом еще опыте, научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно. — Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?

— Да, чего уж, — согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

«Ну что вот делать? — думал Ваганов. — Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а... Эхма!»

— Как вы поженились-то?

— Как?.. Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну — сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать? — подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило. — Фу ты, черт! — с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал: «Вечером напишу».

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правди-

вое изложение случившегося. *«Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил...»*

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да... — Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил се дальше. — Безобразник. Что он, не знает, что сейчас за это — строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом, такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?..

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут — к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайло-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работат.

— Он что, одинокий?

— Да они так: переехать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеват-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь, — жадничат, в основном.

— Так, так... — Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести. —

Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу». В «характеристике» не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. — Было такое?

— Это он так написал?! — громко возмутилась Попова. — Нахалюга! Надо же!.. — женщина даже посмеялась. — Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

«Да, уверенная бабочка, — со злостью уже думал Ваганов. — Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделаешь. Пусть посидит.

— А не жалко? — невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле? — спросила она.

— Да я так, — уклонился Ваганов. — Идите, — он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась, озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела, — сказала она. — Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите, — еще раз сказал Ваганов. И положил руку на «бумаги». — Во всем... — он подчеркнул это «во всем», — во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да, — вспомнил еще следователь, — а кто такой... — он сделал вид, что поискал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было, — кто такой Николай Королев?

— Господи! — воскликнула женщина у двери. — Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то?! — женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в се наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну, хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где — живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь вдруг ясно и просто подумалось: «А может она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все, Вся эта история с талачтливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-э, — с досадой подумал про себя Ваганов, — повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решать теперь такое —такое!—в своей не простой, не маленькой, как хотелось и

думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... «Вечером напишу, — решил Ваганов. — Дурацкое дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол — писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, — вот что спутало мысли и чувства. «Ну, хорошо, — вконец обозлился на себя Ваганов, — если уж ты трус, то так и скажи себе — трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя — такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!» — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский!»

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там тоже, наверно, врожденная, трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров... Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уж и так-то во всем копаться... это же тоже — пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы

будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

...Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особенно тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, — все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос; что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу... Слизняк». Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь — он готов был и на это пойти, — никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? «А что, Майя? — съязвил он

еще раз со злостью. — Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя».

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у...» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен ли сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее — накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, — думал он про себя с искренней злостью. — Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи! — Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну, как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Павел.

— Не говорил с женой?

— Мы с ей неделю уж не разговариваем.

— Не заметил в ней никаких перемен?

— Заметил, — Попов усмехнулся. — Вчера вечером долго на меня смотрела, потом говорит: «Был у следователя?» — «Был, — говорю. — А что, тебе одной только бегать туда?»

— А она что?

— Ничего больше. Молчит. И я молчу.

— Возьмут они свои заявления назад, — сказал Ваганов. — Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.

— Хорошо бы, — просто сказал Попов. — Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...

— Павел, — в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило, — хочу с тобой посоветоваться... — Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно, и вроде не смешон. Что уж тут смешного! — Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять... — вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение — оттого, что бестолково начал. — Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

— Чего так? — спросил Попов.

— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы — побоку, а только ублажай ее.

— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов. — Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость — тоже...

— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это я все знаю.

— А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов, — понял наконец Попов. — С той стороны, с женской, — оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос, — Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом. — Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов. — Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она — друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — в правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной, — он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так, — проговорил Ваганов. — Ну, нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, — ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да, — согласился Ваганов. — Это верно. Ну, хорошо, — он встал. Попов тоже встал. — До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил Попов. — Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — нашумел... Хожу, кляузами занимаюсь — рази ж не совестно?

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету — все мое ношу с собой. Встречу. Георгий».

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке...» Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел, и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто, во весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славнецкий — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцвело, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день — впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному черни-

лами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: *«Приезжай»*.

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали? — спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл, — соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился! — подумал о себе, как о ком-то — отчужденно. — Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

НАКАЗ

Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли? Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали.

Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его Максим Думнов, пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка «на взводе», заявился шумно.

— Обмыва-ать! — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу. — А-а?.. Как мы тебя — на руках подсадили! Сиди! Сиди крепко!.. — он весело смотрел на племянника, гордый за него. И за себя почему-то. — Сам сиди крепко и других — вот так вот держи! — Максим сжал кулак, показал, как надо держать других. — Понял?

Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай — обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную, Григорий не сразу и согласился на нее... Но это не суть важно, важно, что тебя — выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие

слова... Теперь изволь набраться терпения, благодарности — послушай, как надо жить и как руководить коллективом.

Максим сразу с этого и начал — с коллектива.

— Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, кто вам? Вот так: сядь, мол, и сиди. И слушай, что я тебе говорить буду.

Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть — покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя. Но он почему-то вдруг возмутился.

— Почему крыть-то? — спросил он, не скрывая раздражения. — Что за чертова какая-то формула: «крой всех!..» И ведь какая живучая! Крой — и все. Хоть плачь, но крой. Почему крыть-то?!

— А как же? — искренне не понял Максим. — Ты что? Как же ты руководить-то собрался?

— Головой! — Григорий больше и больше раздражался, тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышленыша.

— Головой я руководить собрался, головой.

— Ну-у!.. Головой-то многие собирались, только не вышло.

— Значит, головы не хватало.

— Хватало! Не ты один такой умница, были и другие.

— Ну? И что?

— Ничего. Ничего не вышло, и все.

— Почему же?

— Потому что к голове... твердость нужна, характер.

— Да мало у нас их было, твердых-то?! От кого мы стонали-то, не от твердых?

— Ладно, — согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто. — Ладно. Вот, допустим, ты ему сказал: «Сделай то-то и то-то». А он тебе на это: «Не хочу». Все. Что ты ему на это?

— Надо вести дело так, чтоб ему... не знаю — стыдно, что ли, стало.

Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот.

— Так... Дальше?

— Не стыдно, нет, — сказал Григорий, поняв, что это, верно что, не аргумент. — Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически.

— Так, так, — покивал Максим. И, не задумываясь, словно он держал этот пример наготове, рассказал: — Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... «Не хочу!» И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? Нигде. А он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой: как нам теперь быть?

— Ну, и как вы?

— Пасем пока по очереди... Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но так ведь дальше-то тоже нельзя.

— А где этот Климка?

— Гуляет, где! Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его, по-хорошему-то, гнать бы надо в три шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид.

Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней.

— Погоди. Ну, а как бы ты поступил, будь ты хозяин... то есть, не хозяин, а...

— Понимаю, понимаю. Как? Пришел бы к нему домой, к подлецу... От него дома-то все плачут! «Вот что, милый друг, двадцать четыре часа тебе: или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни». Все.

— Как же ты так? Сам же говоришь, он инвалид...

— Нам известно, как он инвалидом сделался: по своей халатности...

— А как?

— На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Нашел бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали бы к нему на коляске: «Садись, поедем протокол составлять об твоем выселении». Я же знаю Климку: сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси — бесполезно. Экономику эту он тоже... у него своя

экономика: он рублей триста домой отдал, семье, а двести с лишним себе оставил и прикинул, на сколько ему хватит. Недели на две хватит: он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана шиш кого угостит.

Григорий задумался. Ведь и правда, завтра же перед ним станет вопрос: как быть со стадом колхозников? А как быть?

— Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать?

— А кого?! — воскликнул Максим. — Мужики помоложе да покрепче, они все у дела — все почти механизаторы, совсем молодой — тот посовестится пастухом, бабу какую-нибудь?.. У каждой семья, тоже не может. Вот и беда-то — некому больше. Я бы пошел, но староват уже гоняться-то там за ими́ по косогорам. Вот видишь, я тебе один маленький пример привел, и ты уже задумался, — Максим весело посмотрел на племяша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу. — Не журись! Однако прислушайся к моему совету: будь покруче с людями. Люди, они ведь... Эх-х! Давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло: целую речь тут тебе закатил.

Григорий хотел позвать жену из горницы, чтоб она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил:

— Не надо, пусть она там ребятишек укладывает. Мы сами тут чего-нибудь...

Григорий достал что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.

— Я ведь по глазам вижу, Гриша: сперва окрысился на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну, и посоветовать... Я как-никак жизнь доживаю, всякого повидал, — Максим склонил массивную седую голову, помолчал... И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его, правда, повидал всякого: две войны отломал, на последней был ранен, попал в плен. Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен... А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их. И вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес. — Да, — сказал Максим, — вот такие наши дела. Давай-ка...

Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, он вернулся к разговору.

— Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии... Само собой, гоняли нас на работу, а работать приходилось с ихными же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут... хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет: с такого-то часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведет аккуратно — честь по чести, — они работать умеют, и свою выгоду... экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют, такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условиев особых нету ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено... Другой только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: «Генк, да неужель ты это работой щитаешь?» — «А что же это такое?» — «Это, мол, у нас раньше называлось: смолить да к стенке становить». Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет: и эта-то, такая-то работа, — через день! Во как!

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего. Ну, ладно, другой бы, раз такое дело, по дому бы чего-то делал. Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропадает — рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит... Даже завидки берут, ей-богу. Теперь — другой край: ты Митьшу-то Стебунова знаешь ведь? — Максим сам вдруг подивился совпаде-

нию: — Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Хэх... Вот тебе и пример к моим словам: один всю жизнь груши околачивает, другой... на другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни — ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И думаешь, из-за жадности? Нет — такой характер. Я его спрашивал: «Чего уж так хлешесся-то, Митьша?» — «А, — говорит, — больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя». Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...

— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?

— Так и говорит. «Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие... заковыристые, — Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку... Качнул головой: — Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника!.. Она доведет нас, что мы — или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать лет в сорок. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные! Стыд и срам глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая. «Передай привет, три года не вижу». Ведь он тебе счас километра пешком не пройдет — на машине, на мотоцикле. А как бывало... Мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота — с девками поиграть. А покосы-то вон где были! — за вторым перешейком, добрых пятнадцать верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем — и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься — и опять на покос. Придешь бывало, а там уж поднялись — косить налаживаются. И опять на полдня...

— Когда же вы спали-то?

— А днем. В пекло-то в самое не косили же. Залезешь в шалаш — и умер. Насилу добудются потом. Помню, Ванька... Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им ни делали!.. Штаны сняли, по поляне катали — спит, и все. Тятя разозлился: «Счас, говорит, бич возьму да бичом скорей добужусь!» Я уж щекотать его начал, ну кое-как продрал глаза. А то никак! — Максим посмеялся, покачал головой, задумался:

вспомнил то далекое-далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался: он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран, Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали.

— Да, — сказал Григорий. — Но с техникой — это ты зря. Что же, весь свет будет на машинах, а мы... в ночь по тридцать верст пешака давать? Тут ты тоже... в крайность ударился. Но про середку — это, пожалуй, не лишено смысла. А?

— Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хошь?

— Нет, нет! Давай историю.

Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.

— Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, эту историю держал в голове, расскажу, думаю, Гришке — сгодится. Это даже не история, а так — из детства тоже из нашего. Но она тебе может сгодиться — она тоже... как сказать, про руководителя: каким надо быть руководителем-то. — Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо... Григорию показалось — насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководители. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. «Сколько же, оказывается, передумала эта голова! — изумлялся он, взглядывая на Максима. — Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал, с чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал».

— Было нам... лет по пятнадцать, может, поменьше, — стал рассказывать Максим. — Деревня наша, не деревня — село, в старину было большое, края были: Мордва, Низовка, Дикари, Бакланъ...

— Это я еще помню, — подсказал Григорий.

— А, ну да,— согласился Максим. — Я все забываю, что тебе уж тоже за тридцать, должен помнить. Ну, вот. И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при Советской власти это утихать стало. А тогда просто... это... страшное дело что

творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с Мордвой, и мордовские нас били: больше их было, что ли, потом они все какие-то... черт их знает — какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали... У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит — до того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра перещитают. И вот приехал к нам один парнишечка, наш годок, а ростиком куда меньше, замухрышка, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно! — Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтоб племяш слушал внимательно. — Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка... Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но — русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой — шшербатенький, невысокого росточка, как я сказал, но — подсадистый, рука такая... вроде не страшная, а махнет — с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз споминал этого Ваньку, перед глазами он у меня стоял: душа была стойкая. Ах, стойкая была душа! Поселились они в нашем краю, в Низовке, ну, мордовские его один раз где-то прищучили: побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уже подружился. И один раз и говорит: «Чо эт вы от мордовских-то бегаете?» — «Да оно ведь как, мол? — привыкли и бегаем», — Максим без горечи негромко посмеялся. — Счас смешно... Да. Ну, дaвай он нам беса подпускать: разжигать начал. Да ведь говорить умел, окаянный! Разжег! Оно, конечно, пятнадцатилетних раззудить на драку — это, может, и нехитрое дело, но... все же. Тут мно-ого разных тонкостей! Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать, потом — это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли! Сошлись мы с имя́ на острове... спроть фермы островок был, Облепишный звали. Счас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать — перебродить-то. Перебрели мы туда... Договорились, что ничего в руках не будет: ни камней, ни гирек, ничего. И пошли

хлестаться. Ох, и полосовались же! Аж спомнить — и то весело. Аж счас руками задвигал, ей-богу! — Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко кхэкнул — помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом: — Как мы ни пластались, а опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку... Те за нами. И тут, слышим, наш щербатенький Ванька ка-ак заорет: «Стой, в господа, в душу!.. Куда?!» Глядим, кинулся один на мордовских... Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал. Ведь не то что напролом человек пер, как пьяные, бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь-то заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прямо подставил одного, другого вокруг себя — с боков, со спины — не допускайте, говорит, чтоб сшибли, а то развалимся. Как, скажи, он училище какое кончал по этому делу! Ну, полоскаемся!.. А в протоке уж дело-то происходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался — глядят. А нам уж ни до чего нет дела — целое сражение идет. С нас и вода, и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас — откуда сила взялась! Прямо насмерть схватились! Не знаю, чем бы это дело закончилось, может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька щербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает: «Ах, ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова». Опять достанет: «Ах, ты, милашечка ты мой, а хлебни-ка водицы!» Нам и смех, и силы вроде прибавляет. Загнали мы их опять на остров... И все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука, Григорий! Один завелся — и готово дело, все перестроил. Вот это был — руководитель. Врожденный.

— Мда, — молвил Григорий; история эта не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной. Но он не стал огорчать дядю. — Интересно.

Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал.

— Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой... Но, знаешь, я и на войне заметил: вот та-

кие вот, как тот Ванька, мно-ого нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Перед теми, кто только на словах-то, перед имя же не совестно, а перед таким вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, делом доказывай... Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст, Конечно, история... не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители, дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? — Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся. — Ничего, поймешь что к чему. Пой-ме-ешь.

— Что потом с этим Ванькой стало? — спросил Григорий.

— А не знаю. Уехали они опять куда-то. Вскорости и уехали. Да разве дело в том Ваньке! Их таких много. Хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово. Прямо обожал его. А он еще и... это... не нахальный был. Жили они udbedновато, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю... чего-то мотались по свету... Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет, «Брось, — говорит, — зачем?» Застесняется. Я люблю таких... Уехали потом куда-то. А я вот его всю жизнь помню, вот же как.

— История твоя не лишена, конечно, смысла, — сказал Григорий.

— Не лишена, нет, — Максим кивнул головой согласно. Но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел. — Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать: не трусь. Как увидют, что не трусишь, так станут люди поддерживать...

— Ну, одной смелости тут тоже, наверно, мало.

— Мало, — Максим опять кивнул. Подумал. — Но смелый хоть не врет, — Максим снова посмотрел в глаза Григорию. — Не додумается врать, смелый-то. Чуешь? А голова... что же, какая есть. Какую бог дал. Голова у тебя неплохая. Но... бывает... — Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился. — Заговорился я чего-то. Ладно. Лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша. Спите, — Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы... И спросил шепотом: — Как жена-то?

— Что? — не понял Григорий.

— Не ворчит, что в деревню увез из города?

Григорий улыбнулся... Не сразу сказал, и сказал тоже тихо:

— Всякое бывает.

Это Максиму понравилось: ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать нетяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорей уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени. И там только ступил всей ногой... И на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе:

— Эка темень-то! В глаз коли...

МЕДИК ВОЛОДЯ

Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы — на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов сто водки — такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его... Стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирая наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля... Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его.

— Володя?.. Ой, здравствуй!

— Хелло! — воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь — и это «хелло», и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые: «Каким ветром? Откуда? Куда?»

— Как?.. На каникулы.

— А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? — Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. — До сентября? Или до октября?

Девушка — это было видно по ее глазам — отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте; «Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты», а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

— Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений.

— Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

— А мы тоже!.. Мы говорим: «А можно, мы дома отработаем?»

— Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку, и все, — Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же — совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли... чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

— А не опасно со справкой-то? — спросила девушка. — Могут же... это...

— Я умоляю! Отработал — и все. Возил навоз на поля, — Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

— Вас куда в прошлом году возили?

— В Заозерье. Но мы там пожили неплохо... — Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую он справку не собирался доставать дома.

— А мы ездили в Красногорский район, — тоже не без удовольствия вспомнила девушка. — Тоже неплохо было. Хохми-или-и!..

— А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

— Да чем? За ягодами ходим... — девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально — за ягодами. — Вообще скучно.

— Скооперируемся? — навернул Володя. —А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего... четырнадцать километров, да? Сядем на велики...

— Давайте, — легко согласилась девушка. — У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но... Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то — раз! — и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

— Это вполне понятно, — сказал Володя. — Этого надо было ожидать. Это — один к одному.

— Но почему? — очень притворно удивилась девушка.

— Разошлись дороги... И разошлись, как в море корабли, — Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу. — Это так же естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце, — Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

— Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

— Почему? Нет, отсев, естественно, происходит.., — Володе нравилось слово «естественно». — Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» И повалилась...

— В обморок?

— Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

— Обидно, наверно, да?

— А у вас... стабильное положение?

— У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

— Кинотеатр. В прошлом году Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял — бубнеж какой-то: бу-бу-бу... Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

— Да нет, тоже... Я везу кое-что с собой.

— Ой, что, а?! — выдал Володя показушный великий голод.

— «Путешествия Христофора Колумба». Это, знаете, дневники, письма, документы... Я же — географичка.

— Так. Еще?

— Еще кое-что... А у вас есть что-нибудь?

— У меня кое-что специальное тоже... «Записки врача» этого... Как его, врач тоже был?..

— Чехов?

— Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения... Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?

— Нет. А вы любите читать про медиков?

— Да нет... Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

— Нет, нету.

— Ну, так как мы будем бороться со скукой? — весело спросил Володя. — Как вы себе это представляете? — ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэдбери...

— Общими усилиями как-нибудь... — тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала...

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой... Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел — так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне.

— Вплоть до того, что... — хохотал Володя, — вплоть до того, что — поставим... — Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. — Поставим шалаш и...

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

— Как Робинзоны... на этом... да?

Володя только кивнул головой — не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

— Ребята, у меня ребенок спит — потише бы...

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

— Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! — и голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

— Не спится юному ковбою, — громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: — Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору — прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней; чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось».

Девушка ушла аж в тамбур — от греха подальше.

— Ой, правда, мы расшумелись, — сказала она, поправляя волосы. — Люди спят уже...

Володя закурил... Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она — совсем рядом — вскинула вверх и назад оголенные свои руки... Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его... И молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку... Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела — вопросительно, чуть удивленно, — он понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступать было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал — приглашал и не приглашал: — можно,

однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама... Жуткий наступил момент, наверно, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся...

— Что ты? — спросила девушка серьезно.

— Начнем? — сказал Володя.

Девушка убрала его руку.

— Что начнем? Ты что?

— О боже мой! — воскликнул Володя. — Чего ж ты уж так испугалась-то?.. Пичужка, — и он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: — Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? — и ринулся в наружную дверь тамбура — вон отсюда.

— Завтра поедем вместе? — спросила вдогонку девушка.

— Да! Обязательно! — откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось.

Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать... Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку — Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне... Он заворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли — сам мелко напаскудил. Эта Лариса теперь расскажет всем... Они любят рассказывать — смеются всегда! — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам. Привирает еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке... пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул — страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции — дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно... Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался... И вдруг вспомнил вчерашнее... И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся... И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно только. Ну, может, пройдет как-нибудь, Володя выглянул в окно на привокзальную площадь... И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов — высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь — домой-то охота. Но ведь какая настырная — стоит, ждет!

КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки... И вот — заболела. Друзья Федора Кузьмича — у него были влиятельные друзья, — видя его горе, нагнали к нему домой докторов... Но там и один участковый все понимал: воспаление легких, лечение одно — уколы. И такую махонькую — кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры, на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице, и там пережидал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала — слабенькая, горячая... Смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжело оби-

дел жену, мать девочки: упрекнул, что та недосмотрела за дитем. «Тряпками больше занята, а не ребенком, — сказал он ей на кухне, как камни-валуны на стол бросил. — Все шкафы свои набивают, торопятся». Жена — в слезы... И теперь, если и не ругались, — нелегко было бы теперь ругаться, — то и помощи и утешения не искали друг у друга, страдали каждый в одиночку.

Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорей поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорей выздороветь. Федор Кузьмич присел перед кроваткой дочери.

— Доченька, чего бы ты вот так хотела бы?.. Ну-ка, подумай. Я все-все сделаю. Сам не смогу, попрошу волшебника, у меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка? С огоньками!..

Девочкина ручка шевельнулась на одеяле, она повернула ее ладошкой кверху, горсткой, — так она делала, когда справедливо возражала.

— Еечка зе зимой бывает-то.

— Да, да, — поспешно закивал седеющей головой папа. — Я забыл. А хошь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим? Много-много!..

— Мне незя много, — сказала умная Верочка. — Папа, — вдруг даже приподнялась она на подушке, — а дядя Игой казочку ясказывай — п'о зайку... Ох, хоёсенькая!..

— Так, так, — радостно всполошился Федор Кузьмин. — Дядя Егор тебе сказочку рассказывал? Про зайку?

Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели.

— П'о зайку..

— Тебе охота бы послушать?

— Как он етай на сайках...

— Как он летал на шариках? На каких шариках?

— Ну, на сайках!.. Дядя Игой пиедет?

— Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе... Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним: на каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался?

— Да, не-ет! — у Верочки в глазах показались слезы. — Вот какой-то... Ветей подуй, он высоко-высоко поетей! Пусть дядя Игой пиедет.

— Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать... На поезде: ту-ту-у! Или на самолете лететь...

— А ты яскажи?

— Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел?

Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинкой ясной перекатилась через переносье и упала на подушку.

— Доча, — взмолился отец. — Я счас узнаю, не плачь. Счас... мама, наверно, помнит, как он летал на шариках. Счас, доченька... Ладно? Счас я тебе расскажу.

Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась.

— Что?

— Да нет, ничего... Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?

— На шариках? — не поняла жена. — Какой зайка?

Федор Кузьмич опять рассердился.

— Француз-зайка, с рогами!.. Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?

Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы.

— Ладно, ладно...

— Прямо как преступница сижу здесь... — выговаривала жена. — Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь?

— Ладно, ладно, — говорил Федор. — Ну, прости, не со зла... Голову потерял — ничего не могу придумать.

— Какую сказку-то?

— Про зайку какого-то... Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал... Э-э! — вдруг спохватился Федор. — А я счас позвоню Егору! Пойду и позвоню с почты.

— Да зачем с почты? Из дома можно.

— Да из дома-то... пока их допросишься из дома-то... Счас я сбегаю.

И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем другая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навыдумывает всяких... Сегодня четверг, завтра крайний день, отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолете... Еще так думал Федор: это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам «дядя Игой» — она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала.

Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома — пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот — заболела дочка... и так далее.

— Егор! — кричал в трубку Федор. — Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке! Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику!..

— Да нет! — тоже кричал оттуда Егор. —Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались...

— Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя... У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча...

— Да я-то рад душой... Слышишь меня?

— Ну, ну.

— Я-то рад бы душой, но... — Егор что-то замялся там, замолчал.

— Егор! Егор! — кричал Федор.

— Погоди, — откликнулся Егор, — решаем тут с женой...

«Э-э! — догадался Федор. — Жена там поперек стала».

— Егор! А Егор! — дозвался он. — Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич! — донесся далекий вежливый голосок. — Что, у вас доченька заболела?

— Заболела. Валентина... — Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал, и забыл. И переладился на ходу: — Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет — на два дня! Всего на два дня! Валенька, я в долгу не останусь, я... — Федор сгоряча не мог сразу придумать, что бы такое посулить. — Я тоже когда-нибудь выручу!

— Да нет, я ничего... Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра — хотели там...

— Валя, прошу тебя, милая! Долго счас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валь!..

— Да, Федор. Я это, — отозвался Егор. — Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня.

— Ох, Егор... — Федор помолчал. — Ну, спасибо. Жду.

А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой.

— Господи! — сказала жена Валя. — Все бросай и вылетай девочке сказку рассказывай.

— Ну болеет ребенок...

— А то дети не болеют! Как это — чтобы ребенок вырос и не болел.

Егору и самому в диковинку было — лететь чуть не за полторы тысячи километров... рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос, у него слезы слышались в голосе — нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке.

— Первый раз собрались съездить... — капала жена Валя. — Большаковы вон ездили, говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней...

— Ну так бы и сказала ему! — вскипел Егор. — Чего ты ему так не сказала?! Чего ты... Уже ж посулился, нет, давай душу теперь травить!

— Ладно, не ори — душу ему растравили. Что я, голоса лишенная, — свое мнение высказать?

— Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему. А то... туда же, посочувствовала: «У вас доченька заболела?» — не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверно, и сказки-то мастер был рассказывать: передразнивал всех зверей, злых и добрых, а особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу.

— Ехай, ехай! — махнула рукой жена Валя. — Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!..

— А случалось, что эти господа и тебе помогали! — Егор с укоризной посмотрел на жену. — Забыла?

Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. Нет, не забыла! Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь! Но и расстроилась она очень, и не показать этого она тоже не могла.

Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были — дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевку в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе... Умел только работать. Но ведь... что же? Кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор также давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно: вскипит, посверкает глазом да досыта наматерится в душе, и все. Так-то лучше — не бунтовать вовсе, не протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких.

Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода сорок рублей и ушел. «Хорошо, что не надо чемодан брать... Гостинцев бы захватить? Но... ладно: раз уж так все — с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал», — думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва — впопыхах — не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка, а теперь, когда поехал, понял до конца: глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха (Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили), и тот беспрекословно отпустил его: знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше.

В аэропорту, в кассе, Егору сказали, что билетов в Н-ск нету.

— Ну, может, один как-нибудь... — робко попросил он.

— Что значит «один как-нибудь»? Нет билетов, — повторили в окошечке строго.

Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом... И еще раз сунулся к ней:

— Мне очень нужно, девушка... А? Там это... ребенок...

— Гражданин, я же вам сказала: нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь...

— Да понятно-то понятно... — Егору захотелось передразнить женщину в окошечке, он бы сумел это сделать... «Э-э! — вдруг вспомнил он. — А этот-то, кому стеллажи-то делал... он же говорил: что будет нужно, обращайтесь ко мне». К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке... Нашел!

Долго, подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки...

— Куда билет-то нужен? — вышел из терпения могучий товарищ.

— В Н-ск.

— Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?

— Один. На сегодня. Я уже здесь... понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю: да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого...

— Перезвоните минут через десять, — опять прервал уверенный басок.

Егор понял, что улетит сегодня.

Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил.

— Подойдите к кассе номер три и возьмите билет, — сказал басок.

— Вот спасибо-то! — кинулся Егор с благодарностями. — А то я уже стал сомневаться... А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, он поэтому так переживает. Я ее тоже люблю, девочку-то, такая смышленая, все сказками интересуется...

— Ну, до свиданья, — сказали на том конце. — Счастливо долететь.

— До свиданья, — сказал Егор.

Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине, в окошечке... Сказал бы: «Значит, все же нашелся один билет? Эх, вы... Как же так получается, уважаемая? А сидишь — строгую из себя изображаешь, справедливую. "Вам же сказали: нет билетов!". А один звонок — и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить: "Для вас — нету". А вид-то, вид-то — не подступись! А такой же — нуль, только в пилотке». Ну, может, не так бы едко сказал... А может, и не сказал бы вовсе: правда что — нуль, чего и говорить.

...В Н-ск Егор прибыл под утро, часов в пять, а в шесть был уже у брата.

Позвонил... Открыла хозяйка, Надежда Семеновна.

— О-о! — удивилась она. — Так рано?

— С билетом удачно вышло, — радостно сказал Егор. — Прямо сразу улетел... Как Верочка-то?

— Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста...

— Конечно! — тихо воскликнул Егор. — А Федор-то дома?

— Дома.

— Ну, мы на кухне пока посидим... Пусть он на кухню придет.

Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате, Егору даже смешно стало.

— Ты прямо как поп в ем, — сказал он, здороваясь.

Брат Федор покривил в ухмылке губы.

— Как долетел?

— Хорошо!

— А чего там жена-то? Возражала, что ли?

— Да на дачу собрались... Да ну ее!

— Что это она у тебя, командовать-то любит?

— Та-а... Чего об этом? Как Верочка-то?

— Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут...

— Да я уж понял.

— Давай чего-нибудь? Чаю? Или кофе? А может, что... с дороги-то?.. — смешной Федор начал соваться по шкафам. — Счас мы изобретем... Во, коньяк! Будешь?

— Давай, — Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора — не то что в гостях — проездом: всех поразил своей деловитостью, этаким волевым напором, избытком сил. «Да, — подумали в провинции, — эта птица может больно клюнуть». — Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то, — не удержался и сказал Егор. Нормальный человек... никакой не деятель.

— Ну! — недовольно молвил Федор. — Чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати.

— Да не халат... Ну, давай — со встречей. И чтоб Верочка скорей поправилась.

Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек... Помолчали.

— Как живешь-то? — спросил Федор.

— Да как... — Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнулась звонким краешком в гладкий стол и раскололась. — Ах ты, господи! — испугался Егор. И глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку.

— Видно, с детства живет этот страх в человеке, — сказал Федор. — Вот, знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдце, да так испугалась!.. Я же ее и успокаивать кинулся: ерунда, мол, чего ты так испугалась-то! Куклу уронит — ничего, а посуду... Есть, наверно, какой-то закон здесь. А?

— Наверно. Рюмка-то дорогая, черт тя возьми, — с сожалением сказал Егор. — Хрустальная.

— Да брось! — недовольно уже сказал Федор. — Хрустальная... Все равно это — вещь, и должна служить человеку. Ну, и отслужила свой век, туда ей и дорога.

Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело: дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены, начала сдавать сразу неважно, должен был вмещаться Федор... Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с советами, все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было.

— Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину, может, тоже подумал, что, когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить.

— Работает в библиотеке. Я говорю: отдохни ты лучше, покупайся вон — успеешь еще, наработаешься! Нет, лучше глянется работать. Практика, говорит, мне будет.

— Ну и пусть работает — полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять — окончить институт,

— Да ведь устают, поди, от учебы-то! Неуж не устают?

— Да ничего страшного нет в учебе! — напористо и поучительно сказал Федор. — Что за дикость — учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться — давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла: «Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!» Вот же понимание-то! Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги... И вот извольте: не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь.

— А что, были же случаи...

— Да от книг, что ли?

— От книг! Парень вон у Гилевых... Игнаху-то Гилева помнишь? Вон сын его, Витька, — зачитался: тихое помешательство.

— С чего вы решили, что от книг-то?

— Читал день и ночь...

— Ну и что?

— Как же?.. Зачитался.

Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку. И себе тоже плеснул.

— Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения... Ты много за свою жизнь книг прочитал?

— Я не пример.

— А кто пример? Ну, я вот: прочитал уйму книг — живздоров, чувствую, что мало еще прочитал, надо бы раза в три больше.

— Куда тебе больше-то? — удивился Егор. — Чего не хватает-то? Всего же вдосталь...

— Знаний не хватает! — сердито сказал Федор. — Вот чего. Вот они приходят счас, молодые, на смену — и поджимают. Да как поджимают! Сколько-то еще подержимся, а дальше — извини-подвинься: надо уступать. С жизнью, брат, не поспоришь.

— Не знаю... — сказал Егор, — Меня, например, никто не поджимает.

— Да тебя-то! Твое дело... не обижайся, конечно, но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый — через одного. Есть вещи сложнее...

— Ну, и надо уступать, — тоже чего-то рассердился Егор, наверно, за профессию свою обиделся. —А то и правда-то: смотришь, сидит — пень пнем, только орать умеет.

— Не торопи-ись, — с дрожью в голосе протянул Федор. — Больно прыткие! Есть еще такие понятия, как — опыт. Старшинство ума. Дачи увидели! Машины увидели!.. А не видите, как ночами приходится ворочаться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду: то ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет? Это ведь легче всего: в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее...

— Я не считаю твои деньги. Что ты?

— Я не про тебя. Есть... любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями. Не-ет, подожди, пусть сперва материно молоко на губах обсохнет, потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? — Федор неопределенно покачал головой: то ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше — дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами. — Тут уж я самому господу богу могу прямо в глаза смотреть: все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим... — Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов, не скоро подвинется и даст место другому. — Подняли страну на дыбы? — выходи вперед, не бегай по кустам, — Федор, наверно, чуть-чуть захмелел, а может, высказывал наболевшее, благо подвернулся брат родной — должен понять. — Вот так надергаешься за день-то, наорешься, как ты говоришь, — без этого, к сожалению, тоже не обойдешься, — а ночью лежишь и думаешь: «Да пошли вы все к чертям собачьим! Есть у меня Родина, вот перед ней я и ответчик: так я живу или не так».

— Кто тебе говорит, что ты не так живешь? — сказал сочувственно Егор. — Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю: «Молодец Федор, хоть один из родни в большие люди выбился».

— Дело не «в больших людях». Не такой уж я большой... Просто, делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет!.. — пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит. — Найдутся... некоторые, будут совать в нос свое... Будут намекать, что крестьянский выхо-

дец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней... Вот еще как рассуждают, Егор! — Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений. — Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин?

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Егор.

— Неприятности... — Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: — Неприятности, — и вдруг спросил сам себя: — А были они, приятности-то? — и сам же поспешно ответил: — Были, конечно. Да нет, ничего. Так я... Устал за эти дни, изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего! Все хорошо.

А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко! И лицом, и повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный и тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы немолотой, шумно так заявился: «Живем, ребятишки!» Мать сварила жито, а он есть отказался, да тоже весело, бодро: «Вы ешьте, а я уж налупился дорогой — сырой! Аж брюхо пучит». А сам хотел, чтоб ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь... Хорохорится, а самому худо чего-то, это видно. Но как его утешишь — сам все понимает, сам вон какой...

— Да, — сказал Егор. — Ну, и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом.

— Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор. — Про зайку-то... Как он летал на воздушных шариках.

Егор задумался. Долго вспоминал... Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить.

И вспомнил, аж просиял.

— Про зайку-то?! А вот: пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики — мно-ого! Да все разноцветные: красные, синие, зеленые... — Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке — не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. — Вот. И привязался он к отцу, зайка-то. купи да купи. Отец и ку-

пил. Ну, купил и сам же и держит их в руке. А тут увидел: морковку продают! «На-ка, говорит, подержи шарики, я очередь пока займу». Зайка-то, маленький-то, взял их... И надо же — дунул как раз ветер, и зайчишку нашего подняло. И понесло, и понесло! Выше облаков залетел...

Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивости.

— Как тут быть? — спросил Егор брата. Тот не понял.

— Чего как быть?

— Как выручать зайку-то?

— Ну... спасай уж как-нибудь, — усмехнулся Федор. — На вертолете, что ли?

— На вертолете нельзя: от винтов струя сильная, все шары раскидает...

— Ну а как?

— Вот все смотрят вверх и думают: как? А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит... И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит: «Я удумала!» Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила: «Я удумала». Надо — я придумала, а она: «Я удумала». Вот Верочка и кричит: «Я удумала!» Побежала в лес, созвала всех пташек — она знала такое одно словечко: скажет, и все зверушки, все пташки ее слушаются — вот, значит, созвала она птичек и говорит: «Летите, говорит, к зайке и проклевывайте клювиками его шарики, по одному. Все сразу не надо, он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться». Вот. Так и выручили зайку из беды.

Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата.

— Довольно это... современная сказочка. Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка...

— Нет, я им нарочно такие — чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники да царевны... Счас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что...

— Да, тут есть волшебники... Целые змеи-горынычи! — засмеялся Федор.

— Не говоря уж про бабу-ягу: что ни бабочка, то баба-яга, Мы твою-то не разбудим? Громко-то...

— Бабу-ягу-то? — хохотнул опять Федор. — Ничего. У меня, Егор, даже не баба-яга, — сбавил он в голосе, — у меня нормальная тряпошница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо! Знаешь... — Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить. — Ладно, чего там.

Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках...

— Что-то все же томит тебя, братец, — сказал Егор. — Давай уж... может, и помогу каким словом.

— Да ничего, — смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам. — Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо, — помолчал, глядя в стол, потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: — Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней.

— Стареем, — согласился Егор.

— Давай-ка... за память светлую наших родителей, — Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком. — Мы ведь тоже уже... завершаем свой круг... А? — Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке — смотрел сперва на брата, потом опять в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил. — Да, — сказал, — разворотил ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего вообще-то не жаль! — встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом. — Жалко дочь малую. Но... подпояшемся потуже и будем жить. Так? — спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих — спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно. — Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснется. А я посижу пока тут с бумажками... покумекаю.

Да, — вспомнил он, — подскажи мне, чего бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь...

— Брось! — сердито воскликнул Егор.

— Чего брось? Мне счас будет звонить один... волшебник один... — Федор искренне, от души засмеялся. — Вот волшебник так волшебник! Всем волшебникам волшебник, у него там всего есть... Чего бы? Говори.

— Да брось ты! — еще раз с сердцем сказал Егор. — Что за глупость такая — подарки какие-то! К чему?

Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой.

— Ладно. Иди поспи. Там постель тебе приготовлена... Иди.

Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями... Посидел. Огляделся... Посмотрел на окно — форточка открыта. Достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось.

Вошел в комнату Федор.

— Слушай, — сказал он, — у меня чего-то серьезно душа затревожилась — наговорил тут тебе всякой всячины... Подумаешь бог знает что. А? — Федор улыбнулся. Присел рядом на диван. И даже по спине братца хлопнул весело. — У меня все хорошо. Все хорошо, я тебе говорю! Чего смотришь-то так?

— Как? Ничего... Я ничего не думаю. Что ты?

— Да смотришь как-то... вроде жалеешь.

— Ну, парень! — воскликнул Егор. — Ты что?

— Ну, тогда ладно. Поспи, поспи маленько, а то ведь не спал небось в самолете-то? Поспи.

— Ладно, — сказал Егор. — Посплю. Покурю вот и лягу.

— Мгм, — Федор ушел.

Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых часиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит, — тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить,

— Ну-ну?

— Она этому товарищу говорит: «Ну хорошо, говорит, идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверно, у министров такие: кругом мягкие креслы, диваны, на стенах картины... «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так, так, — говорит. — Как же это вы так?» А сама на меня смоотрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине — зачем, господи?! Чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну-ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — буль-буль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех. «Брось ты, говорит, Санек! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, говорит, я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь — полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну-ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?» «Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне кстати не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь куро́чек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась: «Как ты, говорит, не порезался-то?» А мото-

цикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подьезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то наслышался.

— Ну, ё-мое! — психовал Санька. — Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вытрезвителе.

— Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана, и в ее трехкомнатную квартиру — тоже не могли поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всех Санька. — Жуки навозные, Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия, — кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка. — Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке. — Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем, — приказным голосом сказал Санька. — Надоела мне эта комедия: им рассказываешь как добрым, а они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда «выступить», но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно.

Егорка, не долго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть.

А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка. — Строит из себя, сидит... «Я — ва-ас...» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется, — Егорка постучал пальцем по рулю, — обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь, со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал». Идет?

— Едет, — буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька. — Сами живут... как при царе Горохе, и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо», «Налево», «Прямо!» — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. — Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего. Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он, подъездик, — негромко сказал Санька. — Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе, — неуверенно сказал Санька. — Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли! — скомандовал Санька. — Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком.

— Так, — сказал Санька. Он волновался. — Следи за мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! — и он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки...

— Паркет, знаешь, какой!.. — успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голо-сом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были — нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лица женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Ё-мое! — сказал он. — Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро — поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину, — сказал Санька.

Мужчина мгновенье решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку, — сказал он. — Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь... Санька взвыл. Егорка с этой стороны — точно так, как тот за дверью, — откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

— Вон-он!— странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала. — Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька, — сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли, — еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и, — свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку. — Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак — поперся, — ворчал он. — На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире...

— А квартира-то, правда, что ли, такая шикарная?

— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили

Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине... Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

— Поедешь в городскую больницу?

— Зачем? — не понял Ванька.

— Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот... Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

— А где тематический больной-то? — спрашивала сестра.

— Курит, наверно, в уборной, — отвечали соседи Ванькины. — Где же еще.

— Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим...

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной...

— Лед впереди уже о так от горбатится — горкой... Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг — вниз поехал!.. — Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. — Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода — хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться...

— Ты прямо, как это... как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

— Я вру?! — некоторое время он даже слов больше не находил. — Хот... Да ты что? Как же я врать стану! Хот...

И верно, посмотришь на Ваньку — и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже — уметь надо.

— Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

— Я, значит, смотрю вверх — вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился... Я туда погреб.

— Да сколько ж ты под водой-то был?

— А я откуда знаю? Небось недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают...

— Ну, ну?

— Ну, вылез... Ко мне уже бегут. Завели в первую избу...

— Сразу — водки?

— Одеколоном сперва оттерли... Я целую неделю потом «красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.

...Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице — по людям, по машинам... Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так — все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать... Пробирается через улицу, оглядывается — боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

— Мама идет! — закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

— Где, Ваня?

— Да вон! Вон, с сумкой-то! — Ванька свесился с подоконника и закричал: — Ма-ам!

— Ты иди встреть ее внизу, — сказали Ваньке. —А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

— Да пустят! Скажет — из деревни... — гадать стали.

— Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

— Это ко мне! — издали еще сказал Ванька. — Это моя мать.

— В среду, субботу, воскресенье, — деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

— Назад.

— Да ко мне она! — закричал Ванька. — Ты что?!

— В среду, субботу, воскресенье, — опять трижды отстукал этот... вахтер, что ли, как их там называют.

— Да не знала я, — взмолилась мать, — из деревни я... Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть...

Ваньку впервые поразило, — он обратил внимание, — какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос... И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

— Помолчи, мам.

— Да я вот объясняю товарищу... Чего же?

— Помолчи! — опять велел Ванька. — Товарищ, — вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону. — Товарищ! — повысил голос Ванька. — Я к вам обращаюсь!

— Вань, — предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

— Пойдем вон там посидим, — изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него.

— Наз-зад, — как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

— Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька — ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

— Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать... — заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, — я тебе... я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

— Вань, — чуть не со слезами взмолилась мать. — Господи, господи...

— Садись, — велел Ванька чуть осевшим голосом. — Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

— Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. — закричал он. — Ко мне! Тут произвол!.. — и он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйно помешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: — Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке.

— А? — спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

— Ко мне! — закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его... Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

...Ваньку им не удалось сцапать... Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся... Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин... Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

— Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

— На кой черт ты связался-то с ним? — никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

— Он мать не пустил.

— Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

— Не надо, мы счас домой поедем.

— Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сер-

гей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике... Сказал даже так:

— Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе...

— Нет, — сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого... — Нет. Что вы!

— Но я же не выпишу тебя!

— Я из окна выпрыгну... В пижаме убегу ночью.

— Ну-у — огорченно сказал Сергей Николаевич. — Зря ты.

— Ничего, — Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора... жалко, что он огорчился. — А вы найдете кого-нибудь еще с язвой... У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

— Не в этом дело. Зря ты, Иван.

— Нет, — Ваньке становилось все легче и легче. — Не обижайтесь на меня.

— Ну, что ж... — Сергей Николаевич все же очень расстроился. — Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься...

— Нет. Решено.

Ванька помчался в палату — собрать кой-какие свои вещички. В палате его стали наперебой ругать:

— Дурак! Ты бы пошел...

— Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

— Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!

— Надо человеком быть, — с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. — Ясно?

— Ясно, ясно... Зря порешь горячку-то, зря.

— Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

— Выгнали? Ну вот...

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

— Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все — никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь... Неужели трудно догадаться?

— Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, — опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

— Ботинки эти? Твои?

— Мои.

— Не долечился и едешь...

— Дома долечусь.

— До-ома! Дома долечисся...

— Будь здоров, Иван Петров! — сказал Ванька.

— Сам будь здоров. Попросил бы врача-то... может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор — на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил — хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

— Будь здоров! — сказал Ванька. — Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул — все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-прехваленой горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

— Не плачь, — сказал Ванька матери. — Чего ты?

— Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, — сказала мать свою горькую думу. — Из ФЗУ тада тоже...

— Да ладно!.. Велись они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

— Много так сделаешь — не просить-то!

— Ну... и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

— Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию — побегай-ка за имя, да не попроси... Много соберешь?

— Ладно, ладно... — мать никогда не переговорить. — Как там, дома-то?

— Ничо. У себя-то будешь долеживать?

— Та-а... не знаю, — сказал Ванька. — Мне уже лучше. Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

ГЕНА ПРОЙДИСВЕТ

Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство... Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная его — демонстративная — свобода, раскованность. Будучи этак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону сшибал столбики, ранился и злился.

Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость.

Приехал в санаторий какой-то поэт; Генка, волнуясь, спел ему несколько песен. Поэт удивился.

— Ну и что? — спросил он. — О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?

Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих. И громко объявил:

— Вы!.. Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении.

Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн. Остервенело заколотил по струнам и запел:

Вот так номер,
Вот так так –
Это не по правилам:
Были,
Были, –
Напылили,
А потом – пр-ропали!..

Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт — не поймешь сразу. Взошел Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег –
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.

«Сбацал» на краешке доски — пощелкал каблучками-носочками — и еще раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную
Трепались!

Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал с вышки и бил гитару:

Я же знаю
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!

И Генка, в чем был, маханул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись...
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..

Генка откашлялся, отплевался и сообщил:
— «Навязчивый сон» называется!
Генку уволили.

Дома, в своей деревне, Генка появлялся обычно на короткое время — отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой родней. Стыдили. Приводили примеры... Учили.

— Я все понимаю, — говорил Генка, — но мы, художники, — люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь.

— Занялся бы тобой бичина хороший — вот было бы то, что требуется. Вот это не грех был бы.

— Тупо, неубедительно.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный, — сказал он.

— Не горжусь, а суетню всякую понимаю, — смиренно ответствовал новообращенный. — Все суета, Геннадий.

— Ну, это уж вы как-то... совсем просто: «Все суета» — и баста.

— Все суета! — убежденно твердил дядя Гриша.

— Смерть — суета? Любовь — суета?

— Мы здесь — гости. Поживем — и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь... А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинопленку все снимается, все снимается... Как поступил, как подумал, где проть совести пошел — все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот — тело твое — хоронют, а пленку берут и проявляют: смотрют, как ты жил... Вот.

— Хм... Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

— Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!.. — дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. — Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь — крест огненный, — тогда я поверю! Ах ты господи!.. — где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, навер-

но, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. — А чудо — на каждом шагу! Чудо — вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры... Ведь это все — деликатесы, а все — из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько — что там? Земля. А ты откуда? Из земли...

— Привет!

— Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы... Ты думаешь, если ты — Гена Пройдисвет, то над тобой нет закона божьего? Есть.

— Погоди, ты что-то все в кучу: и землю, и закон... Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

— Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча — это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь... А не знаете того, что вы все... все люди — под наблюдением.

— Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня — семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

— Не про то наблюдение я говорю. Это — ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое...

— Знаешь что? — перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. — Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу, — в разные стороны: «Верю! Верю!» Не веришь, вот так.

Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся.

— Эх, Гена... Гена ты и есть. Дружок анчуткин. Жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывесть, из покоя? Не выйдет.

— С чего это ты вдруг в бога-то поверил? Шестьдесят лет прожил — не верил, вдруг — на́ тебе...

— Пошел я, иду, — терпеливо сказал дядя Гриша. — Иду с богом. А ты колбаси дальше по дорогам — где-нибудь голову сломишь.

Вопрос этот — с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в бога, — вопрос этот всерьез заинтересовал

Генку, даже встревожил. Отец Генки, умелый печник, хвастун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру:

— Мужик, он ведь как: достиг возраста — и смяк телом. А башка ишо ясная — какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается: один на вино напирает — башку туманит, чтоб она ни в какие вопросы не тыкалась, другой... Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? — историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, вишь, в бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть, много. Старухи-то. Он стал к им похаживать от нечего делать, а те его сагитировали. Ты не досажай ему с этим, а то он сердится. Не надо. Они безобидные люди.

Жена дяди Гриши померла лет семь назад, а жил он со средней дочерью, тридцатилетней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела — тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала:

— Не лезь, Генка, к отцу! Понял?

— Чего замуж-то не выходишь? — поинтересовался Генка.

— За кого?

— Нашла бы какого-нибудь...

— Какого-нибудь мне не надо, одна проживу.

— Это же ненормально...

— Ничего. Нормально.

— Похаживает кто-нибудь ночами? Да?

— Не твое дело.

— Какие ведь все уверенные, все-то они знают! — обозлился Генка. — Все понимают. А спросишь — ответить толком не умеют. Не знаете, так хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на седьмом десятке в религию кинулся? Это же не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное. Или — опять ложь. Притворство.

— Зачем ему притворяться-то?

— А вот это я узнаю, не я буду, если не узнаю.

— А ты чего такой нервный-то? А, Ген?.. — спросила добрая Нюра. — У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты — вольная птица, чего тебе?

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел.

Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами... Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то — гиря пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, — это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый... Как же это совместить?

И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише. Прихватил бутылку водки, гитару...

— Здорово, дядь Гриша!

— Здорово, — дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк, ничего не сказал.

— Зашел поговорить.

— Ладно.

— А Нюраха... в кино небось учесала? Вот дьявольская выдумка-то еще? А? Ты теперь не ходишь?

— Нет.

— А чего ты такой мрачный?

— А ты чего такой... развеселый?

— Настрой хороший. Давай выпьем.

Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку... А потом — как-то вовсе беспомощно — на календарик под часами в углу: с календарика беззаботно пялилась красная цифирка — воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся.

— Давай. Сегодня можно. Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал... не подонок. Я религию уважаю, но... Где у вас тут стаканы-то?

— В шкапчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но?.. Договаривай.

— Сейчас, сейчас... — Генка добыл пару стаканов, поставил на стол. — Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять души. Достань солонинки.

Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол.

— Нырни, там в кадушке капуста и огурцы.

Генка взял из шкафчика тарелку, обтер ее полотенцем... Глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало — петь. Он даже усмехнулся там, в темноте, подумал: «Чего это я?»

Генка положил в тарелку огурцов, капусты... Подал наверх дяде Грише. Выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался.

Налили по полстакашка.

— Я, когда был в институте, — вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь, — мы после первого курса поехали на практику... не на практику, а так — подработать, жизнь повидать: в тайгу, с геологической партией.

— Ты чего институт-то бросил? — спросил дядя Гриша.

— Та-а... сложно это. Не сложно, а... Да ну ее к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять — лень. Не показалось мне, что это ценность великая — диплом. А туда половина только из-за того и лезет — из-за диплома. Я посмотрел-посмотрел — и сделал жест: не хочу, все. Может, глупо,— Генка помолчал, заметно посерьезнел. Тряхнул волосатой головой. — А может, нет.

— Дурак.

— Может, дурак. Не сбивай меня с настроя. У меня какое-то сегодня... — Генка тоже глянул в угол на календарик. — Тоже сегодня какое-то красненькое настроение, — он засмеялся, погладил бороду. — Слушай. Шли по тайге, я как-то отбился в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился, ногу потянул. Не могу идти. Сел — си-

жу. Даже весело стало. Думаю: вернутся искать или нет? Шумихи же много про всякое это братство-товарищество. Вернутся, думаю, или нет? Посидел так с полчаса, слышу, вернулись — кричат. У меня ружье, мог выстрелить — услышали бы. Да и крикнуть, тоже услышали бы. Нет, сижу! — Генка сверкнул азартным глазом. — Бросят, думаю, искать или все же найдут? Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то... может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать или будут искать? В общежитии же все вылупались про таежную романтику, про... Ну-ка, фраера, — это же не песенку спеть под гитару это ж — человека найти! А уже солнышко садится, а до лагеря еще далеко-о. А? — Генка оскалился недобрым оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами. — Как вы насчет того, чтоб заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем... А там, в зимовье, нары, одеяла, костер, спиртяга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лыщарей, а? Вот задача-то? Ну-ка!..

— Нашли? — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша.

Генка, тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал:

— Нашли. Хотели отметелить, но у меня ружье было — не получилось.

— Надо было... Чтобы зря не пугал людей.

— Да они не испугались! Это тоже пижонство: чтоб потом про них говорили, что они — мужики. Они молокососы. Все почти. Ну, давай.

Выпили, похрустели капустой.

— Не уважают тебя, Генка, — сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал. — Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это... к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

— Меня не уважают, да, — сказал он. — А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в бога поверил? — спросил. И сам ответил: — Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое... придумал

себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился — тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так?

— Дурак, — просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще сказал: — Волосатик.

— Ты заметил, — оживился Генка, — что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак»?

— Ты для чего пришел сюда?

— Понять, почему ты... Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в бога. Слушай, да кто же так в бога верит — повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про бога не знаешь. Я больше тебя знаю...

— Сказал? — дядя Гриша угрожающе нагнул голову. — А теперь...

— Стоп! — воскликнул Генка. — Не надо. Не надо... Давай мирно беседовать, у нас же водки полно. Не надо наклонять голову, — Генка умоляюще прижал руки к груди. — Я не нарочно, я не... это... Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про бога. Слушай!

Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним.

— Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать? А? На бога меня не хватит. То есть это как-то неконкретно... Выпили! Счас решим.

Дядя Гриша, все еще не веря, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтоб потом, при худом исходе этой беседушки, не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку.

— Ты хоть не в секте какой-нибудь? — спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюб-

ный. — А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь... Нет? Христос же везде — Христос, бог, но по-разному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе...

— Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну, — это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. — Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова...

Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот — бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват), — вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко, и насмешливо сказал:

— Раб божий... да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку... У них — тоже Христос, — и слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна. — Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства — это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? — Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной — нечто дорогое, свободное, наболевшее. — Как же жить-то, люди?! — Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. — Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит! А? — Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно. — Ты меня упрекаешь... все упрекают: зачем институт

бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх! Взял, выдумал: верю. В кого?! За-че-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем... Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему... Да взял вон топор в руки — и под Быстрянский мост: грабить. Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в бога поверил, говоришь... А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил — щей сварить. Ни себя не пощадил, ни... Вот сидишь, хлопаешь глазами — как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать тебя не могу, понимаешь? Ува-жать. Не могу — с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а... Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?! — Генка устал. Обессилел. Сел. — Взять и под занавес все испортить. «Мы — под наблюдением», «каждый наш поступок...» Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может! Все — в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб божий, — Генка налил в стаканы, качнул устало головой. — И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ол. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз — и вот она: хоть стой, хоть падай.

Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял — что это? Стакан рванулся и полетел вверх...

— Хватит лакать, — сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом. — Распился тут.

Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стукать головой об пол.

— Вот так ее... — приговаривал он. — Умную-то головушку. Вот так, вот так...

Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал, со стола с веселым разговором полетели стаканы, бутылка, тарелка... Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе

массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз опалил его, подчинил своим законам: он действовал, как всякий нормальный боец, — вроде не соображая, но очень рассудочно и точно. Раза два угодил дяде кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться, а когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было, было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться.

Так они напрягались: один хотел встать, другой не давал.

...Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть... А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна... Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

— Поганец, — тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы. — Будет тут... слова разные потреблять... Разинул рот-то. Шшенок.

— Горько, горько, — говорил Генка, сплевывая сукровицу. — Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел... Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. — Мы же так опрокинемся!..

— Я те опрокинусь, — гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот. — Я тя самого опрокину — башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что — бесстыдники, как дети малые, честное слово... Сцепи-и-лись. Чего не поделили?

— Россию! — высокопарно заявил Генка.

— Я вот те счас покажу Россию! — повысила голос и Нюра. — Трепач... На старика-то — с кулаками? Э-эх! А гово-

ришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб... Я вот не погляжу счас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

— От тебя приму. Ты духовно чистый человек... Ты не врешь.

— А я што тебе?! — пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой, Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

— От простуды берегла... но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то! Сказать кому, не поверят. Сцепились. Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются — с ума сходят. Давайте, и я с вами пригублю маленько. Миритесь.

Выпили втроем огневой славной перцовки... Посидели молча. Отошли.

— Спеть? — спросил Генка.

— Спой, — согласилась Нюра. — Только понятную какую-нибудь. А то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют — и то непонятно.

— Сказано, — заговорил дядя Гриша, но заговорил както сипло, тонко. Прокашлялся. — Сказано: придет владыка мира... Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет — антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

— Бледно, — сказал он. — Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! — объявил он. И запел:

То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит...

Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.

— Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, — сказала Нюра.

— А возможно, что это не притворство у вас, — заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. — Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность, — он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.

— Пой-ка лучше, правда.

Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.

— Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота поддеет, стоит! — спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.

Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору, и что-то ей говорила.

— Корова, — задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.

Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются, и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя — вправо-влево, вправо-влево — в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.

— Корова... — еще раз в раздумье сказал Генка. — Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?

— Хватит, — сказал дядя Гриша. — Не хочу больше.

— Ну и я не буду, — решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. — Лучше стихи напишу. Про корову.

ПЬЕДЕСТАЛ

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. — Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. — В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно — даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. — Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял ма-

ленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой «на бровях». Шум, Скандал. Все началось с кружки пива, — Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике... — продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин. — Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не е-мое?! — в недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять, — за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. — Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся, — спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, говорит, дойдет, что охота укусить кого-нибудь, — беги к холсту!» У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь все-

гда надо, — складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подрос, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча же подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.

— Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не

нравится?» «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А это — соски, Просто же». «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказывал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было, — подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил, — Смородин двинулся было, но опять остановился. — А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да, — согласился Смородин.

— Чем закончилось с вымем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин. — Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше, — и Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил, — сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил, — упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял, — признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник никогда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло наконец до Смородина. — Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант, — жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, — в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гадко, противно, наконец просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки, — встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. — Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — все же прекрасен сильный человек! Жена

Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху, и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты не знаешь, кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтобы они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись на бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взрываться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки... — говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его, — сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю, — с не свойственной ей поспешностью сказала жена. — Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день рано утром в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена его вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— Погоди, погоди, — суетился Смородин, — давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста, — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул в кухню.

— О-о! — густо сказал он. — Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну, давайте... — и художник первым сел за стол, и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он. — Как вас, Роза?..

— Зоя, — сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части, — сказал Смородин. — Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень, — художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В горо-

де он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда «принимал за галстук». — И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля. — Как там у вас, говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только недолго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина. — «Утро нашей Родины»?

— Увидишь, — уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. — Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще, — сказала Зоя, — потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородина. — Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте, — жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась. — Выпейте, закусите, потом и пойдете, — боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородина...

— Самоубийца, — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля-художник. — Я уж думал, тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца... — он опять невольно хохотнул. — Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!.. — окликнул он. — Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя, к черту, понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего, — он посмотрел на картину. — Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. — Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, — пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, — и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. — Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин. — Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся, — Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милая, успокойся, не надо...

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель — невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему — Моня. Его звали — Митька, Дмитрий, но бабка звала его — Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже думал: «Да ну!.. Что значит — невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в

колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея — то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, — то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то — он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось — закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой ра-

дости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, — как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов, — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, — скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких

перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали... Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что — есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя́ стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. — Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет, матушка...

— Ну и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не взрадуесся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. — Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько

мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь, — подумал Моня. — Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ», — продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. — А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что «не рано»? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак — и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну вот... — инженер усмехнулся, качнул головой. — Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет, — жестко сказал инженер. — Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что — все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что — это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну, а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет, — Моня встал. — Вообще за добрые слова...

— Ну вот... — сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно. — И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер. — Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули рукой, а доказали давно: не-воз-можен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал. — Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил, — тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру. — Что ты, как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь... — чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. — Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить, — инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив се в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утрен-

ней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз — вот он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но — вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте, — сказал Моня. — А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку, — что она еще не привела себя в порядок, — прошел к столу.

— Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите, — стал объяснять Моня по чертежу, — вот это такой желобок из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться, — сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!.. — заговорил он. — Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину. — Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы он вращался? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня, — и опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что, — прервала Моню учительница, — чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница. — Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась...

— Мне одеться нужно...

— А-а, — догадался Моня. — Ну, конечно. Я на крыльце подожду, — Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас, — сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!.. — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. — Видите, как все продумано! А вы говорите... — и повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот... — Гекман нарисовал свое коле-

со и к ободу его «прикрепил» стержень. — Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен. — Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от, — учитель и пружину изобразил. — А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге, — остановил Моня учителя. — Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз... Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит на стержень и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он. — Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить, — а на стержень падает. И это — одинаково?! — Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб

сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, на-

рожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня. — Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь, — все же не верил он. — Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да, — сказал Моня, — но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел

пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерское звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у, — сказал инженер. — Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини, — сказал Моня, довольный. — Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся.

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи, — сказал Моня. — Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись, — пригласил Моня. — Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом. — Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну, ладно, — согласился Моня. — Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом, — заговорил Моня и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубо-

ким, искренним любопытством, — дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно, — сказал инженер. — В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок, — посоветовал инженер. — Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут — учиться, учиться, — недовольно сказал Моня. — Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала:

— Шагай вольнее, — сказала она, — все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось: хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди... Здравствуйте!

АЛЁША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... «Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» — «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая ра-

дость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой, — говорил он ласково чурбаку. — Атаман какой... — ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топить...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полке, с краю, места много не занимала — не мешала париться, — а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане, — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавлялся уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмоет радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбра-

зуре-то, которая образуется-то, — там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навалились теперь обливать, — там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, — все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце самом, — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, упшепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей, он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на кого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, — сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, — на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно, — Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые. — Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо,

чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать, Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь — что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, — вспоминал он один момент своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит, смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уже и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу, — сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день идет... — согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Он какой-то и колючий,

и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему.. И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатика поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, поло́к, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, — славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко, — сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую

приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Воза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все колют... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну, ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну... — Таисья сама не знала, зачем отпустила. — Чего будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду.

— Да... — странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, — не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну, ладно, — сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэх... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!.. —

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... — стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и

незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу –
Нет моего милого, –

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани –
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться. Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди, и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался

от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостней бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал...

Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полки, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу. В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, — стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец — пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то, — сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых.

Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь, — сказал Алеша. — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор, — говорил он му-

жику, — да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела. — Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то, — но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же: сам комсомольцем не был, но кричал и

ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, — тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. Попервости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака, — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...» — Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то

(не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» — «Старикам-то поддался». — «Я не поддался, — сказал Павел, — я сам хотел венчаться». — «Вот я и спрашиваю, — растерялся Филипп, — не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп. Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей. — Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости номер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил,

что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припаромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припаромка, заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь... — Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это? Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу. Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?.. — спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Фи-

липпу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!.. — понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. — Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом, — попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел... — сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить. — Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. — Иди!.. — закричал

Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов. — Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел. — Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!.. — Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел. А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить, — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно. — Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина. — С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

«Марья, — думал он, — эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя го-

ре-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой приметалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего... — сказал себе Филипп окончательно. — Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то осень, с чего теплу-то быть?

Примечания

РАССКАЗЫ 60-х ГОДОВ

ХАХАЛЬ

Первоначально: «Как Костя Житунов «фаловал» бабу». Рассказ написан летом 1969 года в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 10, 1969). Включен в сборник «Беседы при ясной луне».

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Первоначально : «Солидол». Написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 7, 1970). Включен в сборники «Характеры» и «Брат мой».

КРЕПКИЙ МУЖИК

Написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 7, 1970), затем в книгах «Характеры», «Беседы при ясной луне» и «Брат мой».

Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Рассказ о том, как ОН срубил крест, церковь, утварь и ждет славы».

СВОЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Рассказ написан летом 1969 года в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 10, 1969). Включен в сборники «Характеры» и «Брат мой».

СУД

Первоначально: «Суд да дело». Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 10, 1969). Вошел в сборник «Земляки» и в «Избранные произведения».

СУРАЗ

Первоначально: «Непутевый», «Жарки», «Скандалевич». В рабочих тетрадях пояснение: ***«Повесть из рассказа (отвергнутого всеми редакциями и издательством)».*** Рассказ написан в 1969 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в первоначальном варианте в сбор-

нике «Земляки» и в «Избранных произведениях», в окончательном варианте — в книгах «Характеры» и «Брат мой». При появлении рассказ вызвал полемику между критиками Л.Аннинским и В.Гусевым в журнале «Литературное обозрение» (№ 1, 1974). Первый упрекнул автора в необъективности и пристрастии к «природному человеку», второй доказывал, что автор занимает более сложную и правильную позицию.

ЗАЛЁТНЫЙ

Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в сборнике «Земляки», затем в «Беседах при ясной луне» и в «Избранных произведениях».

ПРИЕЗЖИЙ

Первоначально: «Месть», «Домик над Мятлою», «Он уехал?». Написан в июне—июле 1969 года в санатории «Голубой залив» в Ялте. При жизни В.М.Шукшина напечатан не был. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (№ 6, 1975).

МАСТЕР

Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Литературный Киргизстан» (№ 4, 1971), затем в «Сибирских огнях» (№ 12, 1971). Вошел в книги «Характеры», «Беседы при ясной луне», «Избранные произведения» и «Брат мой».

ЧЕРЕДНИЧЕНКО И ЦИРК

Первоначально: «Цирк». Написан в 1969 году. Впервые опубликован в «Литературной газете» 15 июля 1970 года. Включен в книгу «Брат мой».

ТАМ, ВДАЛИ. Повесть.

Впервые опубликована в журнале «Молодая гвардия» в №№ 11, 12 за 1966 год. Впоследствии вышла в сборнике «Там, вдали» (М., Сов. писатель, 1968).

Повесть «Там, вдали» не получила большой прессы и не была причислена к удачам писателя. Но тем не менее в ней отчетливо сказалось социальное чутье Шукшина-художника, сумевшего показать драматизм такого явления, как миграция населения из деревни в город. В повести много шукшинского, характерного для творческих исканий этого периода, что нашло отражение, например, в статье «Монолог на лестнице».

РАССКАЗЫ 70-х ГОДОВ

ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

Первоначально: «Смазь вселенная». Рассказ написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Север» (№ 3, 1972), за-

тем в журнале «В мире книг» (№ 8, 1975). Вошел в сборник «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения».

БЕССОВЕСТНЫЕ

Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 7, 1970) под названием «Сватовство», затем в книгах «Характеры» и «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Как мой дед сватался. Старуха-невеста: — Я; Маня (Маня — моя мать, она сватала), пошла бы, если он не будет ночами приставать. Старику 73 года».*

ЛЁСЯ

Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 9, 1971). Включен в сборник «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Как он (20-е годы) ездил жениться. Подговорил того, кто держал ямщину, назваться его отцом, велел сказать при сватовстве, что есть две лавки... Привез. Выяснилось. Невеста-жена была тайком увезена от Леси. Погиб Леся при дележке награбленного добра».*

ВЕРУЮ!

Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 9, 1971), затем в книгах «Характеры», «Беседы при ясной луне», «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Взвыл человек от тоски и безверья. Пошел к бывшему (?) попу, а тот сам не верит. Вместе упились и орали, как быки недорезанные: «Ве-рую».*

СРЕЗАЛ

Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 7, 1970), затем в книгах «Характеры», «Беседы при ясной луне» , «Брат мой» и в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села... К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахинею понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот».*

СИЛЬНЫЕ ИДУТ ДАЛЬШЕ

Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 7, 1970) под названием «Митька Ермаков». В прижизненных книгах не издавался. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Разгулялся Байкал. Стоят городские туристы, отдыхающие... Один дурошлеп, увидев женщин... — Эх, проплыть, что ли?!»*

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Первоначально: «Ваш ход, маэстро!», «Отныне будешь так». Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир»

(№ 7, 1970) под названием «Шире шаг...», затем в книгах «Характеры», «Беседы при ясной луне», «Брат мой».

ПЕТЯ

Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах «Характеры», «Брат мой», «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Целый день за стеной: «Петя! Ну, что ты, Петя?! Ну, успокойся, Петя!» Потом вышел Петя — маленький, ушастый, и в шляпе».*

САПОЖКИ

Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах «Характеры» и «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Как муж жене сапожки покупал. Измучился, изнервничался... А привез — они ей не подходят. Они вместе прокляли ее толстые ноги. Горе».*

ОБИДА

Рассказ написан в 1970 году в Потсдаме (Германия). Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 12 февраля 1971 года, затем печатался во всех подготовленных В.М.Шукшиным сборниках.

ХМЫРЬ

Первоначально: «Загадочная славянская душа». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в газете «Советская Россия» 16 июня 1971 года под названием «На курорте», а также в журнале «Наш современник» (№ 9, 1971). Вошел в «Избранные произведения». Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: *«Из серии «Мужчина и женщина»:*

1. Как в Ялте прощаются. Дешевый роман, в дешевых углах, и конец его — под дешевую музыку.

2. В самолете. Женщина рассказывает сзади, как они ездили за границу.

3. Загадочная славянская душа. Как мужик (пошлятина беспросветная) охмуряет сидит молодую женщину. В поезде (в автобусе). «И жить торопимся и чувствовать — скорей!»

ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА

Первоначально: «Загадочная славянская душа», «В субботу вечером», «Разговоры». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№9,1971). Вошел в «Избранные произведения».

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Первоначально: «Генерал Малафеев», «Ночной рассказ». Написан в 1970 году в Потсдаме (Германия). Впервые опубликован в журнале «Север» (№ 3, 1972), а затем в «Избранных произведениях». Набросок к рас-

сказу в рабочих тетрадях: *«Ночью в купе негромкий рассказ о том, как трудно человеку справляться с должностью. Должность высокая, а подготовка мала. «Я» слушает и... ужасно знакомый голос. Утром выяснилось: знакомый калькулятор из заштатной столовой».*

ПИСЬМО

Первоначально: «Сон». Написан летом 1971 года в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1971), затем в книге «Беседы при ясной луне» и в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Попросила тетка написать письмо... Согласился. А душа болела — боялся. И точно — всю ночь угробил: писал, чиркал, искал слова — измучился. Все — осторожничал, старался быть вежливым... Пришла утром тетка, я прочитал. Она подумала и попросила: «Ты напиши так: «Что ж ты, кобель, себе думаешь?..»*

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Рассказ написан в 1971 году в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1971), затем включался во все прижизненные сборники В.М.Шукшина. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Пришел мужик за справкой. Дурак-начальник стал куражиться: «А пить — у тебя есть время?» — «Я счас не пью». — «Все вы не пьете! За ворот льете?» Мужик слушал, слушал... Вылил ему на белый костюм чернила и ушел».*

ПОСТ СКРИПТУМ

Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Север» (№ 3, 1972), затем в книгах «Беседы при ясной луне», «Брат мой», «Избранные произведения».

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Первоначально: «Господи, дай...», «Фраер», «Судьба». Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 9, 1971), затем в книгах «Характеры», «Беседы при ясной луне» и «Брат мой».

ДЕБИЛ

Первоначально: «Шляпа». Рассказ написан весной 1971 года. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 9,1971), затем в книгах «Характеры» и «Брат мой».

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9,1971), затем в «Избранных произведениях».

ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ

Первоначально: «Старший». Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1971), затем в сборнике «Беседы при ясной луне».

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Первоначально: «Жить бы да жить-радоваться», «Скандал». Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 12, 1971). Включен в книги «Характеры» и «Брат мой». В авторской рукописи — первоначальный вариант финала рассказа:

«— Знаю адрес. Знаю.

Туристы, которые разбили палатки на берегу Уши, видели, как грузовой ГАЗ чего-то вдруг резко дал вправо, с треском проломил заградительные перила и полетел в реку.

Потом, когда достали машину и попытались установить причину аварии, механики не могли установить причину, написали в акте: «Заело рулевое управление».

Оба — водитель и пассажир — были мертвы. Причем у водителя смерть наступила еще до того, как машина ушла в воду: разрыв сердца. Пассажир пытался открыть дверцу, но ее заклинило, очевидно, при ударе о перила. Он хотел выбить стекло (обе руки его были изрезаны в кровь), выбил, но только часть, не все — не успел. Захлебнулся».

(Архив В.М.Шукшина.)

ЗАБУКСОВАЛ

Рассказ написан в 1971 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в книге «Характеры», затем в книге «Брат мой». Мотивы рассказа использованы в фильме «Позови меня в даль светлую». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Русь — тройка. Человек (отец) обнаружил, что тройка-то (гоголевская) везет... Чичикова. Разговор с учителем. Учитель говорит, что это — неважно, что Чичикова, важно, что — очень быстро».*

ТРИ ГРАЦИИ

Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 24 декабря 1971 года. При жизни не включался автором ни в один сборник.

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Первоначально: «Природа человеческая». Рассказ написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 10, 1972), затем в книге «Беседы при ясной луне» и в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Ходит старик к сторожихе, плетет некий мистический невод. А раз увидел около сельмага человека поздно ночью и заорал: — Стреляй!».*

БЕСПАЛЫЙ

Первоначально: «Отец Сергий». Написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 10, 1972), затем в книгах «Беседы при ясной луне» и «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Жил мужик. И была у него жена дура. Злая, капризная. Серега очень ее любил и жалел. Не раз драл-*

ся всерьез с мужиками, когда указывали ему на ее глупость. Но раз она так довела его, что он не сдержался и вмазал ей по уху. Она заревела, Серега пошел и отрубил себе на правой руке два пальца. Его в деревне прозвали «Отец Сергий».

МНЕНИЕ

Первоначально: «Ложь». Написан летом 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 10, 1972), затем в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Где-то кто-то очень много врал днем. Да так много, подло, гадко (вынужден, что ли, был?), что когда пришел домой вечером, вспомнил все и его вырвало».*

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 10, 1972), затем в книгах «Беседы при ясной луне», «Брат мой» и «Избранные произведения». Издан в книге «Наш современник». Избранная проза журнала, 1964—1974 (М., Современник, 1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Муж, в связи с разводом, дает жене убийственную характеристику: "Лентяйка, грязнуля, спит с другими мужиками... " и некто, кто только выскочил судить и рядить, краснобай и щеголь, говорит с притворным возмущением:*

— Как вы можете так о женщине?!

— Но — правда же!

А ведь и то — правда».

И еще один набросок к рассказу: *«Утро». Настроенческий рассказ. Загнанный, оглушенный большим городом маленький человечек торопился утром на работу и вдруг увидел на лестничной площадке, на желтой стене, — солнечный блик. Выглянул в окно и увидел — на улице Весна. А потом... все, как и каждый день: дела, дела, дела. А дела — ржавые трубы под забором. Их, наконец, привезли».*

НАКАЗ

Первоначально: «Ну, теперь посылай всех...», «Наказ дяди Максима». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 12, 1972), а затем в книге «Беседы при ясной луне». Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: *«Выбрали человека на некую должность (предколхоза), к нему приходит друг и начинает упорно его учить теперь жить:*

— Теперь — посылай всех к... матери!

— Зачем?

— А как же?! Вот те раз!.. Теперь никого не бойся — посылай всех к...»

МЕДИК ВОЛОДЯ

Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 12, 1972), затем в книге «Беседы при ясной луне». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Вовсе мальчишка — едет домой*

на каникулы. Девушка — землячка. Вдруг — запели не своим голосом — фальшиво».

КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Рассказ написан в 1972 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 27 октября 1972 года, затем в книге «Беседы при ясной луне». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Девочка заболела... И вспомнила, что ее дядя рассказывал ей про Красную Шапочку. Попросила папу, чтобы дядя ей опять рассказал. Папа — телеграмму брату. Брат долго добирался... Приехал. Стал рассказывать, да забыл. Девочка плакать — не так. А потом и померла». Дубулты. 20 июля 197 2 года».*

ВЕРСИЯ

Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 2, 1973), затем в книгах «Беседы при ясной луне» и «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Поехал Ванька Пузырь в город... Зашел в торорашку. А там есть одна стеклянная стена. Ванька шагнул через нее. Ему сказали: «Три зарплаты». Но пришла директриса... И... Жил с ней Ванька неделю, пил, гулял и — спал. В деревне не понимают: правда это или нет? На всякий случай — не верят».*

ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Первоначально: «Ванька-дурак», с эпиграфом: «Ванька Тепляшин, давай с тобой попляшем — так Ваньку дразнили маленького». Рассказ написан в мае 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 2, 1973), затем в книге «Беседы при ясной луне». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Ванька-дурак устроил скандал, что к нему не пустили мать (в больницу). Вылетел в пижаме, сторож хотел схватить его, он мотанул сторожа. Его стали ловить — шум, гам, неумность русская. Поймали.*

— Все раем в окно выпрыгну, — сказал Ванька.

Сторож в отчаянии: — Дурак, ты ба меня по-хорошему попросил, я б ее пустил... — Ты должен быть человек! — на это напирал Ванька-дурак».

ГЕНА ПРОЙДИСВЕТ

Первоначально: «Антихрист 666». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (№ 2, 1973), затем в книге «Брат мой». Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: *«Придет владыка (их сперва будет 4, потом станет один — он-то и есть АНТИХРИСТ 666). Будет владычить 3,5 года, но законы его будут действовать только 3 года. Тут же образ: человек — это киноаппарат с пленкой, прожил жизнь, как отснял всю пленку, какая была, умер, аппарат (тело) за ненадобностью выкинули, а пленку (душу) проявили и узнали, как же ты жил. Вдруг вывод: за все надо платить.*

Или вот — чудо. Говорят: чудес нет. Как нет? На огороде полно чудес».

ПЬЕДЕСТАЛ

Первоначально: «Странности Константина Смородина», «Жена Константина Смородина». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (№ 5, 1973). В подготовленные В.М.Шукшиным сборники не включался.

УПОРНЫЙ

Написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 2 марта 1973 года, затем в книгах «Беседы при ясной луне» и «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Да что трение!.. Весьма русское решение проблем: при чем тут трение! При чем здесь закон!»*

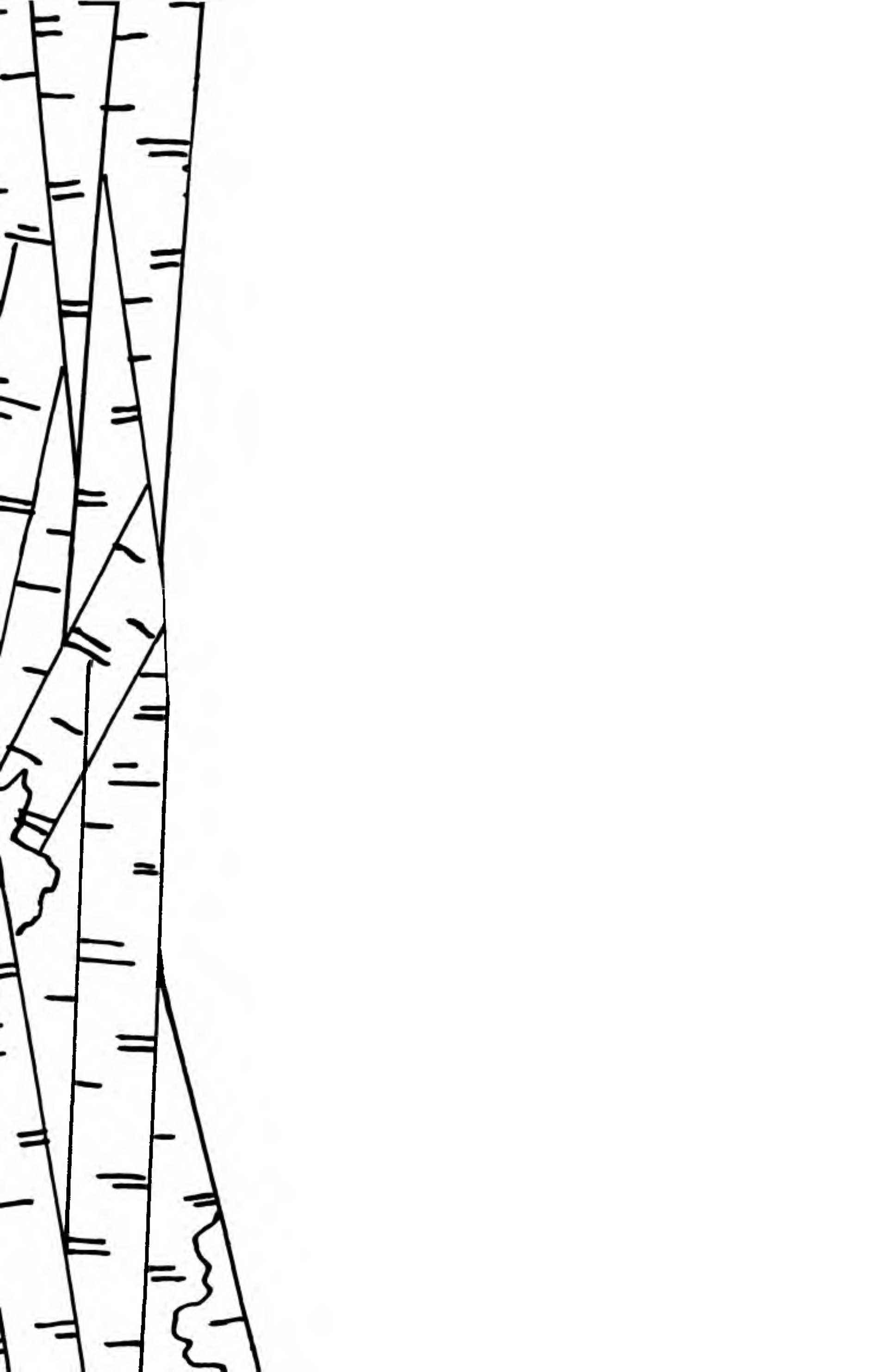
АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Рассказ написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 19 января 1973 года. Вошел в сборник «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Жизнь души. Странный человек: хороший работник, но выступать не любит, в президиумы на собраниях: не садится и сами собрания не любит. Любит в субботу топить баню. Топит ее весь день с чувством, с толком, не торопясь — с большим наслаждением. И это — радость».*

ОСЕНЬЮ

Первоначально: «Один день». Рассказ написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (№ 7, 1973). Включен в книгу «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Один день паромщика. Начался он рано — темно еще. А после — покатился: 1) Свадьба переезжала. 2) Высокий начальник проследовал. 3) Старый человек переправился. Паромщик долго вспоминал, где он его видел, вспомнил — а тот уже далеко. А был это... (?). 4) Невеста бывшая — уже под вечер. С тем и ушел домой — спать. А долго не спалось — невеста растревожила».*

СОДЕРЖАНИЕ



Хоронила Москва
Шукшина,
хоронила художника,
то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.
Он лежал под цветами
на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную
смерть
предсказал всенародно
в картине.
В каждом городе
он лежал
на отвесных российских
простынях.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел
и простился.
Он сегодняшним дням —
как двойник,
когда зябко курил он
чинарик,
так же зябла,
подняв воротник,
вся страна в поездах
и нарах.
Он хозяйственно понимал
край как дом —
где березы и хвойники...
Занавесить бы черным
Байкал,
словно зеркало в доме
покойника.

Андрей Вознесенский